

7-8 / 91

# Давугав А

## Ч И Т А Й Т Е

в первом и последующих номерах "Даугавы"  
роман латышской писательницы Илзе ШКИПСНЫ (США)

"За седьмым мостом";

признанный шедевр французской литературы XX века

роман Раймона РАДИГЕ "Дьявол во плоти";

современные записки поэта Яниса ПЕТЕРСА

"У победы много друзей";

интервью с кинодокументалистом Юрисом ПОДНИЕКСОМ;

публицистические заметки Владлена ДОЗОРЦЕВА;

малоизвестные или не публиковавшиеся на родине  
страницы В.ХОДАСЕВИЧА, К.БАЛЬМОНТА, Б.ЗАЙЦЕВА!

Вас ждут встречи с новыми рубриками:

"Журнал в журнале"

"Детектив "Даугавы"

"Из новых переводов"

"Забытая книга"

# ДАУГАВА

(169-170)

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ  
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ  
ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛ

ИЗДАЕТСЯ С ИЮЛЯ 1977 ГОДА

РЕДАКЦИОННО-ИЗДАТЕЛЬСКОЕ  
ОБЩЕСТВО «ДАУГАВА»

## В НОМЕРЕ:

- Проза и поэзия
- Анато́л ИМЕ́РМАНИС. Я — Александр  
Македонский. Рассказ ..... 3
- Улдис БЕРЗИ́НЬШ. Памятник дону Альфредо.  
Стихи ..... 14
- Дмитрий ЛЕОНТЬЕВ. Год Федора Степановича.  
Роман-размышление. Продолжение ..... 18
- Визма БЕЛШЕВИЦА. Клубок. Стихи..... 57
- Валентина ЕЛИЗАРОВА. "Земля моя, в твоих  
кустах..." Стихи..... 57
- Улдис ЛЕЙНЕРТС. "Проходит время. Говорят: тот  
дом..." Стихи..... 58
- Вениамин АЙЗЕНШТАДТ. "В калошах на босу  
ногу..." Стихи ..... 58
- Арвид СКАЛБЕ. На мотив Тютчева. Стихи ..... 59
- Владимир ЕРЕМЕНКО. "Есть тайна дней..."  
Стихи ..... 59
- Игорь ГАЛЕЕВ. Два этюда. Повесть ..... 60
- Леонид ЧЕРЕВИЧНИК. Из украинской  
антологии ..... 85

И новых переводов

- Альбер КАМЮ. Любовь к жизни. Рассказ ..... 93  
(См. на обороте)

7-8

1991

## **ВНОМЕРЕ (окончание):**

Публицистика	
Борис РАВДИН, Иван ЯХИМОВИЧ. Дело Яхимовича .....	96
Эмиль ДЮРКГЕЙМ. Самоубийство. Главы из книги .....	121
Обзоры, размышления, рецензии	
Валерий САЖИН. Русское слово в Латвии .....	138
Вадим РУДНЕВ. Язык и религия .....	140
Культурология	
Юрий ЩЕГЛОВ. О романах Ильфа и Петрова .....	142
Методика	
Князь П.П.ЛИВЕН ...И тенитех, кого уж нет .....	178
Содержание журнала "Даугава" за 1991 год .....	191

---

**Рукописи не возвращаются и не рецензируются**

---

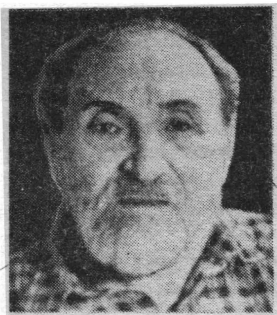
Главный редактор  
Владлен ДОЗОРЦЕВ

Редакционная коллегия:

Юрий АБЫЗОВ, Виктор АВОТИНЬШ, Людмила АЗАРОВА, Астрида АЛЬКЕ, Улдис БЕРЗИНЬШ, Николай ГУДАНЕЦ, Юрис ДИМИТЕРС, Вика ДОРОШЕНКО, Вячеслав ИВАНОВ, Марина КОСТЕНЕЦКАЯ, Петр КРУПНИКОВ, Григорий НИКИФОРОВИЧ, Янис ПЕТЕРС, Кнут СКУЕНИЕКС, Ян СТРАДИНЬ, Янис СТРЕЙЧ, Роман ТИМЕНЧИК, Леонид ЧЕРЕВИЧНИК (зав. отделом), Адольф ШАПИРО, Андрис ЯКУБАН.

Редакция:

Михаил АФРЕМОВИЧ, зав. отд. писем, Леонид ГУРЕВИЧ, редактор-стилист, Роальд ДОБРОВЕНСКИЙ, зав. отд. прозы, Илан ПОЛОЦК, зав. отд. публицистики, Борис ПОПОВ, отв. секретарь, Борис РАВДИН, зав. отд. истории.



# Я, АЛЕКСАНДР МАКЕДОНСКИЙ

Рассказ

Перевел Леонид ГРИГОРЬЯН

Анато́л ИМЕРМАНИС, латвийский поэт, прозаик, художник, родился в 1914 году в Москве; в Латвию семья будущего писателя вернулась в 1919 году. Перу А.Имерманиса принадлежит около ста книг, изданных на четырнадцать языках. На русском языке его поэтическое творчество наиболее полно представлено в книге избранных стихотворений, вышедшей недавно в издательстве "Художественная литература". Романы А.Имерманиса, как правило, остро сюжетны: писателя привлекают жанры памфлета, политического детектива, элементы социальной фантастики, что в известной степени предопределило популярность этих книг. Экскурсы в отдаленные страны и эпохи также характерны и для стихов А.Имерманиса, и для его прозы.

Этот сон я видел перед каждой решающей битвой.

Вокруг меня стояли люди разных рас и народностей. У каждого был иной язык, иная одежда, иной цвет кожи. Я по очереди подходил к каждому и обнимал каждого, и каждому говорил: "Забудь о том, что ты грек, или перс, или индус! Ты — человек, значит — мой брат". Они выстроились вдоль великой военной дороги, которая привела меня от берегов Геллеспонта к берегам Инда, их были миллионы и миллионы. И когда от Геллеспонта до Инда пронесся голос моего единого народа: "Спасибо, Александр, за то, что ты навеки покончил с раздорами и войнами!" — я понял, что выиграл свою решающую битву. Теперь я мог бы спокойно умереть. Но я был уже бессмертным. Ибо тот, кому по силам свершить невозможное, — становится богом.

Меня разбудил Антифрон.

— О великий государь, твоя великая армия ждет твоего приказа! — приветствовал он меня с низким поклоном. А за минуту до этого бесцеремонно толкнул, чтобы разбудить. Он был софистом — этим все сказано.

— Ты опять нарочно злишь меня? —

спросил я. — Сколько раз я говорил — зови меня просто Александром.

— Но всем остальным ты приказываешь величать тебя "великим государем". А чем я хуже остальных? Не лишай меня этой милости... Притом, в отличие от твоего друга Калисфена, я считаю, что голова, даже если она касается в поклоне самой земли, стоит больше, чем гордо поднятая... Какая у него была умная голова! И как гордо эта голова смотрела на меня с высоты копья, на которое была поднята по твоему приказу!

Это было жестоко с его стороны, просто жестоко... Я очень любил Калисфена (он был философом и моим верным помощником). И не только за то, что Калисфен приходился племянником самому Аристотелю, несравненному мудрецу, благодаря которому я стал тем, что я есть. Но тот же Аристотель учил меня — ради великой идеи надо уметь жертвовать всем. Вот и пришлось пожертвовать Калисфеном. Знай я заранее о заговоре, я бы вызвал его к себе и поговорил по душам. Но я ничего не подозревал.

Незадолго до этого я был вынужден ввести при официальных приемах перенятый у персов обычай. Когда персидский царь, и не только он, любой восточный владыка, принимал своих подданных, они сначала падали ниц, а потом подползали на брюхе к его трону. Что и говорить, варварская, унижающая человеческое достоинство традиция. Но я прекрасно понимал — на великих традициях Эллады (которая в глазах остального мира была всего-навсего крошечной провинцией с непомерно большой амбицией) мирового государства не построишь. Ось земли пролегла через Восток. И если я хотел, чтобы эти многочисленные восточные народы, с их неизмеримым богатством, огромными городами и тысячелетним прошлым шли за мной, я должен был считаться с их обычаями. Не для себя самого — моим девизом всегда были слова Аристотеля: "Мудрость — высшая почесть, которой можно удостоиться".

Церемонию "земного поклона" я ввел ради своей великой идеи. Ползая перед собой на брюхе я бы, конечно, не позволил — это не только противно, но и смешно. Но раз уж у них принято падать ниц перед царем, пусть падают. Персы и прочие азиаты делали это охотно. А вот мои македонцы и греки говорили — не для того мы воевали, чтобы касаться лбами покоренной нами земли. Я пытался им объяснить — в моем государстве нет ни победителей, ни побежденных, все равны. И разве я сумею внушить людям мысль, что все они братья, если буду делать для кого-то исключение? Они как будто поняли меня.

А завтра, когда я давал торжественный прием в честь своих военачальников и гражданских правителей всех многочис-

ленных провинций (о существовании многих из них греки знали до меня только понаслышке) и вокруг меня колыхалось переливающееся золотом и драгоценностями живое человеческое море, я увидел среди распростертых согласно древнему обычаю тел двадцать стоящих македонцев. Это были, пожалуй, самые приближенные ко мне люди, в их числе и Калисфен.

Стоящие с гордо поднятой головой, они на фоне вжатой в землю толпы выглядели титанами. Я невольно восхищался ими. И в то же время отлично сознавал: это не просто вызов, не только протест, а преднамеренное, публичное оскорбление. Причем не меня, а моей идеи. Поэтому и пришлось казнить их публично.

Их обезглавили на глазах у специально собранного войска. И когда я увидел мудрую голову моего любимого Калисфена на копье грубого солдата, недостойного даже лизать ему подошвы сандалий, я еле удержался от слез.

Антифрон был тогда рядом, он видел мои страдания и все-таки при каждом удобном случае напоминает мне об этой бессмысленной, а потому вдвойне трагической смерти. Бессмысленной? Для кого? Для Калисфена? Да. Что ему стоило на секунду поступиться своими принципами? Для меня? Да. Что стоило сделать для него исключение? Недаром мой учитель Аристотель наставлял меня: в каждом цивилизованном государстве мыслители должны пользоваться особыми правами.

Но для великой истории его почти незаметная смерть не была бессмысленной. История слагается из мириада мелких происшествий. И тот, кто вершит ее, не имеет права ради личных привязанностей отступить хоть на полшага от той дороги, по которой ему самими богами предназначено идти. Идти по трупам врагов. Если надо — по трупам друзей. Но идти — и прийти к великой цели. К тому идеальному государству, где люди больше не будут убивать друг друга. Ни ради корысти, ни ради честолюбия, ни ради власти, ни просто из зависти или из-за того, что один разговаривает на языке, непонятном другому... Прости меня, Калисфен, но ты погиб ради того, чтобы люди больше не разделялись на врагов и друзей, как это было испокон веков.

— Антифрон! — сказал я по возможности спокойно. — Если ты хоть немного ценишь мою дружбу и свою жизнь, не напоминай мне больше о Калисфене.

Антифрон только усмехнулся. Он отлично знал, что я никогда не исполню угрозу. И я это тоже знал. Мы ладили потому, что отлично понимали друг друга. Так, как он, никто не был в состоянии вывести меня из терпения. Именно в этом и заключалась его обязанность. Недаром я отдал приказ, чтобы Антифрон будил меня

перед каждым решающим сражением. Ничто так не помогает победе над врагом, как добрая доля злости.

— Как ты думаешь? — сказал я. — Мы разобьем сегодня войско царя Пора?

— Спроси своего оракула.

— Но я спрашиваю тебя.

— Разумеется. Разве ты можешь не победить!

— Несмотря на то, что его армия куда многочисленнее? Значит, ты, наконец, не отрицаешь, что я великий полководец?

— Считаешь себя таким.

— Разве это не одно и то же?

— Смотря для кого. Мы, софисты, сомневаясь во всем, веруем лишь в одно: "У каждой истины столько же граней, сколько вообще на свете истин".

— Брось, Антифрон! Ты просто жонглируешь словами. Почему же мне удалось покорить почти все народы обитаемого мира, если я не выдающийся стратег?

— Лишь потому, что враги не умнее тебя самого. Они тоже считают тебя великим полководцем. И на всякий случай бегут уже заранее.

Клянусь нашим отцом Зевсом, я бы охотно отвесил ему оплеуху. Но в эту минуту вошел Кратер, избавив меня от применения аргумента, недостойного истинного философа.

Кратер был одним из моих старых верных соратников — начиная от первой азиатской битвы на Гранике он делил со мной безмерную тяжесть и безмерную славу моих походов. Назначив его главнокомандующим пехотными войсками, я скорее наградил себя, чем его. А сегодня — в этой, несмотря на уже покоренные области, по-прежнему далекой, по-прежнему полусказочной Индии, куда страшились пойти за мной многие из самых отважных, — он командовал всеми родами войск. Разумеется, под моим началом.

Когда раздвинулся полог шатра, я увидел его испещренное боевыми шрамами суровое лицо. На меня словно дохнуло пронзительным горным воздухом моей родной Македонии. А потом я уловил брошенный как бы невзначай взгляд, по которому он с опытностью старого служачки сразу же определил мое настроение.

— Мой Александр! — воскликнул он, мгновенно выпрямляясь. — Войско готово победить или умереть! Да будет с нами крылатая Ника!

— Красиво сказано! — усмехнулся уголками губ Антифрон. — Вот чем ты действительно можешь гордиться, Александр! У тебя даже простой солдат говорит как красноречивейший ритор. А насчет богини победы Ники мне пришла в голову забавная мысль.



Если она сегодня действительно будет с нами, почему бы тебе, перемены ради, не назвать в ее честь следующий основанный тобой город?

— Клянусь моим отцом Зевсом, город будет называться Никой! — кричал я.

Я знал, что сдержу слово. И он тоже знал. И оба мы отчетливо понимали, — это та самая достойная философа царственная оплеуха, которой я ответил Антифрону на его сарказм, причем несправедливый. Ведь вся разница между нами в том, что, будь он царем, все тридцать четыре основанных на новых территориях города назывались бы не Александрией, а Антифронией. Даже Калисфен, и тот признавал, что "Александрия", по крайней мере, звучит.

— Ну, Кратер, говори! — приказал я, заметив, что он давно прорывается что-то сказать.

— Не мое дело давать тебе советы, но, по-моему, пора начинать. Чем скорее мы двинемся против Пора, тем меньше устанет войско.

— Устанет? — презрительно нахмурил брови Антифрон. — Разве солдат знаменитой Македонской фаланги вообще способен уставать? От пиров, от любви — но не от сражений! Может быть, уже все твои воины превратились в риторов, Александр?

— Замолчи! — прикрикнул я на него. — Такими вещами не шутят. Да, они смертельно устали! Но лишь два шага осталось до великого Индийского океана — предельной черты обитаемого мира. В Дельфах я торжественно обещал богам довести вас до этой черты. И доведу! Хотя бы для того, чтобы не опозорить дельфийского оракула, вещавшего: "Никто тебя не остановит, пока не остановит океан".

Тут я, признаться, немножко приврал — чтобы приободрить своих людей. Я знал — как только Кратер выйдет из шатра, придуманное мною предсказание станет всеобщим достоянием. В сущности, я не очень покривил душой. Оракул предвещал нечто куда большее: "Ты будешь жить, пока будет жить твое царство". А для меня это означает, что я достигну не только океана, но и бессмертия. Ибо такое царство, как мое, раз основанное, уже больше не может умереть.

— Кратер, между прочим, твои лазутчики узнали что-нибудь новое? — спросил я.

— О продвижении армии царя Пора? Он все время маневрирует.

— Нет, о секрете бессмертия, которым владеют здешние мудрецы. Иоанан уверен в этом. До того, как царь Дарий призвал его к своему двору, он специально путешествовал по Индии, чтобы разведать этот секрет.

— А как же! — иронически подтвердил Антифрон. — Этот хитрый иудей утверждает, будто своими глазами видел воскресшего из мертвых.

— И ты не веришь? — сказал я с укоризной. — Ну, конечно, раз ты даже в наших богов не веришь!

— Почему я должен верить в наших богов, если ты не очень веришь в чужих.

— Я? Неужели ты забыл о моем указе — поклоняться всем богам? Ибо одни и те же боги у греков и мидийцев, у персов и египтян, только разные народы называют их разными именами.

— Значит, ты, Александр, действительно веришь в египетского бога Ра?

— Несомненно. Иначе не отправился бы в Сивский оазис узнать у его жрецов, что мне предвещает наш отец Амон-Ра.

— И бог Ра воспользовался этим удобным случаем, чтобы объявить тебя своим сыном! Если ты принимаешь эту хитрость египтян за чистую монету, почему заодно не осведомился, с кем он тебя прижил?

— Гонцы прибыли? — спросил я Кратера. По опыту я знал — когда у меня закипает кровь, нет лучшего средства, чем заняться полезным делом.

— Да, мой Александр.

— Скажи им, чтобы пришли.

— После битвы?

— Нет, сейчас! Битва подождет.

— Боюсь, что в таком случае царь Пор опередит нас. — Кратер хмуро покачал головой. — Крылатая Ника покровительствует только тем, кто соперничает с ней в быстроте.

Я смолчал. Не мог же я объяснить ему, да еще в присутствии Антифрона, что внезапность нападения была заранее обеспечена. Кроме посланных Кратером официальных лазутчиков я направил в лагерь царя Пора двух собственных. С особым, довольно необычным заданием. Саму мысль мне подал Антифрон. Перед падением Тира, который до тех пор считали самой неприступной крепостью в мире, он, издеваясь, предложил: "Вот ты засылаешь тайных агентов выведать намерения противника. А почему бы, перемены ради, не поступить наоборот? Пошли людей к врагу, чтобы предупредить о своих замыслах. Ведь если ты действительно такой великий полководец, то все равно победишь — причем не хитростью, а правдой..."

Вместо того, чтобы наказать его, я вспомнил одно из изречений моего учителя: "Из любой насмешки можно извлечь нечто полезное для себя". Начиная с осады Тира я поступал почти точно

по совету Антифрона. С тех пор не одна битва была выиграна благодаря ему, хотя он об этом и не подозревал.

Задача моих лазутчиков заключалась в следующем — дать себя схватить, а затем (для пущей достоверности, предпочтительно под пыткой) раскрыть врагу численность моих войск, расположение лагеря, час, когда начнется атака. Сведения, естественно, были ложными.

Мои лазутчики платили за это жизнью. Мне было их искренне жаль — этих почти еще мальчиков, которых я подбирал из корпуса моей личной охраны. Командовал ими Селевк.

Как и они сами, он был молод. Чувствительный минус, если речь идет о военном опыте. Огромный плюс, когда дело касается новых идей. Селевк не был со мною в начале пути, когда в маленькой Греции кровью и волей моих верных македонян, в сущности, уже решалась судьба будущего мира. А потом для них, вышедших из маленькой горной страны, где каждый город воображал себя державой, это будущее оказалось слишком огромным и поэтому непостижимым. Один за другим мои старые военачальники оставались по ту сторону идейного рубежа, через который не были в состоянии переступить. Для них война была все тем же набегом первобытного племени, а все, что попадало им в руки, — сокровища, женщины, домашний скот, земли, страны, целые народы, — законными трофеями победителя. Только молодые были способны мыслить не масштабами родной деревушки, а всеобъемлющего, многонационального государства. Селевк, вовсе не самый старый и в то же время самый близкий мой соратник, понимал, почему моя армия из занесенного над Азией греческого меча постепенно превратилась в пестрый конгломерат народностей. Мы по-прежнему сражались и проливали кровь, и, где надо, беспощадно подавляли сопротивление, но мы уже больше не были враждебной армией на чужой территории.

Среди юношей, которыми командовал Селевк, греки сейчас, пожалуй, были в меньшинстве. Это была будущая элита моего будущего мира. И такими они себя уже чувствовали. На любое самое опасное задание вызывались сотни добровольцев. Те двое, которых я отправил сегодня в лагерь царя Пора, тоже знали, что их ждет. Они охотно шли на смерть — не ради меня, не ради какой-нибудь Спарты или Вавилона, а ради великой цели...

Вошли гонцы. Один из них — новичок, который был совсем недавно назначен на эстафетную дорогу №15 Эктабон — Тир — Александрия Египетская, — склонился было в "земном поклоне". Я обнял его и усадил за стол. Остальные, слава богам, уже знали мой характер. Заставлять человека ползать перед тобой на четвереньках, после того, как он еле живой соскакивает с загнанного

коня, значит быть тупым восточным деспотом. А я ценил людей, и за это они ценили меня.

— Лучшего вина, Кратер! Они его заслужили, — приказал я. — А теперь докладывайте.

Новичок-египтянин, развернув папирус, привстал, но я его опять усадил. И придерживал за плечи, ибо он все время порывался встать и грохнуться лбом о пол. Конечно, нелегко зачитывать обращение к божеству, когда сам он сидит, а его бог стоит.

— Великий государь, сын бога Амона-Ра, любимец богов, фараон Верхнего и Нижнего Египта, царь и повелитель Персии, Мидии, Парфии, Индии и всех остальных стран обитаемого мира! Падаем перед тобою ниц и сообщаем...

"Ну и льстецы! — подумал я. — Индия еще не покорена, а они уже присоединили ее к моему титулу. А Грецию даже не упомянули. Неужели она действительно такая крошечная, что ее и из сравнительно близкого Египта уже не видно?"

Следующим был гонец из Тира. После семимесячной осады жителям этого города пришлось дорого заплатить за свое упорство, но сейчас, судя по обращению, старые обиды были забыты:

— Великий государь, сын бога Ра, наш бог и повелитель...

— Спасибо, — сказал я гонцу, так и не дослушав донесения. — Большое спасибо! — И, обращаясь к Антифрону, заметил: — Если Тир признал меня богом, весь Восток последует за ним. Ты, хоть и пытаешься иронизировать, отлично понимаешь, как это важно для государства.

Я подал было знак гонцу новой эстафетной дороги №27 Сузы — Персеполь — Александрия Индийская. Но его опередил афинянин, очевидно считавший, что, позволив двум иноземцам обратиться ко мне до него, уже достаточно ущемил свое достоинство эллина.

— Наш государь Александр! От имени свободных граждан великого города Афин...

Уж эти мне греки! Пятьсот лет только тем и занимались, что хватали друг друга за горло! А когда наконец нашелся человек, который сумел сделать из них нацию... Я чуть не ударил ни в чем не повинного гонца. А тут еще Антифрон со своей язвительной усмешкой:

— Вот видишь, Александр! Пусть разные там азиаты признают тебя богом, для просвещенных греков ты всего лишь македонский царь, а твой отец Ра — чужеземный идол. Другое дело — будь ты сыном Зевса!

По побледневшим лицам гонцов я увидел, что слова Антифона кажутся им кошунством. Они с трепетом ожидали моей реакции. И тогда, немного подумав, я сказал:

— А ведь это действительно прекрасная идея! Антифрон, бери папирус и пиши: "Я, Александр, приказываю — на следующем съезде великого Коринфского Союза великих и свободных греческих городов постановить: воздвигнуть во всех храмах мою статую и впредь воздавать ей почести, приличествующие Сыну Зевса".

Опять, как уже не раз, Антифрон подсказал мне своим сарказмом правильный ход, до которого я сам почему-то не додумался. Может быть потому, что слишком уважал Зевса. Недаром в предыдущих между походами он являлся передо мной, благословляя на избранный мною путь. Я был только исполнителем его божественной воли. Но не эта моя вера толкнула меня сейчас на смелый шаг. При узколюбости моих современников, несущественное для меня различие в языках, обычаях, нравах становилось почти непреодолимым препятствием для моей великой идеи. Лишь единая религия могла сблизить людей. Но сколько стран — столько храмов и верований. А если рядом с финикийским Ваалом, египетским Амоном-Ра, греческим Зевсом будет стоять статуя его сына Александра, люди поймут, что это три разных имени одного и того же божества. И заодно — поймут наконец друг друга. И сбудется моя мечта. Один бог для всех, одно государство, один властитель! Мир слишком мал, чтобы иметь двоих.

Я, должно быть, задумался. Голос Антифрона вывел меня из забытья:

— Готово, Александр!

— Позвать гонца! — приказал я, протянув руку за указом.

— Подожди. Не разрешишь ли ты приписать, чтобы и мне подыскали на Олимпе какого-нибудь отца. Чем я хуже? Представляешь — Антифрон, сын Посейдона!

Я собирался ответить шуткой, но, услышав, как хихикнул гонец из Афин, грохнул кулаком по столу:

— Приписать? Правильно, Антифрон! Припиши: "В знак моей особой любви к Афинам позволяю городскому совету за собственный счет воздвигнуть Храм Сына Зевса Александра, а всем свободным гражданам этого великого города — упоминать меня в ежедневных молитвах!"

Кратер, который уже давно порывался что-то сказать, как всегда выбрал самую неподходящую минуту.

— Мой Александр! — начал он, но, вспомнив, как дорого обошлась афинянам их непочтительность, заикаясь, продолжил: — Мой бог и великий государь! Все это хорошо, но не пора ли начать атаку?

Я невольно улыбнулся — царь Пор уже наверняка поставлен в известность, что мое войско движется по направлению к его левому флангу и вот-вот начнется бой. Но страшный Александр Ма-

кедонский появится не вот-вот, не через полчаса, а лишь тогда, когда перед ним будет изнуренный долгим напрасным ожиданием и поэтому уже наполовину побежденный противник. Эта мысль вернула мне хорошее расположение духа. Я похлопал Краера по плечу.

— От тебя, старого боевого друга, я такого не ожидал. Какой я бог? Такой же человек, как ты... А насчет сражения не беспокойся, все будет вовремя.

Следующим было письмо от Роксаны. Она уже малость научилась греческому, мне было приятно видеть ее полудетский почерк, даже орфографические ошибки были приятны.

"Мой любимый муж и повелитель, спешу обрадовать тебя. Оракул предсказал, что на днях я разрешусь от бремени..."

Я вспомнил осаду неприступной горной крепости, в которой засел отец Роксаны Оксиарт. Мы провозились с ней так долго, что я уже принял твердое решение стереть ее с лица земли. Бактрийцы, недостижимые для наших стрел, толпами стояли на крепостном валу и кричали: "Александр, у тебя уже выросли крылья? Если нет, возвращайся в свою Македонию, до нас тебе все равно не добраться!" А однажды отром этих наглых бактрийцев разбудили стрелы, пущенные моими храбрецами с возвышавшейся над крепостью скалы. Это был воистину Геркулесов подвиг. Я видел, как мои македоняне срывались с канатов и летели в пропасть, и я поклялся, что за каждого из них ответят головой сто жителей города. Но когда ко мне привели пленников — среди них была дочь Оксиарта Роксана, — я даже пожалел тех бактрийцев, которых мои солдаты успели перебить. Она была прекрасна!

Последнюю фразу ее письма я, не удержавшись, прочел вслух: "И если наши общие боги будут к нам милостивы, у тебя родится сын, твой наследник".

— Поздравляю, Александр! — сказал Антифрон. — Как ты его назовешь?

— Разумеется, в честь моего отца.

— Которого?

Приятно взволнованный известием, я, пропустив мимо ушей ехидную реплику Антифрона, ответил:

— Филиппа.

— Это очень мудро.

— Почему?

— Ну и титул получился бы, окрести ты его именем своего другого отца: "Я, Зевс, сын Александра, внук Зевса, а также внук Амона-Ра..."

— Антифрон, крепко держится на плечах твоя голова?! — только и спросил я.

Потом пошли донесения от правителей разных областей. Почти все называли меня сыном бога Ра. Все меня почитали, уважали, любили. Я знал, что их привязанность искренна. Следуя своей политике — уничтожить идейных противников и награждать идейных союзников, я всегда назначал своих наместников из числа верных мне представителей коренного населения. Греки состояли при них лишь советниками.

Я не без гордости повернулся к Антифрону.

— Что бы ты ни говорил, а все-таки меня любят!

— Конечно. Так же жарко, как твоя Роксана. Но ты, должно быть, забыл, что она досталась тебе в качестве военной добычи. Можешь ли ты представить себе захваченную мною в плен рабыню, которая бы осмелилась сказать, что не любит меня?

И это оскорбление я стерпел. Но тут мне окончательно испортил настроение гонец из Согдианы. Опять восстание! Уже не помню, которое по счету. Этот маленький народец был для меня загадкой. Своим упрямством они напоминали иудеев, которые, отрицая истинных богов, поклонялись какому-то верховному существу, настолько сумасшедшему, что оно даже запрещало называть себя по имени.

Восстание следовало подавить. Следовало выделить для этого войска. Следовало придумать такое наказание, которое бы их, наконец, образумило. Но заниматься этим перед решающей битвой было бы дурным предзнаменованием, поэтому я повернулся к Кратеру:

— Построй войско! Пора начинать!

Я уже отодвинул полог шатра, но тут Антифрон, полагавший, что последнее слово должно остаться за ним, сказал:

— Ты считаешь себя великим полководцем на том основании, что завоевал больше стран, чем кто-либо другой. Но покорил ли ты их? Что-то для покоренных они слишком непокорны!

Я ничего не ответил. Просто вспомнил слова своего великого учителя Аристотеля: "Перед битвой полезна добрая доля злости, излишний гнев только дурманит голову". С этой точки зрения будет разумнее, если перед следующей решающей битвой меня разбудит не сам Антифрон, а его палач.



# ПАМЯТНИК ДОНУ АЛЬФРЕДО

Перевел Сергей МОРЕЙНО

*Каждое дерево имеет корни, каждая река — исток. "Возвращаются к корням своим деревья, и текут к своим истокам реки вспять", — сказал великий латышский поэт Ояр Вацетис. Народы вглядываются в колодезь своего детства и тянутся к своим колыбелям. То и дело дают о себе знать разные притоки, питающие единую реку, омывающую жилы. В русском голосе звучит монгольская струна, в латышском — ливская песня.*

*Славяне и балты больны непонятной тоской по угро-финским корням, ощущениям кровного родства и рокового непонимания.*

*"Стихотворный цикл "Памятник дону Альфредо" рассказывает о своеобразном величии некоего толкователя эстонской литературы и фольклора, — пишет Улдис Берзиньш. — На тех персональных небесах, что я ношу у себя над головой, дон Альфред Кемпе в числе святых... Кемпе стремился переложить на латышский язык все эстонские тексты, начиная с первых молитв; он верил, что оба народа на самом деле — один, только "глухота" и "немота" разделяют их: "эта" Видземе речи "той" Видземе не понимает. Что мы, переводчики, делаем частично и постепенно, то наш дон желал свершить сразу и целиком".*

*Я пытался перевести этот цикл как своего рода мистерию, главную роль в которой исполняет сам Улдис: "Я вижу — стоит (Альфред Кемпе) меж зенитом и пеклом, с пальцем во рту. Я ему памятник".*

*Замечу, что в оригинале этот памятник гораздо больше (12 частей) и внушительнее.*

## ПЕРЕВОДЧИК

Латышский поэт, переводчик Улдис БЕРЗИНЬШ родился в 1944 году в Риге. В 1971 году окончил Восточный факультет Ленинградского (Санкт-Петербургского) университета. Издал книги стихов: "Памятник козе" (1980), "Поэтизм белорус" (1984), "Несостоявшиеся покушения" (1990). Переводил поэзию с русского, белорусского, английского, польского, чешского, персидского, древнееврейского, тюркских языков. Перевел "Слово о полку Игореве" (совместно с К.Скуениексом), "Книгу моего деда Коркуда", "Гулистан" Саади, стихотворения Махтумкули, В.Хлебникова, В.Симборской, Ч.Милоша и других поэтов. В 1988 году выпустил книгу переводов (совместно с П.Бруверисом) из турецкой поэзии "Дворы полны голубей". К 300-летию первого перевода Библии на латышский язык опубликовал в периодической печати переводы из поэтических текстов Библии: "Книга Иова", "Псалмы Давида", "Экклезиаст", "Книга Притчей Соломоновых".

Стихи У.Берзиньша переводились на русский, литовский, эстонский, польский и другие языки.



## БАВИЛОНСКАЯ БАШНЯ

Переступлю порог и охну: рвет боженька страницы моих тетрадок, немота бьет в небо, слепота в зрачок. Круг вертится, черт глину мнет, бог кружки бьет. Немало пожито: подарено и взято, немало спеть пришлось. А щелки уцелели: Отче наш... Остался на бабах, крест падает, грязь не издаст ни звука, лишь ветер лаской путает траву (черт в реку влез, камнями хрупают и всё мурует, мурует стену, пузо гладит, вот и вырос Вавилон) теперь никто не вспомнит: мощный ствол березы, кривой, корявый, но еще не слог — и я там был, там по усам текло из колыбельки солнца, в том-то-перетом столетии я выучился складывать: Тыдаждьнам-днесь (дай, жирный, сучковатый лист!) такое ж лето с богом на опушке: я рассчитал на пальцах, третий сын — ну да, мой боженька — он черту брат меньшей (космическое брюхо пучит, боль прибывает, стены в трещинах, орет и стонет черт, а Дух зацвел крапивой у забора) воробушек чай стрелянный, но голыми руками не возьмешь (чу, полночь: соловеют соловьи, Брат встал на Брата, я в сиренях спрятался и жду: бог мимо над речною дымкой кометой звезды бить, луч вперехлест лучу — миг бытия желанный! сучьев треск, черт поскользнулся на своем поносе — ах, Господи! нет ни твоих следов, ни знаков в пойме Гауи). Quo vaditis, слова, рука немеет, язык устал, и точит червь листву. Все стихло: бог разгневан — на черта не глядит.

## ВЕСНА

По выдранным листкам бегу, четыре евангелиста следом, и нянечка, и директор школы, хватают за одежду, ножки ставят, в темном коридоре мы вскочили на шею сплетнику, она болталась в самой скользкой букве (букве Лам), мне Рамиз Роушен из Исфахана пишет, оказывается, другою буквой по сей день жнут женщины пшеницу (буквой Син). Я в суффиксах и префиксах укрылся (в значениях побочных — выручай, покров семантики!). Да, Библия нежнее у армян, она пленяет старыми цветами (те краски не поблекнут!), но письма восстали на меня, дерется переплет и рвет рубашку, на пальцах кровь; зато в одном задрипанном издании бесплодный, но сердечный литератор (из москвичей) желает мне добра. Разбужена весна, и бисмиллах! дорогу строят птицы, черт громоздит холмы. Как каждый год, коня седлают Тощий, а Жирный охает, но лезет на осла (их путь на небо!), уж Мальчик-с-Пальчик начал в дудку дуть, прошли большие Ноги, из Чрева в тучах лил кипящий дождь — дуй, дуй, пускай шатает зубья леса, хоть лето коротко, садись на царство, Дух, и проверай лады!

Теперь о муже смелом и о снежном поле: листе бумаги белом. Альфред Кемпе, день короткий, зима бездонна. А где Январь? В тех первых "Отче наш". А где Февраль? Прошел, не начинавший. Метель метет: Полшага уступи ей — всё, чем ты жил, поглотит энтропия. Бог пашет землю, черт посева топчет. Черт глину мнет, бог кружки бьет — и точка. Из кадки бытие на скатерть лезет, и скоро с языка вся кожа слезет. Нет выхода — мы смелому позволим врать, сплетничать и слушать ветер в поле, и переключать: из рук у бога кружки выхватывать и черту кладку ру-

шить; и, с Братьями схлестнувшись, духом сдвинуть ту стену, что любому сломит спину. — Как всякий, кто со Смыслом будет спорить, он на своем веку хлебнет немало горя. Не испугавшись ни числа, ни знака, замерзнет в снежном поле, как собака. Но приходит время, и сегодня в сумерках мы все возвращаемся.

## ИСКУССТВО ПЕРЕВОДА

Перо взял в руки Фредис пишет  
Слово Да и Нет кругом бумага  
и Да и Нет (постой Да или Нет?)  
одна бумага  
(вон у эстонцев есть словцо ни  
Да ни Нет а посередке вроде Да и в  
то же время Нет)  
Да или Нет в башке туман проклятая  
бумага  
(скорей чернила: Слово! я нашел  
ни Да ни Нет)  
есть только Да и Нет (так Да  
иль Нет?) бумага все бумага  
хохочет Нет трясет козлиной бо-  
роденкой береза сохнет брат не  
пришел с войны лиса сжирает гроздь  
дон Кемпе близко к сердцу  
да говорит бумага Да бушует  
брага в колосе хозяйка ставит ма-  
гарыч хрячок визжит в сарае и рано  
будят петухи (есть тыща книг и  
всюду Да да Да)  
Да Да Нет и бумага.  
Ладонь потеет шелушится слово-  
заика Кемпе ногти сгрыз а Вейне-  
мейнен встал в дверях смеется.

## ДОН ФРЕДЕРИКО ЖАЛУЕТСЯ

Дон Альфред переводит птичью речь на небесах, речь ландышей, какое утро белое, не надо мыть носки и штопать рукавицы, во всем направит Дух и розы расцветут, и Фредис распевает хоралы в лютеранской церкви, но комом в горле непечатый край работы, в полночь медиумы станут звать к себе, ай, хоть на миг назад, к своим народам, к бумагам брошенным, без дела у меня астральные озябли руки, я заглянул в колодец, но успеть — успел немного, бумаги брошены, уже алеет сад, туман завесил устье, башни тлеют, ты меня узнал и успокойшь в каштане рыжем (Дон Альфред мерещится осенним днем).

## С ЖУРАВЛЯМИ

Эй Фреди ты вернешься с журавлями (пусть филателисты и эсперантисты приходят рыболовы разводят пусть руками свидетельствуя) эй Фреди ты вернешься с журавлями (как странно но ведь так дух прея удобряет землю и если прошлый год был дух силен то следующему году зеленеть) эй Фреди возвращайся с журавлями (твой нищий дух ему покоя нет он искушаем но идет свидетельствуя) эй Фреди ты вернешься по весне (все фразы пляшут словно кочки под ногами но без костей язык и лив привязывает к твоему колену лодку пробуждайся дух исполнись жажды в декабре бунтуй и жги зарницы) безумный дон Альфредо с журавлями к нам вернись.

## БЕГИ НА УЛИЦУ

Брат трупный запах идёт от скучных ты  
на улицу беги.

(Дон Альфредо Кемпе по небу идет.)

Всё смотрят в стену в рот всё ищут  
нет ли фиги они и есть те будущие  
что грядут за нами но ни рук ни ног у них  
а только туша в туше дырка берегись той прорвы  
на улицу беги.

(Безумный Фредис Кемпе по небу идет.)

Не чешутся ни руки ни язык (всё к  
черту! энтропия!) ничем их не уесть молчат  
угрюмо а ты чего расселся на улицу беги.

(Сам Альфред Альберт Юрис Екаб Юлий  
Павел следом Кристап с ними Август Фрицис  
Кемпе по небу идет бряцают шпоры.)

# ГОД ФЕДОРА СТЕПАНОВИЧА

## РОМАН-РАЗМЫШЛЕНИЕ

Единственное, что мне осталось — бунт.

Не выдержала "совершенствования" человеческая природа, взбунтовалась против управления собой, разбила светлую корону — и наступил ад. Бунт "как есть" против "как должно". Заскрежетало все. Земля и небо поменялись местами. Взлет стал падением. Замелькали скалы, ужасные камни, черные провалы. Один камень — и кончена жизнь. Все свое рассыпается от прикосновения, и на его месте открывается совершенно чужое... Что же это происходит? — ничего особенного. Это я просто живу во времени, как и собирался...

— Отрекусь и отвернусь. Я же вызвал сие к жизни — я же отказываю ему в жизни.

"Проснувшись однажды утром после беспокойного сна, Грегор Замза обнаружил, что он у себя в постели превратился в страшное насекомое..."

Вот и пришел к тому, от чего хотел убежать: к необратимости.

— Белая кожа — в рыжий хитин. —

И шевели теперь печальными усами!

Не все ли равно: шесть ног или две?

И так и эдак — один.

Ну что ж? тихонько по обоям прошуршу  
К огрызку яблочному на твоей тарелке,  
Знакомый запах меж объедков разыщу  
И вылуплю бесслезные гляделки.

Так ночь застывшим стражем проведу,

Послушно вместе с утром холодея.

И, пьяный запахом твоим, уйду,

О старом теле больше не жалея...

Не желанней ли ад, если он вдруг — правдивей, истинней, чем рай? Придавит человека тяжелым камнем — и он начнет извиваться. Поднимут камень — а он все извивается, все так же! И настолько это выглядит непристойно, что хочется, чтобы опять опустили гнет: хотя бы объективная причина для человеческого безобразия есть!

Все нити завязались в узел. И раньше случалось что-то в этом роде, но раньше — всегда оставалось что-то непройденное, всегда в последний момент открывалась дверь с неожиданной стороны. Теперь же — все двери открыты настежь, и за ними — все уже знакомое. Осталось, наконец, просто уйти, не оглядываясь.

Смерть — осуществление всех рассеянных в жизни намеков на чудесное? По-

---

Продолжение. Начало см. "Даугава" № 5-6.

чему же тогда такая боль, будто кого-то хороню? Что? Кого? Что-то ушло безвозвратно... И в оставшуюся пустоту — словно бесы вселились, украли меня у себя...

Потом было — умирание. Как описать это — когда душа вдруг как бы тронулась — и стала тихонько отделяться от тела? Как пальцы на белой майке сделались противными, чужими. Как диван перестал вдруг давить на спину — и не оторвался еще — но уже потерял вес. Отчего эта заминка? Что держит там?

Как бы в сердце вбит ржавый гвоздь — он-то скрепляет душу и тело.

Будто кто-то завел в глубокий омут: утратилась перспектива, утратилась связь между происходящим и его смыслом, исчезли все ориентиры: как ни выбивайся из сил — а все висишь на месте. Ни времени, ни пространства — все плотно обволокла студенистая масса — идеальный проводник для токов внезапно накатывающего ужаса. Невозможно и помыслить, что где-то есть что-то другое: оно вездесущее, это стеклянистое время-пространство. Здесь нет речи, нет людей. Если искать ему соответствие в созданиях природы — это будут холоднотельные насекомые. По привычке шлепнув тапочкой на кухонном полу убегающего таракана, Федор Степанович вдруг ужаснулся, смотрел долго, не решаясь добить, на выползшую беловатую массу и судорожно перебирающие лапки; такой страшной тоски, абсолютного одиночества, как в тараканьих глазах, он еще не видел...

"Проклятая литературщина", — подумал он, с сухим треском надвинув на таракана тапочку, и замел веником в совок.

По ночам какое-то колыхание мнилось в окружающем веществе, и он всматривался в темноту, интуицией восполняя недостаток зрения. Первее всего угадывались две точки то красноватого, то фосфорически-зеленого свечения, застывшие, не мигавшие. Колыхание стеклянистой атмосферы заставляло вдруг отшатнуться, как от прикосновения щупальца. Иногда все затихало, наступал полный покой, но вскоре оказывалось, что он просто не может двинуться, охваченный со всех сторон тоской... Когда же кончится неподвижность, когда опять тронется и пойдет мое живое время? И готов все оставить здесь, лишь бы выбраться самому, но кто-то крепко держит. Кто? Не поймать за руку, но это — не я. И его приходится признать. Вмешательство налицо!

Однажды, в самый тяжелый момент он увидел прекрасное здание, каждый уголок которого был до боли знаком: оно было выстрадано им, построено его руками. Все добро, сделанное им когда-либо, стало зримым в колоннах и арках этого храма. Он жадно глядел, но под взглядом оно стало как-то странно колыхаться: картинка на полотне, которое уже проела моль. Содрал тряпку — и — конечно же, так и знал: гигантский спрут, огромный, черный, страшный стерег меж щупалец своих осклизлую горку костей, и эта жалкая горстка — был он...

...Шарахнулся прочь — и окончательно выпал из существования — оно оказалось фикцией. С тоской выглядывая из щупалец, затылком ощущая их холодную неподвижность, увидел свое привычное тело как оболочку, уносимую ветром надобие мыльного пузыря. Поначалу она была еще узнаваема, потом стала морщиться, спадать, черты лица исчезли, пока не утратились совершенно. Летел бывший Федор Степанович как чулок в воде — то расправляясь, то сжимаясь в бесформенную тряпицу, пока не потерялся совсем. Лопнуло что-то, оборвалась последняя ниточка, все померкло.

...Ну тут-то и явилась мысль, что самоубийство есть самый естественный выход для него, раскусившего нехитрую загадку жизни: куда ни пойдешь — прямо, налево

или направо, — придешь все к тому же. Первая дорога ему представлялась как жизнь по воле и по программе, но он знал ее наизусть: неблагодарность, бездарность, а в конце оказываешься обделенным как раз в самом главном...

Левая дорога была не менее знакома: жизнь по вдохновению, по тайному зову. Радостная, грешная дорога, приводящая к трагедии.

Он же шел одной ногой по одной, другой — по другой дороге, и охватила его тоска по полноте жизни, настигло желание жить. Меж тем он знал, что желание новой жизни приведет его в старую лузу. И оттого, что так остро захотелось жить, он так же остро понял неизбежность самоубийства, и думал лишь о выполнении, желая хоть это сделать достойно.

...Однажды он сидел и, по обыкновению, писал. Ровно ходила рука — за ней подавалась спина, и скрипением отвечал стул. Работа медленно — но подвигалась.

Вдруг, как тончайшей иглой, укололо его с безошибочной точностью в самый нерв.

Он вскакивает — он чувствует, что тот повод, который судьба, пожав, наверное, плечами, дала ему (не жалко!) — иссякнет, что другого такого не будет, что это — последняя возможность ему погибнуть. Он пьет вино, чтобы не разувериться в том чувстве — и вино помогает: он любит ее и страдает оттого, что она не пришла, — но этого мало. Я должен, наконец, все высказать! Это нельзя так оставить!.. Он хочет оказаться прав, хочет пасть жертвою роковых сил, а не своего произвола, но повод слишком мал — и трагедии не получается. Он рвет на груди рубаху и закатывает безумные глаза — так велико его страдание. Но он видит, как легко рассеять это страдание — и бежит, не оглядываясь, чтобы не увидеть выхода из него, который так близко. Страдания не получается. Выход, разрешение вот-вот его настигнет, — и он, чтобы ускорить бег, швыряет стул в стекло шкафа. Он с надеждой ждет, что сейчас ворвутся соседи — и на людях ситуация вынуждена будет чуть-чуть подгримироваться — на ту йоту, которая сделает ее безвыходной. Но соседней, как назло, нет дома. Драмы не получается. Сейчас все успокоится... Он выбирает на улицу, ища пьяных, чтобы ввязаться в драку, — но улицы пусты глухой ночью, никто не хочет его убивать, никто его не арестовывает. Драки не получается. Он зовет на помощь, потом пьяным голосом запекает песню — но никто его не спасает, не бьет, не убивает... Смерть не подстерегает его в дремучих переулках. Он оказывается кругом виноват. Кто-то — наверное, тот хулиган, который позволил ему в дверь вместо нее, — проходя мимо, задел его боком. Но не успел размахнуться и ударить — как тот сказал "извините" и улынулся виновато и грустно. Мстить было некому. Мести не вышло...

Он хочет тогда пострадать ради счастья кого-то. Но все уже счастливы и пострадать — не выходит. Нити, завязанные им в узел, с каждым мигом слабеют, напряжение падает — скоро узел развяжется вовсе. И подхлестнутый страхом перед такой жалкой развязкой, он бежит со всех ног, задыхаясь, не желая признать и забрать обратно свой вызов.

— Не может быть, чтобы я всегда оказывался неправ, не может быть, что даже сейчас, в свой последний момент, я неправ... Он хочет выпить еще вина — но магазины все заперты, и хмель безнадежно уходит. Нет, именно этот момент самый истинный в жизни.

Сейчас очевидно, что я прав. Никогда не дано нам высказаться откровенно, но бывает момент, который дается раз в жизни, и преступление — его упустить. Сейчас

я скажу всю правду: моя жизнь — пропала, не вышла. Это ужасно, это надо только понять. Здесь отчаянье такой глубины, что человеку вместить невозможно. Это ужасно, это такое несчастье, что не может быть, чтобы оно до вас не дошло! Я погиб — и ничто меня не может спасти!..

Но когда кончил убеждать кого-то так отчаянно и страстно, то заметил, как брови его, заболевшие от напряжения, с облегчением вернулись на место, выполнив свою роль в скорбной маске — и... все вернулось на место.

— Все пропало! — решил он, нечестно истолковав тишину ночных улиц как жестокую и равнодушную, — и обхватив голову руками, чтоб поддержать напряжение в висках, бросился в свою комнату.

...Там было чисто, приветливо и уютно. Чистотой сверкало стекло в шкафу без единой царапинки, стул на округлых лапках приткнулся к столу, и в стройном квадратном порядке лежали книги и бумаги. И он, обведя все это затравленным взглядом, вскричал: "провалитесь вы к черту, убийцы!" И схватив огромный кухонный нож, поставил его острием в самое сердце (но на всякий случай чуть выше), потом разбежался — и в неистовстве швырнул свое тело об стенку...

Вдруг показался ему страшный коготь — как перст грозящий. — Но тут же оказался пальцем всего-то от куриной ноги: сухие чешуйки, ревматические суставы... Вида дохлой ощипанной птицы он перенести не мог — жаждал горячей алой крови раненого орла! — Орел равнодушно закрыл глаза нижним веком... И он закатил глаза, и искал там, в подлобье, красных сполохов — а проплывали все какие-то зеленые огурцы...

— Вот мы и встретились! Говорил я тебе? — приветствовал его Н., самоубийца.

— Я же тебе говорил! Говорил я тебе? — хватался за голову его друг-христианин.

— Ты ушел от меня и оставил одну, — заплакала она.

И тоненький голосок тихонько издевался над ним, сверлил его воспаленный мозг:

Косит коси-коси-ножка,  
Косит пустоту.  
На кусту висит пустошка,  
Клякнет на кусту.

На пестру косеет сошка,  
Сякнет попусту.  
Коси-коси-коси-ножка  
Косит пустоту.

Коси-коси.....

— Замолчи!!!

.....  
Кап...  
Кап.....

Наутро Федор Степанович был еще в забытии... Когда же вечером, мрачный и злой, вернулся со службы (на которую опоздал), — то онемел от изумления: у две-

рей его квартиры стояла она и что есть мочи нажимала кнопку звонка...

5

Н.

Белый облачный свет с розоватым румянцем июльского яблока — ее цвет, цвет любви Федора Степановича, — обволок его душу, закрыв от внутреннего взора безобразный разгром. Свет был столь чист и тонок, что не вправе он был его утаить, свет просился наружу, растопляя лицо беспомощной блуждающей улыбкой, которая при недельной небритости щек делала его выражение чуть идиотским.

Он едва удержался, чтобы не высказать все сразу же, на пороге, — но боясь спугнуть, сдержал свои слова. А пока — ловил каждый жест, каждое слово, чтобы одарить ими память и носить с собою всегда.

— Как здесь чисто и прибрано! — был первый подарок, сверкавший непостижимой выразительностью интонаций, какие могут родиться только нечаянно, заставая врасплох даже внимание влюбленного.

Вторым подарком было, когда провела рукой по намокшим от снега волосам, создав неслучайное смещение прямых линий и волнистых. Он вбирал каждое слово: по одному, по два — в каждом вмещалось так много, что смысл становился лишним. Взволнованность ее слов была таким ценным, незаменимым оттенком звучания речи, что он и не думал искать для нее каких-то других, посторонних причин. Они легко перешли на "ты" — и к речи прибавилась новая краска, интонации приобрели еще одно измерение — глубину, имевшую прямое отношение к Федору Степановичу. Тогда он стал искать за словами не их собственный, но особый, другой смысл.

— Да ты ведь не слушаешь! — вывела она его на чистую воду, как вещичкой, назначение которой еще не совсем установилось, играя новым словечком — новым отношением ее и его. "Ты" ткнуло его в живот.

— Ты рассказывай, мне очень интересно, — воспользовался и он своим правом прикоснуться впервые. И потом — повторяли на все лады, упиваясь странностью новизны: — А ты будешь слушать? — Как же тебя не слушать? — Но может быть тебе это все неинтересно? — Не говори так, мне, правда, очень интересно... — И тогда он, суеверно боясь, что сказанные им слова окажутся ложью, стал старательно подгонять под них себя и перенес внимание уже на собственный смысл слов, самоотверженно отказавшись от другого. Тут — словно прорвали плотину — хлынул на него чужой поток...

— Она, правда, очень хорошая, очень! Если не веришь — я в другой раз прочитаю тебе ее стихи — у меня с собой нет, — я таких никогда не слышала! — все про море, про чайки и корабли — такие дали, такой простор — что хочется утонуть в нем... уходят фрегаты... и... и... пираты... как жалко, что я ничего точно не запомнила! ...Фрегаты... ладно, я потом обязательно принесу... Но у нее такая несчастная судьба — совершенно необычная! Я расскажу тебе сейчас все по порядку — только ты не думай, она очень хорошая! Вот, значит... Мать у нее — нехорошая женщина, пьяница. И отца не было — они жили вдвоем. Что ни вечер — то в доме чужие люди и пьянка. И она после школы перестала приходить домой, ей было тогда пятнадцать лет, — и весь день бродила по улицам и спать приходила только поздно ночью. А город их — на берегу моря, порт, — и она чаще всего уходила к морю. И там нашла где-то заброшенный домик. Тогда она и на ночь перестала домой при-



ходить: мамаша, когда пьяная была, всегда ее била. И стала она ночевать в том домике. Она знала все уличные компании: и воров, и хиппи. Но она с ними не ходила — ей нравилось одной. И все было бы хорошо, но мать ее пожаловалась в школу, что дочь, мол, дома не ночует, неизвестно где пропадает и на какие деньги живет. Стали ее перед всем классом срамить, воспитывать, заставляли вернуться к матери. После этого она уж и в школе не могла появляться: там все на нее пальцами показывали и обзывали воровкой. Тогда и задумала она бежать из города. И как-то раз в порту познакомилась с одним матросом — он был пьяный, а на следующий день их корабль отправлялся в плавание на несколько месяцев. Она понравилась ему, и он протасил ее на свой корабль и спрятал там. Потом он как-то со своими договорился — сказал, что это его дочь. А в это время на берегу ее разыскивали и узнали наконец, где она. И когда корабль вернулся в порт — ее уже ждали на берегу... Матери к тому времени уже не было — ее задушил любовник. Отдали ее в детский дом — но она бежала оттуда несколько раз. Тогда ее отправили в исправительную колонию. Ну а там — известно что за люди... Там у них и проституция и наркомания — как только достают! И, в общем, она стала принимать наркотики — она ведь совсем не могла жить в неволе! Но как-то раз ей подсунили что-то не то — и она отравилась. В больнице установили в чем дело, и когда она пришла в себя, то ее как наркоманку отправили в сумасшедший дом. И мы оказались в одной палате...

— Подожди, сейчас расскажу! — отмахнулась она заранее от возможного вопроса. — Несколько дней мы с ней разговаривали с утра до ночи — и так подружались! И вот как-то ночью она меня будит и говорит: "Не могу, не могу я здесь больше! Я хочу убежать! Ты лежи тихо, будто спишь, и не обращай внимания — а я попытаюсь, я ключ у уборщицы ukrала от палаты". Я говорю ей: бежать — так вместе, я тебя не отпущу одну. Мы отперли дверь, прокрались к выходу, а входная-то дверь — тоже заперта! Стали ее взламывать — но на шум прибежала дежурная, позвала других — и они набросились на нас. Меня скрутили быстро, а она долго еше отбивалась — пока из сил не выбилась.

На следующий день пришел врач, а она ему: отпустите, отпустите, не могу я здесь больше! — Но как же, говорит, тебя отпустить: разве так нормальные люди ведут себя? — Да я же только здесь ненормальная, а на воле я буду совсем-совсем нормальная!

Меня скоро выписали — а она так там и осталась, и, наверное, — надолго. Не знаю, увижу ли ее еще когда-нибудь... Таких людей я никогда не встречала! — О чем ты думаешь? — перерезала она внезапно его мысли.

— А как ты туда попала?

Она стала вдруг строгой, и голос ее изменился до неузнаваемости:

— Да все из-за... Мне стыдно про это рассказывать тебе — но кроме тебя мне некому рассказать. Мы хотя и мало знакомы, но я знаю, что ты добрый, что ты поймешь меня. Дело в том, что меня ужасно обманул один человек. Я любила его и мы хотели пожениться. ...Поэтому я перестала его бояться... Но когда он добился своего — то его как подменили: он стал таким грубым и жестоким! Он сказал, что и не собирался на мне жениться, что это он в шутку раньше говорил... В общем — оказался последним негодяем. И я решила покончить с собой. Собрала все таблетки, которые были в доме — и выпила. Но вдруг мне стало страшно, я разбудила маму и сказала, что чем-то отравилась. Мама вызвала "скорую помощь", меня отвезли в

больницу, а когда выяснили, что я отравилась нарочно — отправили в сумасшедший дом — туда всех самоубийц отправляют. Так мы и встретились с ней... Вчера только вышла из больницы — и вот пришла к тебе...

Федор Степанович понял, наконец, почему она пришла тогда в храм: это было накануне ее самоубийства... Тут голос ее сделался еще тверже:

— Я его ненавижу. Я убила бы его... Но я не могу... я при нем совсем теряюсь — и даже сказать ему, что о нем думаю — не в состоянии. Потому я и пришла — чтобы просить у тебя помощи. Слушай, отомсти за меня, а? — проговорила она, глядя в одну точку.

— Как же это? — спросил Федор Степанович с саркастической горечью. Она сразу оживилась:

— Слушай, я все придумала: я ему звоню и зову к себе в гости как ни в чем не бывало. Он приходит ко мне, а там ты... Нет, лучше так: я открываю дверь, мы проходим в комнату, садимся на диван и — все как ни в чем не бывало. И в этот момент ты выходишь из гардероба...

— В маске? И в перчатках? Я не способен ударить человека. Это не соответствует моим принципам! — с достоинством и даже с надменностью отвечал Федор Степанович.

Потом, проводив посетительницу до двери, завел часы и лег в постель, где, наворочавшись до крайнего раздражения, уснул под утро...

Утром Федору Степановичу легче не стало. Он мог перестать видеть в ней что-то неземное, но не мог разлюбить.

— Я способен понять, что я плох. Но я не способен сделаться лучше, — размышлял он, созерцая пальцы ноги, выглядывавшие из-под одеяла на фоне белой простыни. Ему сделалось отчего-то противно, и он скорее встал, чтобы умыться. Но воды опять не было, и он пошел на службу неумытый.

— Я взялся за "совершенствование" — и надорвался. Казалось, остается только это констатировать и остановиться на таком решении вопроса. Но, проснувшись утром, обнаружил, что откуда-то пришли новые силы — и опять нужно начинать все сначала. И вопрос тот — не решен, и все так же стоит передо мной и взывает ко мне — будто я его и не прогонял, и не разрешал. Какая, право, настойчивость!.. Было совершенно неясно, как жить дальше. Чтобы спастись от тоски и мук несчастной любви, он решил начать какую-нибудь работу. Он чувствовал в себе некий непреодолимый порок и, боясь подступить к нему прямо, стал выскидывать его в других: так легче было от него отмахнуться. С этой целью он совершал психологические экскурсии в прошлое, заново переосмысляя старых своих героев. И таким образом находил тот порок во всех и топтал их теперь с наслаждением самобичевания, со злорадством освобождения от старых кумиров. Все они оказались вдруг лицемерами, скрывающими главное: свое испорченное до глубины нутро.

Вчерашнее озарение превратилось в навязчивую идею. Идея разветвлялась, росла — и чтобы избавиться от нее, он сел писать трактат, который озаглавил: "О характерном русском типе".

### **О характерном русском типе**

Есть в жизни некая ущербная сторона, в личности — некий больной нерв, как бы лучше определить... недостаток жизненности, жизненная малахольность, — соединение чахоточного худосочия с чахоточным жаром. Подростки, мучающиеся самолюбием, страдающие от насмешек, от сознания неполноценности. Которые то

хамят — то родеют; перед другим полом то хабрецы и романтики — то похабники. Неумеренно рефлектирующие, морализирующие юноши, которые мучаются несоответствием своего идеала и своей нескладности.

Николенька Иртенъев, Дмитрий Нехлюдов, "русские мальчики" Достоевского, что в грязных кабаках за водкой мировые проблемы решали (не меньше, чем мировые!), Петр Верховенский, Раскольников, "Кроткая"... да вообще все герои Достоевского, к тому же — Белинский, Некрасов, Чернышевский, Писарев, народники, террористы, революционеры...

Как страшно: бежать, бежать от всех этих худосочных экзальтированных маньяков, от их агрессивной двухмерности, от кожаных курток и наганов и безобразной старости всего этого в нынешние дни, — убежать так, что, кажется, дальше некуда, — и вдруг обнаружить в себе ту же схему, тот же роковой код, так же проявляющийся: протест против существующего — при бессилии создать лучшее. Мир Божий; себя, от Бога данного — разеять кислотой сознания и воссоздавать потом заново не нравящееся. "То, что есть" заменять на чахоточное "то, как должно". И религия здесь — не есть ли последняя отчаянная попытка спастись из разрушенной жизни, попытка убийцы убежать в другую страну под видом "умирания для этого мира", "желания пострадать за правду" и тому подобное; превратив в пустыню все между началом и концом — утвердиться в начале и конце — в чем же еще?

Нигилизм — существование русского духа, в чем бы он ни выражался: нигилизм ли примитивный — буйство пьяного мужика; нигилизм социальный — революция; нигилизм религиозный — отрицание всего мира, будь то эсхатологическое отрицание во имя грядущего Царства Божия или спиритуалистическое отрицание во имя Духа Святого. "Бог" для нигилиста — путь отрицания: все положительное — вынесено за пределы мира.

Некий общий порок объединяет русскую религиозность, русскую склонность к неучтенному философствованию о жизни (не философия как наука, а философия именно жизни: вот этой, моей жизни; и жизнь по этой философии: широкий диапазон от воскрешения до истребления) и русскую революционность, связывая бессилие благих намерений с насилием злых последствий.

Протест против фальши "официальной" церковности — антицерковность — богорочество — воинственный атеизм.

Протест против фальши "официальной" государственности — борьба за социальную справедливость — антисоциальность — тирания.

Протест против фальши обывательской жизни, мещанского "буржуазного" уклада — бунт личности против общества — "эпатирование буржуа" — истребление буржуа — узаконенное насилие...

Чтобы не запутаться в этой двойственности, необходимо ввести неизменные понятия, построить относительно них систему координат и определить границы полученного пространства.

Центральной точкой будет Я (не "личность" как полнота всего, а самосознание субъекта).

Ниже Я будет то, что должно преодолеть, что само Я считает низшим.

Выше — то, к чему должно стремиться, что оно считает высшим. Отношение Я к низшему: от отождествления себя с ним — до неприятия его. Первое: от само-

уничужения — до сладостраствования в низшем (Федор Павлович Карамазов)\*; второе: от насильственного подавления в себе низшего, аскетического морализма (Раскольников) — до внутреннего преобразования, христианизации личности (Раскольников в эпизоде).

Отношение Я в высшему: от смирения — до отождествления себя с высшим, самообожествления. Последнее имеет обратную сторону: самоуничужение — вследствие невозможности осуществить свои претензии и нежелания смириться перед высшим (самоубийство Ставрогина).

Такова вертикальная шкала.

Горизонталью будет расстояние от Я до "иного", шкала всех возможных отношений Я к "иному".

Определение понятия "иное":

Это не что-то определенное, у каждого — свое (подобно "высшему" и "низшему"). Если представить непосредственное отношение личности и мира, личность будет — как открытая, ничем не защищенная рана. На поверхности неизбежно должна образоваться короста, защитный, посредствующий слой: эту роль выполняет сознание. Сознание защищает, но оно же притупляет ощущение мира. Корка, в процессе эволюции личности, время от времени сдирается с мучениями, но и с радостью освобождения, прозрения — пока не нарастает новая. Способности к обновлению, видимо, не беспредельны. Нарастает некая конечная кора — наиболее совершенная, гибкая, более других способная защищать и в то же время не слишком мешать чувствованию мира. Такая конечная система — наиболее полная из возможных для сознания образов мира. Она и переживается чаще всего как полный образ мира, абсолютная истина о мире, выстраданная всей жизнью. Если бы так было действительно — за пределами этого образа ничего бы не осталось, не было бы иного по отношению к нему.

Итак "иное" — это то, что по какой-то причине осталось неохваченным сознанием.

... "Иное" — враг для сознания, претендующего на понимание всего. У такого сознания не должно быть "иного", и если оно вдруг прорывается где-то — то либо отрицается, либо осмысливается как "свое", либо становится объектом агрессии. В частности, для морализирующей рефлексии, для мучений в поисках жизни, того, что есть жизнь, "иным" будет сама жизнь, жизнь как есть, существующая сама по себе... Отношение личности к ее "иному" (как и к ее "Высшему" и "Низшему") есть один из основных показателей ее собственного нравственного достоинства. Шкала возможных отношений к "иному": от любви к нему — до убийства.

Убийство занимало русскую литературу XIX века, убийство наполняло русскую историю XX века. Развитие темы убийства можно рассматривать как разворачивание драмы Я и "иного": от равнодушия — к ненависти и от ненависти — к любви. (Убийство мерзкого Федора Павловича Карамазова; убийство ничтожной и вредной старухи-процентщицы, а заодно и ее безобидной, безвинной сестры в "Преступлении и наказании"; убийство любимой Настасьи Филипповны в "Идиоте"; убийство Шатова ради целей подпольной группы — в "Бесах".)

Единичные политические убийства, убийство царя.

---

\* Примеры именно из Достоевского здесь особенно удобны, поскольку его герои являются олицетворением отдельных сторон личности и в этой роли очерчены яснее, чем у других писателей.

Убийство, признанное необходимым, становящееся подвигом — в войне и революции.

Убийство, ставшее повседневностью, буднями государства, где сам факт убийства потерял свой прежний, исключительный смысл.

Убийство одряхлевшее, сильно сократившееся, но не желающее признать свою неправоту ни в настоящем, ни в прошлом — с одной стороны, — и стремление восстановить понятие "убийство" в его прежнем значении, как символ исключительного, недозволенного, преступного, — с другой, — в нынешнее время)...

В рассматриваемом пространстве, в отношениях Я к "высшему" и "иному", среди множества возможных решений выделяются два противоположных одно другому:

1. Смирненное совершенствование и любовь к ближнему.

2. Самообожествление (отрицание высшего) и агрессивность к ближнему (отрицание иного).

Оба решения достаточно полно представлены в русском (как и в любом другом) народе: первое — в образе русских святых, второе — в образе русских тиранов, воителей, фанатиков идеи. И этот второй образ есть закономерное продолжение упомянутого выше морализирующего эгоцентризма. В осуществлении характерной для такого типа тенденции отрицания иного первое выразилось в уничтожении той жизни, которая была — во имя "лучшей жизни", которая должна быть; второе — в уничтожении идейных и политических противников, а с ними — и всех вообще инакомыслящих.

Отрицание иного и сведение до себя высшего — суть описанного типа, то главное, что импонирует многим. Все остальное: философское учение, политическая программа, идеология и т.д. — второстепенные, вспомогательные обстоятельства. Какую бы идеологию не принял на вооружение этот тип, ее главной целью всегда будет: обоснование нарушения запретов, касающихся "иного" и "высшего", иными словами — оправдание преступления двух основных христианских заповедей: "возлюби Господа Бога твоего" и "возлюби ближнего твоего".

Личность определяется отношениями ее к высшему и к иному. И по этим отношениям рассматриваемый тип можно назвать антихристианским и даже антихристовым. Именно этот тип оказывается самым активным и самым властным среди других русских типов, вследствие чего и вышел на поверхность, накладывая свой отпечаток на облик всего народа...

Здесь Федор Степанович оборвал свое писание и задумался над тем, что великим представителем этого типа является, по существу, Лев Толстой. И стали вспоминаться Федору Степановичу эпизоды "Отрочества", "Юности", "Войны и мира", "Крейцеровой сонаты", строки "Исповеди", подтверждающие его уверенность. Просидев в неподвижности длительное время, он снова начал писать:

— Неизбежная двойственность эгоцентризма, противоречие между любовью ко всем и себе за то, что все и я такие хорошие, — и агрессивность ко всем и себе за то, что все и я такие плохие, — в развившемся позднем учении Толстого становится противоречием между его внешностью и духом: внешняя программа ненасилия вплоть до непротивления злу основывается на задавленном Я и убитом ближнем: вместо них — идеальный образ Я и такие же нереальные ближние. Грех, не

изжитый в себе, а лишь внешне, насильственно задавливаемый в низшем, плотском, — не перестает от этого существовать, а вытесняется в сферу высшую, духовную, всеобщую — как требование такого же насилия над всеми — уже духовно, истинно обосновываемое. Если грех не изжит в себе, то осуществление безгрешного, блаженного царства всеобщей справедливости и благоденствия возможно лишь в сфере мечтаний: не в подлинной духовности, а в мечтательной, реализация которой в жизни может быть только насильственной. Такова сущность всех утопий — будь они по своей внешности даже гуманнее Самого Христа.

Утопии идут от стремления найти такую сферу, в которой возможно единомыслие, в которой исчезает стенка между Я и "иным". Но до тех пор, пока "иное" не станет — вместо желаемого образа ближнего — действительно иным, живой самостоятельной личностью, — всякое разрушение стенки между Я и ближним будет насилием, всякое единомыслие будет искусственным, фальшивым. Толстому легче оказалось пересоздать по-своему мир, чем принять хоть частичку его как она есть. И сколько же разрушено во имя неопровержимо чувствуемой истинности своего Я!

Я как данность — не понято, осуждено, отвергнуто, заменено Я, воссозданным моралистической рефлексией. А оно только и может быть понято, утверждено и принято как непогрешимое и абсолютное (карикатура на "смерть самости" и "второе рождение").

Жизнь как данность — не вмещена, осуждена, отвергнута ради от себя воссозданной жизни, которую только и способно Я понять, восславить и принять. (Карикатура на Преображение.)

Отвергнут всякий авторитет вообще — как внешнее, заведомо ложное — во имя внутреннего, заведомо истинного Я. (Вместо "царство Божие внутри нас" — "царство Божие — мое царство".)

Нарушена духовная свобода. Подменена моралистическим насилием. (Карикатура на "будьте совершенны как Отец ваш Небесный".)

Отсюда и отменя творчество. Вместо него — псевдофилософские, псевдорелигиозные моралистические работы, из которых "иное" изгнано вовсе: остается одно Я.

Разумеется, отменены государство и все общественные институты — как реально существующие формы жизни людей, в сфере моральной недолжные. Вместо этого принцип: все должно жить так, как требует (моя) истина.

Так же обстоит и с религией. Если верить в истинность христианской религии — у Я оказывается конкурент и противник. Оно должно признать тогда Бога не только в себе, но и над собой. Если не верить вообще — Я оказывается одиноким, подавленным превосходящим "иным". И остается единственный выход: верить в истинность Я: то, что Я кажется истиной — и есть истинная религия. Все же остальное — придумал кто-то из корыстных соображений. На эгоцентрическую природу толстовского "христианства" указывает заглавие одной из важнейших его работ: "Царство Божие **внутри нас** или христианство не как мистическое учение, а как новое жизнепонимание" (разрядка Федора Степановича). А "Критика догматического богословия" — яркий пример того, как ограниченное рассудком сознание и агрессивное Я отрицают то, что невозможно понять, не отказавшись от ограниченности рассудком и не отречьшись от агрессивности Я.

Отрицается церковь, отрицается значение иерархии как конкурирующего с Я

авторитета. (Если бы Я имело в себе истинную жизнь, то не было бы так зависимо от того, что кто-то имеет моральную власть, большую, чем оно.) Отрицается Церковь и как мистическое единство верующих во Христе (в любви, в истине), ибо сфера мистического (духовная реальность) — такое же "иное" для Я, как и жизненная реальность. И эту сферу Я пересоздает от себя.

Как вытеснялась Наташа Ростова — вплоть до полного уничтожения в "Крейцеровой сонате", — чтобы на ее место поставить некую безответную "женщину" из статей о половом вопросе, — так вытеснялся и Христос — вплоть до полного уничтожения в "Критике догматического богословия", — чтобы на Его место поставить другого "Христа": учителя, послушного своему ученику.

Ограничившись собственным рассудком и тем самым закрыв от себя сферу мистического, Толстой обнаруживает полную слепоту, нечувствие и непонимание мистических учений, будь то мистика в церковном представлении и каноне "официальной" церкви, или же совсем не "официальное", свободное от "корыстных соображений" почти современное ему учение Хомякова о Церкви как мистическом единстве верующих в любви. Рассуждение его таково: Церковь основывается на непогрешимости иерархии. Иерархия поддерживает церковь из корыстных интересов. Церковь же как мистическое единство верующих в любви — это общее понятие и пустое место.

"...единения в любви, во-первых, никогда не было, а во-вторых, это единение в любви, по самому существу своему, выразить и определить ничего не может" (Критика догматического богословия).

То есть земная, зримая церковь отрицается потому, что она по-земному несовершенна, не обладает небесным совершенством. А небесная, незримая церковь отвергается потому, что она — не земная, не зримая. Все это нужно, чтобы отвергнуть Церковь вообще — для того же беспрепятственного утверждения Я.

Наконец, Толстой отрицает и собственную семью — по причине того, что она не соответствовала его идеям. Бегство его из дома было вызвано, очевидно, стремлением "убежать от всего", аналогичным высказанному им юношескому стремлению "сию же минуту сделаться другим человеком и начать жить иначе". Это стремление убежать из испорченной жизни в жизнь новую, свежую, нетронутую. Но что же портит жизнь как не собственное сознание, которому жизнь всегда кажется "недолжной"? Идеи собственного сознания делают жизнь невыносимой. Бегство Толстого было выражением безотчетного стремления убежать от своего сознания, распространившегося уже на весь мир; или, что то же, распространить свое сознание еще дальше, вплоть до буквального подчинения ему жизни — что привело к конфликту с теми, с кем связана была его жизнь. В этом побеге и застала его смерть...

Толстой таким образом отрицал жизнь как данность, Я как данность, духовную свободу, творчество, всякий авторитет, государство, религию, церковь и собственную семью. Иными словами, он отрицал все данное не от него и всякий авторитет и насилие над собой — не исключая и собственного учения. Получается последовательно отрицательная, сплошь негативная картина мира, всемирная система, которая противопоставлена всему сущему и есть его противоположность. Я, противоположное "иному", воссоздавалось теперь в целом своем мире, противоположном миру сущему. Вот окончательное осуществление Николеньки Иртыньева, характерного русского типа.

Отвергнуть непостижимое сущее, заменить его своим сознательным образом мира — и революционное: "переделать мир" — одной природы. Следующая после Николеньки Иртеньева ступень — Раскольников. А дальше — бесы и бесенята, которые вселяются в свиней — и те гибнут целыми стадами...

Толстой — хотел он того или нет — дал санкцию на разрушительное для мира самоутверждение под видом общечеловеческого справедливого дела; разгул произвола во имя спасения человечества.

.....  
Мечтательность, антиреальность программы переделывания мира вылилась в трагический разрыв между идеологией и жизнью. Это своего рода болезнь русского духа... любовь к самоутверждению в ином в той форме, в которой оно почти неотличимо от самоотвержения. Жертвенная смерть во имя сверхличного и убийство во имя сверхличного, пусть это будет "великая цель" или "светлое будущее"... Для описанного типа сознания "иное" — своя идея, но не другая личность, обладающая самостоятельным бытием и свободной волей, над которой запрещено насилие! Вот тут-то и убийство — как бы не убийство...

Но тут Федор Степанович как бы вышел в своих размышлениях за пределы своего первоначального замысла. Мысль его потекла свободными путями, невольно приближаясь к излюбленным современным ситуациям и проблемам, к текущим дням, текущему столетию.

— Одни ищут счастья в этой жизни, другие — вне этой — в иной жизни, третьи — в новой, "лучшей" жизни.

Правы ли были наши предшественники? Лучшим ли образом они поступили? Преодолев их ошибки, мы начали ошибаться на свой лад и стоим перед тем же, и для нас оно не более разрешимо, чем было для них.

...Русь мятежная, преступная... Русь святая... Я хочу быть хорошим и бороться с преступным, и бьюсь с ним... Но сам я — ужасный. И каждый удар "по ним" — и мне причиняет боль. И она — от них. О Господи, как слепа и одержима... А я — не могу ее не любить. Мы — как бы в разных временах: когда она есть — меня еще нет, когда я есть — она уже умерла. И любовь к ней только причиняет мне боль.

...Вот, наверное, почему надо возлюбить врагов: потому что все люди — собратья по несчастью. Несчастье это — лежит далеко за всеми спорами и разделениями. Им — несчастны все, и безразлично, в чем оно выражается каждый раз: в мелочных ли муках самолюбия или в томлении духа, в кухонных дрызгах — или в фантастических спорах разных вер, в некрасоте самодовольного счастья — или в эфемерности мечтаний о счастье. Кто на что способен, кому что дано, и нельзя по этому судить, нельзя сравнить по величине бесконечности — а такова каждая личность. И в каждой — нетленная ценность. Что мне до того, что сами они этого не знают за собой?

В каждой чужой трагедии я узнаю свою, личную катастрофу. И она, личная — становится как бы обобщением всех трагедий в мире... Что "я", что "человечество" — все в общем капкане. И тут — безразлично: посвящать ли жизнь свою миру — или работать внутри себя.

Пытаться убежать от страдания — как бегать по кругу. Когда изживается собственная трагедия — душа начинает болеть другими. Страдание надо принять в свой состав, тогда только с ним можно что-то сделать. Тогда можно превратить его в любовь. Ведь и то и другое — стороны одного. Может быть, это и есть та работа,



для которой человек рождается в этот мир: претворять страдание в любовь, не давая ему разрешиться во вражде? То, что я понимаю для других — надо сделать с собой — и тогда... тогда не останется этой неудовлетворенности другими, этой претензии что-то требовать...

Что воевать? Искать? А просто примириться и заснуть. Хоть на сегодня — пусть будет примирение.

Баюкать себя словами — стихотвореньем мнимым, мнимым завершеньем. Воинственно классифицирующий рассудок — меч для непроясненных мыслей.

Воинственное творчество — резец для лишних ложных слов.

Воинственная личность — охотник за прозрениями —

моментами видения невидимого, неведомого...

К чему сейчас воинственность, к чему — победа?

Хочу быть побежденным, потерять железо.

Отдать сознание — оружие гордого упорства,  
отдать приметливое, разборчивое бодрствование,  
хочу быть унесенным в сон и примирение.

Пусть все уносит, и меня уносит...

Туда — где, знаю, будет встреча...

О которой не узнаю, не запомню — нечем.

Которая... и не сегодня и еще не завтра; не там, но и уже  
не здесь, ни до, ни после...

## 6

...Пока он писал — время шло, и когда кончил — ушло уже далеко; он его упустил, свое время, и чувствовал себя потерянным, беспомощно оглядываясь: где я нахожусь?

Он посмотрел в окно: старушки в праздничных белых платочках возвращались из церкви с узелками в руках: наступила Пасха. — И календарь обогнал меня!.. На дворе расшумелись дети. Пахло жареной картошкой на весь дом. — Все-таки, где же я?

Пытаясь отыскать себя по старым следам, он начал ворошить свои записи, начиная с осени, пока не опустел ящик стола. Они не помогли. — Что же мне делать с вами, мои дорогие уродцы? — а они, казалось, молча стоят и смотрят лицами в разные стороны, будто не зная ни Федора Степановича, ни друг друга...

Оставив их неубранными, он прилег на диван и стал листать книжку, чтобы найти когда-то бросившиеся ему в глаза и потом забытые слова. Это были стихи Мандельштама. Когда он их нашел, то уже вспомнил сам и, читая заново, повторял вспоминаясь в унисон:

О глиняная жизнь! О умиранье века!

Боюсь, лишь тот поймет тебя,

В ком беспомощная улыбка человека,

Который потерял себя.

Ему вторило Евангелие, заложенное им когда-то как раз в том месте: "Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потерял ее; а кто потеряет душу свою ради Меня, тот обретет ее".

Время никуда не ушло. Уходил только Федор Степанович. Слово сейчас открыв глаза, увидел он знакомые предметы; словно выпав из игры мировых сил (как ему казалось) — остался один на один вот с этим

подоконником, с деревом за окном. Кисточка для клея, ножницы, фанерный ящик стола — все эти милые предметы терпеливо ждали его, пока он, наконец, их увидит. — Вот мои пальцы — их можно пощупать (раньше и в голову не приходило: ощупать себя. Удивление какое: это я!)...

И все так же жаловалась на судьбу соседка на кухне, отскребая сковородку. И покраснела потом, тронутая подарком Федора Степановича — розовой кофтой ко дню рождения, прикладывая ее много раз к плечам вымытыми для этого руками. Муж ее, пьяненький, подмигивал доверительно и который уже раз заносил руку с молотком, чтобы подбить расползшийся башмак, зажатый кривыми коленками. Сытая кошка, раскидав рыбки кости по полу, выкусывала блох и умывалась. Когда же хозяин уронил молоток, вскочила, прижала уши, мяукнула и понеслась, задрвав хвост, по коридору...

Он вернулся в комнату, оглядел раскиданные, как при переезде, бумаги и книги и вдруг понял: кончилось! И сложил тогда все обратно в ящик, сделав все-таки последнюю запись:

"Вот и кончилось... Правда, стало привычным и полюбили то, что жизнь похожа на роман с бесконечными продолжениями. Но все вчерашнее стало вдруг прорастать быльем. И сегодняшний день, связанный еще с тем, начинает уходить куда-то, — я отделяюсь от него и скоро совсем потеряю из виду. Должны быть какие-то вешки: с Рождества осталось на доннышке немного вина. Допью в ее честь. Вернее — уже в память. И отпраздную Пасху... Нет, нельзя отдавать памяти все, что было. Надо оставить то навсегда при себе и работать над ним, улучшая день ото дня. Необратимость прошлого — это иллюзия, следствие внутренней лени, — я же этому не поддамся.

Ведь как действует рок?

Я творю все новую и новую жизнь — "лучше прежней" — в утешение об утраченной прошедшей. Прошлое блекнет в сиянии этого дня. Так из момента в момент, затмевая прошедшее, продвигаюсь по восходящей этого сияния... Внезапно срывается нарезка: ничего нового не сотворить, ничего старого не изменить. Падает напряжение воли в чувстве безнадежности и бесполезности, — и прежнее, уже созданное, приходит, уводит в плен. Сколько уж этого прежнего — сброшенных оболочек — громоздится позади! Порваны все нити с прошлым — остались руины, то, в чем уже ничего нельзя изменить. Таким оно осталось навсегда, застыло, потеряло живую гибкость, податливость: с ним не сговоришься, не избавишься от него — вот он, кошмар!

Застывшее, неумолимое, неизменяемое прошлое как бы по инерции распространяется на гибкое живое настоящее. Начертания прошлого роковым образом совпадают с непрояснившимися еще вполне очертаниями сегодняшней жизни, замыкая в безвыходный круг то, что, казалось, могло бы разворачиваться свободно и бесконечно. Это и есть рок.

Когда-то бывшее требует жертвы сейчас...

Но в настоящем жизнь ответчива и ласкова, если положиться на нее. Линия жизни жестка, определена и неумолима в годах; упруга и двойственно-переменчива в месяцах; текуча и многоструйна в днях; а в этом, сегодняшнем моменте — мягка, податлива и благодарна для трудящихся рук. И чтобы освободиться от призрачной власти прошлого и опять восстановить живую связь с настоящим, деятельное соприкосновение со строительным материалом жизни — текущим моментом,

я принесу эту жертву без ропота: откажусь от нее и перестану ее ждать.

.....  
Слава тебе, Господи, и за то, что дается, и за то, что отнимается! Ведь отдаваемый опустевший (может, оттого и такой дорогой?) сосуд — возвращается наполненным. А мне остается — оплакать пустую медь и радостно встретить новые дары.

В добром и открытом, маленьком этом мире — может ли что-нибудь пропасть безвозвратно? В нем мне оставлена вера в то, что у нас здесь никто, никогда и ничего не крадет. Так и плачешь глазами, а горлом поешь благодарные гимны...

Как описать этот переход, когда до него — еще я, а после — уже что-то другое, и память не переходит эту границу, и сознание не может сравнить "до" и "после", потому что становится другим?

Умирает страдающий и воскресает любящий, и это есть одно. То, что страдает, умирает, и оказывается, что оно и было не-любовью и именно поэтому было страданием. Я его отдаю, теряю и с ним перестаю быть сам.

Незаметна и невольная хватка, которой удерживаешь себя — в себе. А нужна ли она? Но трудно отпустить: как утопающему — ослабить свою судорогу. А отпустить, и...

...И тяжелые счеты со вчерашним, не изжитым еще днем стали легкою памятью...

Звякнет открытое окно и ветка сирени хлестнет по сонному лицу... звук? отражение? запах? блик? — нечаянно заденет нерв — и в память вонзается копьё — и тотчас отвечает...

Что не болит — не чувствует себя,

Что не дрожит, боясь прикосновенья — то безответно...

Память — есть плоть живой нетленной души. Прикосновение цветущей ветки, звон окна — уколы легких копий, что ранят эту плоть.

На каждый отвечает она воспоминанием: в них превратилась боль.

И кажется, пронзят меня копьём — и я отвечу им воспоминаньем.

Пусть хлещут по лицу, под звон разбитого стекла —

и мне все так же будет непонятно:

звук? отраженьё? запах? блик?..

Память — все то, на что хватило любви...

.....

Как можно незаметней проходя

толкучку азиатских красочных базаров,

и вовсе притаившись — перекрестки мнений

(не принял чтоб никто за своего), — все мимо

идти, дорожкой солнечной ступая, с котомкой на плече,

которую не жалко и забыть случайно на привале... Там, внизу,

осталась лодка на дорожке лунной, и тонкой хворостинкой

задумчивый гребет и окунает

в серебряную рябь свои сомненья,

чтобы остаться зачарованным, бездумным в круге

из ив и соловьев, бессолнечной тоски и лунных сумасбродств...

Все остальное можно вспомнить: как собаки лаяли в деревне далеко.

Как тропинка, по которой кто-то мог прийти, спускалась в воду.

Кто-то там и шел, но не к нему.  
И жить стало бессмысленно. И лодка стала в омут. И стихи:  
как вместо соловьев запели петухи...  
И что-то брезжит. И о чем-то бредит  
трясущаяся немощь, удавленник бескрылый,  
рукой преступной превращая в прах все-все,  
к чему ни прикоснется,  
плоды уродцев без спины  
и призраков для душетленных игр. Жеманно  
взывая к Господу в надежде,  
что Ангел целиком восхитит то,  
что скармливает бесам по частям...

А мысль дневная пилит надвое предметы  
с присущей ей тупую остротой...  
...одним рядком понятий  
так просто посрамлять другой!  
Один рядок — пехота: только ходит.  
Другой — только летает. Третий — только едет.  
Друг другу то бескрылость, то безноготь  
в вину вменяют. Небо надо всеми  
смеется синей пустотой...

Когда же снова ночь придет и спеленает разум?  
.....  
Пристало ли в мире этом искать просветы того?  
Чужая душа — потемки. Откуда же этот свет?  
Так арестант идет по кругу. Идет вперед — а попадает рядом.  
Не разомкнуть его, пока не кончен срок...

    Душа привязана к кресту —  
    но ходит близ него кругами:  
    отходит дерзко на версту,  
    качается на подвесном мосту  
    и распинается своими же гвоздями...

Когда ж, дорожкой солнечной ступая,  
приду к дверям обещанного рая?  
    Разве во сне, который как-то снился:  
    ушло куда-то время и пространство,  
    и как болезнь пришла разрозненность предметов.  
Неразличимы стали "там" и "здесь",  
"давно" и "завтра", "много", "немало",  
"я" и "он"...

Когда-то, с каждым уходящим, душа пустела. Пустота эта  
молила, жаждала, звала, —

и заставляла собирать рассеянные драгоценные частицы. —  
И вот уже — полна, богата всеми.  
Все здесь — никто не потерялся.

К., Л., М., Н. ... — соцветие имен, давно осыпавшееся —  
цветет короной вокруг единственной, в которой узнаю  
царицу всех своих видений.

Нашлись потерянные предки — и узнают, признали, приглашают  
к себе. В своем роду старинном  
я чувствую себя как дома — что за чудо! —  
не потеряв ни дедова ворчанья,  
ни колыбельной, что мне мама в детстве пела...  
Привязчивая кошка возле ног с любовью вьется —  
не кричит уже от родов  
и не зовет утопленных котят, навеки ими обладая...

И участковый, что угрожал арестом,  
оставив грех в аду, как грязное белье,  
вдруг оказался птичкой-канарейкой  
и пенъем славит новое житье!  
Из нескольких тиранов вышла рыба — и весело сверкает чешуей.  
Все дышит, чувствует, живет — и вечной жизнью  
пруды, леса, сады Эдема полны до краев...

Когда-то, изучая гармонию по Моцарту  
и восхищаясь стройным зданием из звуков, —  
мог ли предположить, что скоро  
купаться будем вместе в волнах самой Гармонии, с собою пригласив  
Учительницу музыки, что по рукам линейкой била  
и в бешенстве кричала: грязная педаль!

И по холмам идей, открывшихся глазам,  
скользим как лыжники и ахаем, вдруг оказавшись на вершине,  
среди деревьев — думали ль, что вырастут,  
когда бросали косточки в пустыне?

Летаем в солнечной пыли  
и поднимаем брызги-искры, в каждой из которых  
могу узнать забытые моменты вдохновений,  
что навещали в пыльной комнатухе...

И снова толчя базаров...

Душа, придушенная в детстве, хотела петь, но не могла  
связать и пары слов без дергания шеей.  
И песни все вернулись внутрь, ушли под землю,

без звуков и без слов  
охватывая душу гармонией нездешней... А голос —  
мычит все то же: как хотелось петь  
и как душили... А память —  
расскажет, вздрагивая от укулов, пеняя на забывчивость,  
о годе, которым одарил ее Господь...

Пристало ли в мире этом —  
искать просвета того?

Чужая душа — потемки.

Откуда же этот свет?

Как в ней могло все поместиться?

Откуда этим сладким ветром веет?

В ней овцы блеют и щебечут птицы.

В ней камни тают и земля светлеет.

И тяжкий, пыльный путь стал солнечной дорожкой,  
которая ведет куда — не знаю, —  
наверное, к обещанному раю...

## ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

### 1

Утомленный однообразием своей жизни, Федор Степанович решил сменить обстановку — тут и отпуск подоспел — он сел в поезд дальнего следования, до устали смотрел в окно, наслаждаясь наглядным в нем процессом перемены (каким неожиданным будет завтра пробуждение!) — да и задремал, — покойный для рассказчика момент!

В Москве, выбирая маршрут, Федор Степанович после долгих сомнений остановился на городке Медвежья гора, расположенном в самой северной точке Онежского озера. От названия веяло дремучим лесом и непролазной глушью, что и нужно было Федору Степановичу. Он пошел по безлюдной центральной улице в сторону озера... На ветру трепался тот же лозунг, что виден был из окна Федора Степановича в Москве, и серебряной краски Ленин тянул руку из скверика. Пробродив с полчаса, он пришел на местный базар, где несколько старух торговали белесыми парниковыми огурцами. В другом конце базара гудела толпа — человек двадцать мужиков. Он подошел просто так — поговорить, но они были слишком пьяны и разговор не клеился. Хромой и красный, который называл себя "грузчиком Васей", с надрывом бил себя в грудь и все старался куда-то увести Федора Степановича.

— Пойдем за мной! Надо, понимаешь? — подмигивал он и, на что-то намекая, кивал в одном направлении, туда же подталкивая и Федора Степановича. Когда же тот дал себя, наконец, уговорить, от толпы отделился еще один, и несмотря на то, что первый стал отгонять его палкой, увязался за ними. Его все звали "боцманом". Верхняя губа его была столь чудовищно увеличена усами, что, разговаривая с ним, Федор Степанович сам поневоле начинал давиться. Он же разъяснил ему (намеками, прямо не называя), что надо офохмелиться, — и все трое поднялись по крутому крылечку в промтоварный магазин. Тут понятно стало, зачем грузчик Вася отгонял того палкой, потому что у парфюмерного прилавка они затеяли, видимо, давниш-

ний спор, какой одеколон лучше: "Шипр" или "Золотая осень". Один убеждал Федора Степановича: "Бери "Шипр" — "Шипр крепче", другой: "Золотую осень" бери!", и он, искусленный в разрешении противоречий, взял по флакончику того и другого: изумрудного цвета "Шипр" и цвета жухлого листа "Золотую осень", после чего все трое, радуясь маскируя деловитостью, вернулись к остальным. Те, радуясь пополнению, окружили их и повытаскивали из карманов рабочих брюк разноцветные флакончики, и они весело засверкали на ярком солнце. Трогательные улыбки раздвигали задубелые губы и доносились робкие оправдания: "Не могут, суки, водку завезти, — на той неделе завоз был — да в час все разобрали. Ты пей, не бойся, ничего не будет, — водой запивай!" — и налили ему первому, а дальше — согласно непонятной ему иерархии, выкликающей из толпы избранные имена.

Сердечно распроцавшись и получив приглашения сразу в несколько домов, Федор Степанович, пахнущий парикмахерской, вернулся на вокзал, взял свои вещи и двинулся вдоль берега озера. К концу дня он с трудом нашел место для палатки среди сырых замшелых камней, кое-как растянул ее между деревьями и стал устраивать подушку из мягких вещей. Затем растянулся для пробы поверх приготовленной постели и, испытывая приятную ломоту во всем теле, зажмурил глаза, совершенно счастливый. Столкновение двух запахов: кирзовых сапог и парфюмерии — напомнило и дало новый поворот теме соотношения мужского и женского начала. С недоумением вспоминал он о своей любви, она казалась ему теперь до смешного нелепой, и наконец-то можно было констатировать, что она "схлынула как наваждение".

Со скептическим выражением лица, неизвестно кому адресованным, он прожевал горбушку хлеба, достал кружку и, гремя сапогами по перекатывающимся камням, спустился к озеру.

Белая ночь и чистота водного простора: от шумного прибоя до пустого горизонта — раскрыли, разомкнули душу. Он зачерпывал, звякая кружкой о камень, и пил, пил эту холодную воду, не отрывая глаз от бледного прозрачно-белого северного неба; за спиной шумели мрачные деревья, краем глаза улавливал колышание тяжелых лап ели на мысу, от которого к нему вела полоса блестящих от набегов волн камней. Брызги иногда попадали на лицо, и он вздрагивал, как от прикосновения. Станный свет белой ночи, казалось, делал его прозрачным для сквозного ветра: ветер продувал душу насквозь, и она не противилась ему...

## 2

Только утром заметил он, что вокруг все густо покрыто цветущим ландышем. Непривычно большие и правильной формы — как парафиновые чашечки — плескались росой и ласкали ладони холодной лаской. Граница их царства простиралась до последнего ряда деревьев, а дальше — гудел над шиповником шмель и белели уже высушенные солнцем прибрежные камни — дым от костра колебал на них тени ветвей.

Федор Степанович вприпрыжку, босиком сбегал по камням к затихшей воде, хлопая по дороге слепней на своем белом теле. Они падали в воду, быстро-быстро сучили лапками и не намочали. Нырнул и Федор Степанович и поплыл по жаркой солнечной дорожке в ледяной воде. Солнце и брызги ослепили, берег потемнел в глазах, огонь костра был почти незаметен. Кувыркнувшись напоследок, он вылез на берег и попрыгал, хромая, с камня на камень, чтобы вытрясти воду из ушей, оставив после себя темные пятна на тяжелых камнях.

Каша булькала в помятом котелке. Он стал солить — да уронил крышку в золу, и она обросла сразу серым пухом, но все равно — пора было снимать, и, поставив котелок между пяток, он, обжигая и дуя, стал есть понемножку, слизывая с ложки крупинки и запивая из кружки нерассчитанно-крепким чаем. Еще полчаса ушло, чтобы сложить все вещи. С неохотой оставляя это уже обжитое место, он двинулся в путь.

— Мир, — такой, может быть, и есть он для мучающегося умника — вязкий и тяжелый, — но какой же он благодатный для лежащего на животе в траве!

Федор Степанович лежал на животе в траве и пытался испытать ту благодать, о которой он сейчас подумал, — но гуденье комара неприятно щекотало слух, кто-то полз по ноге, и острые камни впивались в грудь и локти. Травы тоже не было — был мох. Но ему непременно нужна была трава: как тогда, на подмосковной лужайке, где он впервые прикоснулся к чужому лицу. Он хотел теперь оказаться на той лужайке до всего (или после всего, что казалось одним и тем же: последнее время у него появилось такое чувство, будто середина его жизни выпала и осталась одно детство и чем-то похожее на него будущее).

— Для ощущения полноты жизни социальное вовсе не необходимое. Полноту создают: природное и творящее его духовное. Социальное выпадает из этой полноты как лишнее.

Все-таки лес вызвал в нем некоторое томление. Оно выражалось в воспоминании о недавней прогулке по арбатским переулочкам. В том, что он этими же глазами смотрел и сейчас, желая найти вокруг себя что-то милое, родное, ожидая, что вот сейчас установится привычный контакт. Казалось, он и устанавливался: камни картинно громоздились, покрытые разноцветными мхами, острые верхушки елей ровно окаймляли берег, архитектурно выстраивались ярусами на горе стволы, и корни поваленных деревьев живописно повисали в воздухе вместе с кусками вырванной почвы... Однако контакт был кажущимся: все это не имело никакого отношения к Федору Степановичу, его восприятию и его представлениям, какое, например, имел город. Все это было бесконечно чужим, бесконечно далеким для антропоморфического взгляда. Вместе с тем ощущалась и некая непосредственная связь, затрагивавшая в нем что-то, в чем он не мог дать себе отчета... Лес мрачен. Между ним и Федором Степановичем была непроходимая пропасть... Но что-то влекло к нему. Лес притягивал что-то в Федоре Степановиче...

— Значимость природы — особого рода, нечеловеческого языка. Напрасно истолковывать изгибы рек, неслучайное расположение деревьев (особенно заметное на опушках и вдоль дорог), рельеф пригорков и низин, смысл которого может сделать более доходчивым тропинка, обрисовывающая его...

Лес — всегда мрачен в смысле несообщительности человеку. Он кажется знакомым, но он — мнимо-знаком... (он не мог поймать суть, она ускользала от мысли).

— Ну, если это непознаваемо, если я никогда не пойму суть леса, — я во всяком случае должен встать в верное отношение к лесу... я чувствую, это будет так... (он что-то пытался сделать и не знал, что...) — и вдруг его как будто осенило: — Лес — это мой, выражаясь точно, брат. Это, в отличие от города, такое же, как и я, творение Божие (в отличие от творения человеческого). И именно это простое различие и лежало в основе всей моей иерархии ценностей, и я всегда ощущал его, не сознавая. Божьи творения для человека суть безотносительная реальность. Чело-



веческие творения (мир технический, социальный, культурный и т.д.) относятся уже к другой категории. Мир Божий можно расположить по степени близости ко мне — и все ступени оказываются заполненными, каждая из них — есть мой брат по творению и в то же время является и какой-то частью меня:

1. Земля и весь "неодушевленный" мир. 2. Флора. 3. Фауна. 4. Человек, а далее — 5. Ближний. 6. Я. 7. Я — преображенное?

...Во всем — единая душа: в растениях — скованная сном, в животных — пробудившаяся, но не осознавшая себя; в человеке — осознавшая себя, но не освобожденная... И каждый из этих пластов находит отклик в личности. Лес вызывает безотчетное движение в самой глубине души, вводит в оцепенение, в самый вечно повторяющийся кругооборот года. Душа узнает свою непробужденность в недвижности стволов и накатывающем волнами шуме листвы. Животные — вызывают отклик в бессознательности души. В них узнает она свой чувственный облик в его изначальном, досознательном виде. Очаровательные игры котят и щенков пробуждают в ней тоску по утраченному раю. Бессловесная выразительность животных подобна человеческим чувствам, которые никогда не могут быть переданы вполне, обречены всегда оставаться непонятыми, невыраженными... Если в человеческих творениях душа узнает свой грех и свою праведность, свои потребности и свое должествование, — то в Божьих — свою первозданность, то, что есть в ней.

В богочеловеческих творениях — Познании, Искусстве, Религии — душа предчувствует свой будущий, преображенный образ. В Церкви разомкнутый человеком кругооборот природного года, превращенный им в динамическое время своей жизни — замыкается в вечность...

Ничего по существу нового человек не сотворил. Он увеличивал лишь количество и варианты. Он ничего еще не создал! Здесь, в лесу, мне очевидна суетность любого человеческого творчества. Здесь для меня очевидно, что человеку более подобает, для него нормально, правильно не стремление к созданию собственных новых творений — а любовь к творениям Божиим. Кажется, человек склонен творчеством своего заменять любовь к Божьему. В некотором роде творчество — есть следствие оскудения любви...

В этом не мной сотворенном лесу все совершенно. И только вычеркнув этот лес из себя, утратив восприятие этого совершенства, смогу я сочинить что-то свое...

Единственное творчество, которое не противоречит любви — это хвала, гимн. Но и здесь происходит ослабление любви, переход во внешнее. Известно, что несчастная любовь способствует творчеству. Художник — чаще всего личность такого типа, чья любовь к миру оказалась несчастной. Это не значит, что не было ответной любви. Это значит, что по какой-то причине нужна была именно несчастная любовь... Он не смог или не захотел ее увидеть. Но теперь я знаю, что ответная любовь — есть. Теперь у меня уже нет причины, по которой я бы стал упорствовать в своем несчастье. Я принимаю эту любовь!

Перед закатом усталый Федор Степанович набрел на плохонькую одинокую избушку. Там обляяла его злобная собачонка, потом дверь, задевая об пол, с трудом отворилась, и на пороге встал огромный косматый старик.

— Добрый день!

— День добрый... Ты кто такой?.. А как звать-то?

— Федор Степанович. А тебя?

— Кузьма Данилович. Откудова сам-то?.. Ну-ну... далеко идешь? Ну... Заходи, переночуешь... Я тут бакенщиком... дак одному — скучаю...

Федор Степанович, пригнувшись, протиснулся в ветхую избенку и скинул на пол рюкзак.

— Ишь, мешок какой! Не тяжело таскать-то? Одному не страшно? Тут медведь ходит.

— А тебе, Кузьма Данилович, не страшно?

— Мне-то привычно. Живу сам собой, вишь — огород развел, картошку. Мне и хватает. За хлебом — в деревню хожу — десять верст будет... Покойно здесь: зверь какой забредет, а люди — редко. Двадцатый год живу тут...

Кузьма Данилович подвинул Федору Степановичу сковородку с рыбой и стал заваривать чай в жестяном чайнике.

Федор Степанович начал расспрашивать и услышал в ответ все ту же, хорошо ему известную, одинаковую у каждого до подробностей, историю.

— Богато жили. Шесть коров — меньше не было, а у кого и по двенадцать. Хозяев-то у нас не было — мы, значит, как государственные были. У нас-то с Марьей Ивановой восемь коров было. Да только оженились — нас и погнали. Всю деревню раскулачили, в Сибирь услали. Три месяца ехали — а она на сносях. В дороге рожала, померла. Пока доехали, так больше половины померло... прямо с саней в снег на ходу бросали... На место доехали — тут, говорят, и стройся. А кругом — лес. Хорошо мы с братом под санями топор схоронили — у других-то все поотбирили. Обстроились помаленьку, жить стали. Да обратно тянет, домой. И стали потионьку возвращаться. Только от деревни-то нашей одни уголки остались. За два года опять обстроились, хозяйство завели. Тут опять они приходят — колхоз, говорят, будем делать. Поработал я в колхозе — да и после войны туда не вернулся. Так и не был там с тех пор. Плотником, грузчиком работал, да вот здесь бакенщиком. Доживаю теперь...

Они еще поговорили некоторое время. Федор Степанович хотел рассказать что-нибудь про себя, но заметил, что Кузьма Данилович начал позевывать и клевать носом, — видно, не привык так поздно бодрствовать.

Перед тем как укладываться, они вышли на берег, где стояла лодка. Вдалеке, по кромке горизонта, виднелось несколько островов. — Вот здесь была деревня, — показал Кузьма Данилович. Действительно, там виднелось несколько брошенных, наполовину разрушенных домов. — Туда ходили на покосы. Вон в тот лес — за грибами. На тех горах собирали ягоду. За тем вот камнем ставили сети... — Федору Степановичу стало не по себе: он не видел ни камня, ни гор, ни леса там, куда показывал старик. Его рука летала от горизонта к горизонту, и глаза блестели, отражая свет белой ночи... Они посидели немного в тишине, и Кузьма Данилович стал опять клевать носом.

— Кузьма Данилыч!

— А?

— Отвези меня завтра вон на тот остров! — и махнул рукой в сторону видневшейся вдалеке цепочки островов.

— А на что тебе?

— Хочу пожить в лесу. А ты недели через две приезжай за мной.

— Ну, дело твое. А завтра новую сетку буду ставить — подмогнешь мне.

Бакенщик ушел в дом, а Федор Степанович залез в лодку, присел на скамеечку

для любимого своего занятия: бездумно созерцать горизонт, и вслушиваться в тишину, и никаким своим движением не нарушать покоя. И в этом благостном состоянии он чувствовал некий избыток благодати, который не мог вместить в этот момент и в этот образ Федора Степановича. Он переливался через край в чувстве любви, побуждал искать нечто отвечающее ему вовне. Федор Степанович перебирал в уме известных ему людей — и ни к кому не могло отнестись это чувство, наоборот даже — с ними-то именно это чувство и создавало тягостное отношение, совершенно невыносимую ситуацию: либо ложный конфликт, либо ложное единодушие. Человеческие отношения стремятся к любви, но превращают ее либо в трагедию, либо в фарс...

Человечество разделено на два пола — человеческая душа имеет два воплощения — чтобы лучше знать себя, любить и видеть свое богоподобие. Богом установленный порядок таков, что человеческая душа может видеть собственное богоподобие не в себе, а в другом, противоположном себе воплощении; оба воплощения человеческой души связаны одно с другим любовью. Таким образом, сознание своего богоподобия достигается не в само-довольстве, а в само-отвержении. Здесь видно, что самоотверженная любовь есть не "добродетель", не какое-то человеческое качество, а естественное состояние человека, на которое указывает сама форма его существования. Таково духовное естество человека, нарушение которого, так же как и нарушение естества природного, неизбежно влечет за собой и соответствующие последствия.

Богоподобие и есть то всегда ускользающее, что любится в возлюбленном и что не замечается в самом себе. Человеку его богоподобие открывается не в нем, а на никогда не исчезающей дистанции, и это соответствует его настоящему положению.

И опять же: разделение человечества на два пола — Божие разделение для любви — есть что-то несравненно более подлинное, чем разделения человеческие по убеждениям и интересам, создаваемые для вражды. Это разделение свидетельствует и о том, что "человек" не исчерпывается одним своим воплощением. Разделение единства человеческой личности на материальное, растительное, животное, человеческое (в трех ступенях: он, ты, я) и божественное — свидетельствует о том, что "человек" не исчерпывается самим собой.

Человеческая личность, которая есть единство всего творения, которая и есть все творение: от материи до духа, — не исчерпывается собой, ее переполняет любовь, которая не удовлетворяется никем и ничем, которая переполняет и "его", и "тебя", и "меня", которую можно назвать только "любовь к Нему" — Создателю, Отцу, вечному Возлюбленному человеческой души...

К людям любовь трудна, но не хотелось сейчас думать об этих трудах, тем более, что их все равно не избежать — они сами наступят в свое время...

Федор Степанович не отрываясь глядел на границу неба и воды, которая стала стеклянной, зеркальной. Скрипел где-то коростель, да так сухо, так надоедно, что не понять было, что это птица.

— Состарился тот голос, что когда-то сопутствовал моим мечтам, — улыбнулся он совпадению, коими, как нарочно, будто и не случайно полна жизнь...

Бежать в Тебя — что еще остается? Если тесно в своем Я и тесно в другом Я — куда еще деваться? Ибо если любовью моей будут вымощены тротуары и облицованы дома — она истомится в таком окружении. Мир, наполнившись ею, становится

ся ее зеркалом. А ей надо не смотреться в себя, а уходить в другое, неизвестное. Лишь там — ее успокоение.

В последней точке человек ищет Бога как возлюбленного. Когда утешен, очищен, исцелен — не нужен Утешитель, Освятитель, Целитель — нужен только Возлюбленный... К встрече с возлюбленным готовишься сам и не хочешь, чтобы именно он знал об этих приготовлениях. Бог-Утешитель, Бог-Воспитатель... Нет, лучше я буду сам себе утешителем и воспитателем, чтобы Бог мог стать Возлюбленным.

Все учение Твое — приготовление ко встрече с Возлюбленным. Но здесь замыкается все на человеке, а к человеку любовь временна и лишь в некоторой слепоте возможна. Она и жестока к человеку, ибо в слепоте своей требует от него более, чем человеческого. В конце концов должна она обратиться к единственному своему разрешению и выходу.

Правильно я понял Тебя?..

Луч солнца, ударивший вдруг в глаза, прервал течение мысли Федора Степановича. — Всегда-то порядок земной жизни обрезают своими рамками бескрайнее, — недовольно подумал он, однако же и не без облегчения, потому что давно уже было пора на покой.

### 3

Остров, на котором оказался Федор Степанович, был в прошлом обитаемым. Еще издавек, с воды забелел фасад полуразрушенного здания с черными оконными проемами. Бакенщик объяснил, что раньше здесь находился женский монастырь. После революции монахинь выселили и в освободившихся помещениях устроили детскую исправительную колонию. До сих пор среди жителей ходят легенды об отчаянных разбоях малолеток: на бревнах они переплывали десятикилометровое расстояние до берега и "гуляли" там — дрались, насильничали, устраивали грабежи и поджоги, после чего тем же способом возвращались обратно. В 50-х годах колонию упразднили, а вместо нее организовали "дом инвалидов": свезли отовсюду одиноких стариков и старух, калек, нервных больных. Но вскоре закончил свое существование и "дом инвалидов", и уже несколько лет как стоят пустые руины.

Федор Степанович смел фанеркой битое стекло с раскрошенным цементом и присел на остаток кирпичной кладки, рассеянно глядя на груды щебня под стеной и по запаху догадываясь о последнем, четвертом назначении этого здания. История монастырских развалин стала сплетаться у него в голове в интересный сюжет, но скоро он встал и пошел прочь, не желая терпеть дурного запаха. Он направился к лесу на довольно высокой горе, обрывающейся с одного конца прямо в озеро отвесной скалой. По пути он заметил медвежьи следы и, чтобы не поддаваться страху, стал вспоминать житие Франциска Ассизского...

У входа в лес стоял большой чистый подосиновик, и Федор Степанович совсем повеселел, мечтая о том, что если грибов много, можно будет и на зиму засушить...

Он взобрался на без труда на голую каменную площадку и обнаружил, что она — самая высокая точка на острове, выше деревьев даже: вода видна была со всех сторон. Один большой камень имел углубление — будто специально, чтобы сидеть, — были даже как бы подлокотники и опора для ног. — Это мое место, — решил он и сел, оглядывая всю даль, до горизонта развернувшуюся под ним — как властелин и "венец творения", но и как инвалид на иждивении у природы, способный лишь тихо радоваться случайно перепавшему счастью.

Это и было действительно его место — под синим сводом — и над шумом деревьев; с близким — только протянуть руку — горизонтом, но он руки не протянул, чтобы не повиснуть в пустоте, чтобы близкую даль не перевести в непреодолимую даль километров: реальность созданной из солнечных мазков поверхности не перевести в реальность почти бесконечных водных пространств, в которых разве что кануть бесследно.

— Для меня реальнее то, что я вмещаю, чем то, что вмещает меня, хотя бы это и было одно и то же. "Я в мире" — это убийственно: тогда я бессилен и пассивен. Лишь когда "мир во мне", я могу что-то делать... Он играл двумя обликами видимого им пейзажа: вот несколько километров водного и воздушного пространства, кончающегося на горизонте, — а за ним, я знаю, то же самое, — и взгляд мой безнадежно потерялся в безбрежности воды, которую не переплыть, и в бескрайности воздуха, по которому не могу лететь, и единственная опора тогда — то место, на котором сижу, и единственное поле деятельности ограничено берегами моего острова, который не могу покинуть. И хотя я знаю, что это так, я все же не собираюсь обделять себя и другим значением — что это не только так, что все мной видимое — глазом и душой — равно принадлежит мне как единый, цельный мир, в ткань которого погружаться и воссоздавать ее снова — уже свободную от непроницаемой жесткости этих поверхностей, бесследной, забвенной топкости глубин, безнадежной недосягаемости горизонта, — доставляет несравненную радость. Радость творчества — духовного воссоздания жизни — есть радость жизни в чистейшем ее виде. Нынче все системы и контрсистемы, императивы, ограничения и требования — сняты, как леса у законченного здания. Они сослужили свою службу — без них не было б и здания. Теперь все принято вовнутрь, и идея — уже не призывает к должностованию, но живет вместе со всем; что было каркасом — стало скелетом живого тела.

Чем эта жизнь отличается от прежней? Тем, чем сама голгофа — от всякого театрального употребления этого слова, и все попытки сбежать или поспешно картинно распяться — уже невозможны. Невозможно стало, как раньше, загигать краешек жизни, за которым обнаруживается зияющая чернота космоса или же свет рая... не над чем уже иронизировать... все стало жизнью!

Он прекрасно знал об эфемерности своего побега и отдавал себе отчет в том, что возвращение неминуемо. Та жизнь, от которой он с брезгливостью бежал — сначала внутрь себя, потом — на этот остров, — где-то должна была, наконец, его настигнуть и предъявить накопившиеся неоплаченные счета. Он вполне чувствовал себя готовым к этому, и, пока не окунулся в свету городской жизни, попытался ясно представить себе все возможные варианты развязки того неотвратимого столкновения с жизнью, которое должно было произойти, быть может, в скором будущем.

Пока еще он — вне досягаемости, на этом затерянном острове, где его никто не найдет и не опознает. Но уже сближаются: он и та жизнь, в которой он вскоре должен оказаться и так или иначе проявиться: каждый день приближает его к концу отпуска, и там, в городе, готовятся уже декорации для предстоящей драмы: обретенное им чувство жизни и истины стало настолько прочным и серьезным, что не потерпело бы уже никакой компромиссности, безымянности и лицедейства: он, Федор Степанович, перестал, наконец, сомневаться в своем существовании.

Вместе с его частным произволом изжились, наконец, и сомнения, и он знал, что не сможет уже играть выпавшую ему роль, соучаствуя в ежедневном обмане, который давно стал второй натурой его соотечественников. Он, живой человек, с таким трудом восстановивший в себе давно утраченное в условиях искаженной жизни истинное человеческое миро- и самоощущение, — просто не сможет теперь быть кем-то другим, если б даже и захотел. И это новое ощущение наполняло его радостью и уверенностью и вместе с тем с неумолимой ясностью показывало дальнейшую его судьбу...

...Он как бы собрал в одно место всех своих друзей, которых давно уже раскидало по разным местам, но с которыми он частенько вел про себя диалоги. Они олицетворяли для него его собственные соблазны — он и прошел в свое время с каждым из них соблазны — и никогда не отрекался от них, продолжая внутренне участвовать и разделять судьбу каждого, — потому и не боялся этих соблазнов: ведь неизвестно еще, как кончит он сам, неизвестно, хватит ли у него сил сделать больше, чем удалось им, — да и их жизнь нельзя было считать завершенной, и говорить о том, какой путь истиннее, — рано еще.

Но, не покидая своей душой ни одного из них, он внутренне чувствовал себя свободным от роковой необходимости их решений, и не терял надежды на то, что ему удастся все же больше. Была даже иллюзия, что это ему почти удалось — стоило только выразить, осуществить то новое чувство истинности, жизни и силы, которое он считал своим существенным и не временным завоеванием и от которого вряд ли что-либо могло заставить его теперь отречься.

Он образовывал с ними — друзьями и близкими — как бы единое тело, в котором каждый занимал свое место. Пространство, в котором все находилось, было единым и общим: каждый являлся как бы воплощением того или иного возможно в нем решения. Каждый смотрел из своей точки, своего центра.

Федор Степанович стремился к тому, чтобы не иметь собственного центра, быть везде и нигде, в каждой точке — и ни в одной из них.

...Мы овеществляем пространство духа, а не заполняем физическое место. Истина не может быть выражена в одной точке. Дух не может быть сведен к единичной воле... Если говорить о духе, лишь все вкупе и каждый лично, равно с другими — приближается к духовной истине. И если говорить именно об этой истине, то связь наша может быть только любовью, перекрывающей нашу разноречивость, разномыслие и разнovidие (но не любовью, не замечающей этих различий). В этом "плюралистически-монистическом", соборном чувстве я и вижу наше "мы".

— Если и стоило мне для чего-либо появляться на свет — так, конечно же, для этого, и на меньшее я уже никак не могу согласиться. Тут пропадает альтернатива поведения. Поступи он иначе, чем требует чувство, — он сам бы никак не мог считать это жизнью — это был бы для него конец жизни. Другое дело — если бы его поведение привело его к гибели — это бы несколько не меняло дела по существу, это бы не лишило его главного и самого ценного, что у него было, а физическая кончина и всегда ведь остается за скобками, за пределами личного усмотрения — даже и при самых благоприятных обстоятельствах. Внешние условия ничего не способны изменить по существу — они никак не соотносятся с существом, а лишь придают ему определенный облик.

Я есть — и смешно, что кто-то может меня умалить, изменить, убить. Вот этот я, который не может быть другим, — большая реальность, чем все "вопросы". Я всег-

да буду такой — и не в моей власти быть другим. Соответственно это будет развиваться и во времени: голодного накормлю, странника приму, приду к больному и к заключенному в темницу. Как я сам не властен стать вдруг не собой — так не властен и в своем назначении, — оно развернется из меня, и что бы ни пришлось: тюрьма, сума — все для меня благословенно.

Пока я есть — нельзя сказать, что что-то умерло, что-то разрушено, что-то потеряно. Все это есть во мне, а я есть вечно. Что можно со мною сделать, если сам я не могу отнять от себя ни малейшей частички? Страх перед гибелью — пустой страх: столкнуть меня в небытие не дано никому. Все то — слышит, а я останусь.

Он почувствовал в этом открытии подлинное преодоление всякого страха и его оборотной стороны — истерического героизма, требующего непременной жертвы, во главу возводящего жертвенность: жертва — лишь частный случай, ибо Жертва — уже совершена... и сводить все к ее физическому воплощению, значит подпадать под безусловную власть стихии смерти. Не ради жертвы — смерти — совершится его жертва, — а на путях к истинной жизни освободится он.

Федор Степанович почувствовал, что кончался целый этап жизни — становление, и начинался следующий — служение... Он ощущал что-то близкое тому, что было ровно год назад, когда он с воодушевлением отвечал:

— Отрицаешься сатаны, и всех дел его, и всех ангел его, и всего служения его, и всея гордыни его...

— Отрицаюся...

И словно ангелы подхватили его душу — и она взлетела в свободном полете вместе с живыми и умершими своими братьями и сестрами. О это упокоение в потоках света, этот вольный полет там, где нет прошлого, а будущее — все прозрачно насквозь... Тот единственный, неповторимый момент повторялся опять — и с изумлением он узнавал его.

Обзревая пространство года, он проделал головокружительную дугу от своего крещения до сего дня. За этот год он как бы обошел по кругу и вновь вернулся к видению вечного смысла. Тогда это была радость первого открытия, теперь — радость открытия пространства, непреходящей точки опоры, на которую безусловно можно положиться.

Вот он сейчас на высоте, и вот, играя, опустился чуть ниже и тогда почувствовал удовольствие от этой высоты. Еще ниже — и муки несчастной любви колынули его; еще — и значительными стали, обступили давно забытые противоречия, сомнения, страх и желание всегда ускользающего счастья. Еще ниже — и — слепой похотливый эгоизм, лишенный самосознания... Ничто никуда не делось, все было на своем месте. Но он сам выбирал свое место: усилием воли он взмыл над слепыми хотениями, миновал долину прекрасных томлений и страхов, поднялся над суровыми скалами духовного одиночества гордеца, покинув этот плен через единственный просвет — смирение, пока вновь не оказался в эфире жизни и смысла, в котором нет неразрешимых противоречий и губительных тупиков, любая проблема — только риторика, все затруднения — выдумки непосвященных; он! — сама жизнь, сам смысл, сюда стекаются все пути и незаметно теряются в свете — и светом этим я жив! Ведь сколько раз с математической достоверностью доказывал он себе собственное небытие, неизбежность абсолютного уничтожения, однако же выныривал на

другой день в другое пространство, и обступившая со всех сторон неотвратимость, неумолимость гигантских миров оказывалась издалека еле заметным пятнышком...

Разлитые в воздухе флюиды нетерпения, жажды большего, чем есть, отрывали его от камня, на котором стоял, вызывали чувство избыточности жизненных сил, переливание через край... Духовное пространство виделось единым, без перегородок и скрытых закутков. Он, казалось, растворялся во всем, становился всем... Очертания хребта — цепи событий прошедшего года — совпадали с развернутым под ним пейзажем: от вершины его острова — гряды уходящих вдаль островков — вплоть до чернеющего на горизонте материка, над которым нависло заходящее уже солнце. А по другую сторону, на востоке — эфирно-чистая голубизна воды и небо без единого пятнышка... От стороны, запятнанной островами, подожженной закатом, он обратился к пугающей чистоте и прохладе. Подпаленный со спины, а лицом, размытым в тени, как бы и не существуя, он потерял всякое чувство определенности своих границ. Пейзаж повторял почему-то очертания прошедшего года: Федор Степанович сам был этим годом, развернутым во времени. Но и пейзаж: вода, лес, покрывший все острова, чайки, кричащие между водою и небом, и звери в лесах; люди в маленькой лодочке вдалеке; он сам, стоящий на горе, — все это было им же, расположенным по ступеням творения. Он же, стоящий на горе, свободно парящий над всем, он, казалось, пребывал уже в Нем и через Него сливался со всеми другими — ближними и дальними, родными и враждебными, чужими...

— Тайну подобных состояний люди уносят с собой, умирая. И с этой невозможностью выразить, передать приходится мириться, — думал Федор Степанович, пытаясь хотя бы для самого себя осознать открывшееся ему видение: он вдруг увидел человечество как единую личность, и все вопросы социального устройства разрешались этим: они были тем же, чем для человека является его внутреннее устройство, и подчинялись тем же закономерностям, что и внутренняя жизнь человека. Различные слои и группы людей были подобны различным сторонам и пластам души. От ее богоподобия до ее звероподобия — все это наглядно воплощено в человечестве. Так же и ее состояние, ее возрасты находили аналогию в истории человечества. Тело, душа и дух человечества выражались соответственно в хозяйственном, социальном и культурном. И как между душою и телом возникает напряжение творческих сил, так между социальным и религиозным рождалась культура. Каждый народ был особой личностью, и личности всех народов сходились в сверхчеловеческое единство, в личность всечеловека. Душа каждого народа, состоящая из множества красочных светлых и темных слоев, имела свой неповторимый облик. Как в отдельной душе разные ее стороны то находятся в мире, то борются друг с другом — так и группы людей. И цели человечества как единого организма тождественны целям отдельного человека. Что благо для одного, то благо и для другого, что ведет к гибели одного, гибельно и для другого. Спасение человечества есть спасение души.

Улучшение общественного и государственного устройства было подобно совершенствованию личности, и не было единого рецепта, постоянно, абсолютно действующего блага в социальной жизни. Все было относительно, все действовало только в определенных границах, в определенных ситуациях. Все ценное в следующий момент обесценивалось. Человеческому обществу стать лучше — не легче, но и не труднее, чем стать лучше отдельному человеку. Вопрос о том, какой госу-



дарственный строй лучше, оказывался бессмысленным, потому что дело было вовсе не в строе — один и тот же строй мог быть и хорошим и плохим, как хорошими и плохими бывают люди, стоящие за одну и ту же идею.

Дурное и доброе то и дело меняли свое положение одно относительно другого, меняя при этом свою окраску. Слои, находясь постоянно в движении, вступали между собой в сложнейшие взаимоотношения. Из них то один, то другой выходил на поверхность, окрашивая все остальные.

Федор Степанович с болью наблюдал мучительное душевное состояние своего народа... За что необходимо было бороться — это, как ему казалось, не за какое-то готовое, установленное кем-то истинное устройство общества, но за то, чтобы истина обрела право голоса и представительство в общественной жизни, чтобы затем сама она могла находить сторонников и действовать. И пусть не получится сразу какого-то особенного блага (ведь вместе с истинным поднимается и много иного...) — но во всяком случае это была бы форма, соответствующая действительному положению, способная совершенствоваться...

Федор Степанович имел в виду не свободу слова, а свободу духовной жизни. Но для этого надо было, чтобы эта духовная жизнь была, существовала, действительно жила, а не повторяла старое, жившее когда-то...

Идеальным социальным устройством он полагал такое, как устройство "гармонической личности": все стороны души существуют свободно и служат добру; силы эгоизма, трансформируясь, становятся силами служения. Если эта метаморфоза возможна в отдельной личности, то возможна она и в человечестве. Вопрос общечеловеческий есть личный вопрос.

Совершенствованию человека служат идеи. Они формируют его высший образ. При уклонении от пути совершенствования между человеком и идеей начинается разлад. Идея становится внешней, безличной и отношение к ней извращается: по одну сторону — фанатизм, фетишизация идеи, по другую — аморализм, отрицание идеи. Это замкнутый круг зла: в одном случае зло приносит сама идея, в другом — отсутствие идеи. В мире торжествует абсурд.

Подобно тому, как верный путь приводит личность, утратившую первоначальную природную цельность, к восстановлению единства во Христе, — и человеческая история должна вести к тому же. Нынешний век — предел отпадения и утраты всякого единства. Человеческое устройство в следующей эпохе должно стать теократическим — но в смысле совершенно нового решения проблем Божественного и человеческого, религиозного и социального...

— Все есть, все есть, — повторял Федор Степанович и — как бы желая все обнять, раскрывал руки и бегал в волнении по своей площадке. Все, что мы хотим, мы имеем, но не так, как хотим, а как есть. А есть — все! Хотя же обычно не того, что есть, а — своего удовлетворения. Надо не удовлетворять, не присваивать — надо смочь увидеть, что это уже есть у меня. Вот когда я отказался от всего — от своего понимания, от своего превосходства, от нее, от самого себя — тогда оказалось, что все есть, все есть...

Зимою я стремился представить все как пространство; весною все — как время; а ныне я знаю, что все существует и в вечности. Мои мысли ходят по кругу — году — Богом данному символу вечности.

И ничто не потеряно, и ничего нет в мире необратимого: мне может казаться, что я что-то потерял, что-то умерло, прошло навсегда... А все есть! Все есть!

...Под утро где-то совсем близко затарахтел мотор и послышались громкие голоса. Он так и не понял, удалось ли ему ночью заснуть — с трудом оторвав отяжелевшую голову от сырого тряпья, выглянул наружу сквозь маленькую щелку в палатке. К берегу приближался большой баркас с толпой мужиков на палубе. Чертыхаясь от досады и хлопая насевших на лицо комаров, Федор Степанович стал поспешно одеваться, чтобы спасти поставленные им на ночь рыболовные снасти. Он опоздал: высыпавшие на берег мужики гремели уже его колокольчиками и бесцеремонно дергали зацепившуюся где-то на дне леску.

— Твои, што ль, донки? — спросил дружелюбно один из них, заметив ковылявшего в одном сапоге Федора Степановича. — На донку здесь... поймашь, ты бы рогатку вон в той траве поставил — так щука может взять. А на червя — это ты на лодке к тому острову езжай — там хорошо окунь берет. У меня там сетки стоят. Сам-то с Медгоры, что ли?.. А где же лодка? Пешком, что ль, пришел?

— На вороне прилетел, — сказал с досадою Федор Степанович, тужась натянуть второй сапог, и на всякий случай матюгнулся по пустому.

— А мы тут косить приехали — вон начальство — вишь, с пушкой на боку — рыбадзор, — и катер рыбадзорский. Щас пошлем его за вином! ("Вином" в тех местах называли водку. Собственно вино звалось "красненьким".)

Тут же подошло и начальство: молодой парень с кобурой на ремне, и покосившись на запутавшуюся леску федорстепановичевых снастей, грозно спросил: сетки есть?

— Да не шуми ты зря — вишь, человек хороший, у него и лодки нет — на вороне сюда прилетел.

— Кто там на вороне прилетел? — вызывающе закричал кто-то с баркаса, и Федор Степанович подосадовал, что теперь за его глупый ответ придется долго объясняться.

— Ты пойдй, пойдй сюда, — кричал тот же с баркаса, обращаясь к Федору Степановичу. — Пойди, — видишь — слезть не могу! Давай, подмогни инвалиду! — и вцепившись ему в плечо, перепрыгнул на одной ноге с палубы на причал и захромал по гнилым доскам к берегу. Бабий голос и хромота определили ему, видимо, роль шута, и он охотно ее исполнял.

Последним поднялся с палубы человек с лицом льва, которому помешали доспать. У него был длинный нос, скошенный затылок и неправдоподобные бицепсы. Спина и грудь синели затейливой ажурной татуировкой. При такой внешности можно было ожидать, что у него, в противоположность инвалиду, должен быть сильный бас, но голоса у него вовсе не оказалось — лишь сип да шип, и то с немалым напряжением, от которого краснело лицо...

— Наверное, ихний пахан, — подумал Федор Степанович. Это был самый главный, он же и самый пьяный, потому и заснул очень скоро, навалившись животом на сырую гальку. Баркас отчалил.

Меж тем инвалид сел на землю и стащил сапоги, чтобы перемотать портянки. Когда нога оголилась, он задрал до колена штанину и стал быстро сгибать и разгибать укороченную ступню, показывая на нее пальцем Федору Степановичу. — Вишь ты, все пальцы отморозил! — И действительно, ни одного пальца не было, их отрезали неровно, ступеньками. Потом он бережно обернул ногу по-новому и, придерживая заматанную поверх штанины портянку, скользнул в сапог упакованной ногой. Когда же

он закончил свой туалет, то развалился на траве и полез рукой в карман за папиросами.

Тут подбежал молодой петушистый паренек, которого все звали "рыженьким", сел на калеку верхом и стал дурачиться. Калека, слишком притиснутый, разозлился и закричал: уйди! уйди, тебе говорят!.. Тот однако не унимался. Пока они катались по траве, Федор Степанович как раз успел развести огонь и поставить котелок с водой для каши, в чем ему робко помогал пришибленный человек лет пятидесяти. Его все звали "Зеленым" и бранили по каждому поводу с какою-то непонятной жестокостью.

— И не скучно одному-то? — заглядывал он Федору Степановичу в глаза, явно пытаясь найти сочувствие. — Не боишься? Тут медведь ходит. — Федор Степанович махнул рукой, — мол, чего там! пускай!..

— Слушай, я завтра тебе молока привезу и цинковой мази от комаров... — Федор Степанович глаза отводил, но старался ему отвечать тоже ласково — и он, благодарный, журчал своим тихим голосом из небритого рта про житейские трудности.

— Чего пристал к человеку? Сходи давай за дровами! Эй, зеленый, не слышь, што ли?! — и Зеленый, блеснув напоследок белыми деснами, с тихим воркующим смешком затрусил в сторону леса.

Насчет каши вышел спор, как ее солить: петушистый паренек хотел побольше, а калека говорил, что соленого не любит, — и Федор Степанович посолил по своему вкусу, говоря, что досолить всегда можно.

Подшли и остальные, вынули свои ложки и стали пробовать, ругаясь, что горячо. Открыли и консервы — корюшку в томатном соусе местного производства, подвигали банку Федору Степановичу и ободряли, чтоб он ел, чтоб и крутое яйцо ел с зеленым луком — но сами не притрагивались, ожидая возвращения катера и настаиваясь от каждого звука, похожего на мотор. Пахан так и спал на животе, облепленный разбухшими багровыми комарами.

Нетерпение меж тем росло: что ж они не едут? Магазин-то давно открылся! — и когда из-за мыса вылетела моторка, за ней другая, а следом баркас, — они повскакали, побросали ложки на землю и все вместе выстроились по самой кромке берега. Лодки мигом подтянули, привязали и стали таскать на берег сетки с бутылками "Зубровки", которую тут называли, по изображению зубра на этикетке, "быком". Тут и пахан оторвал голову от земли и затребовал "неполную". Выпив полкружки, опять заснул. Рыженький вскоре стал совсем красным и кричал уже не переставая, задирая каждого, чтоб померяться силой. Пахана, однако, не трогал и даже снял с него сапоги, "чтоб ноги отдохали".

О чем-то ворковал и беззвучно, беззлобно хихикал Зеленый, радостно дивясь действию алкоголя и понимающе перемигиваясь с каждым, словно бы говоря: уж теперь-то никто меня не обидит, теперь-то уж и мне можно как всем! И правда: никому до него не было дела, и он, осмелев, подбирал брошенные бутылки, выжидая над кружкой, не осталось ли еще капли...

Небо тем временем посерело и закрапал дождик. Федор Степанович, натянув кепку поглубже, хлебал уху из ведра, которую мигом сварили из вынутой из сетки рыбы, и пил "Зубровку" из пластмассового стаканчика, предвидя холодную и сырую ночь.

Кто-то стал отбивать косу, и под звук металлических ударов и пьяный галдеж

Федор Степанович стал уходить в сырой ватный туман, где голоса ослабли, доносились издали... В туман привычного состояния, в рваную разногласицу вплетал он изнутри новые слова и плыл в себе, уверенно лавируя между полуразрушенными алкоголем чужими мирками, — плыл, не наблюдаемый никем, но наблюдая за всеми, не открывая глаз...

— А я ви-и-дел, как тебя Кузьма вез! Думаешь, остался незамеченным? Ха-ха-ха! Все замечено! Вот так, брат! — перед Федор Степановичем собиралось в морщинки и опять расправлялось ужимчивое, то насуспенное, грозное — то открытое и добродушное лицо.

— Ха, ха! Павел Иванович, умная голова! Будем знакомы! — и поднял свою кружку, отведя чуть в сторону, чтобы показать Федору Степановичу свою выпяченную грудь. — Ты такого еще не видал, парень! — постучал он по ней кулаком. — Тут Павла Ивановича каждая собака знает — спроси кого хочешь! Чуть что — к Павлу Ивановичу. У кого что — к Павлу Ивановичу. Мотор барахлит — к Павлу Ивановичу. Лодку сшить — к Павлу Ивановичу. Вот так, парень, умная твоя голова!

Они выпили, чокнувшись, Павел Иванович растер грудь и закусил хлебной коркой. — Та-ак... А мы, значит, из Москвы? Ну-ну... — И вдруг с горечью усмехнулся и сказал, сбавив тон, с невеселой насмешкой над собой: — Я и сам-то почти москвич... Здесь-то я так, случайно очутился... Мне бы еще разик Москву повидать... А-эх! — махнул безнадежно рукой, — нас там не ждут. — И задумался, укоризненно качая головой.

Федор Степанович сочувственно молчал и после приличной паузы осторожно и участливо спросил: — А как же ты здесь, Павел Иванович, оказался?

Тот нахмурился, оглядел его подозрительно и с вызовом отчеканил: — Пятьдесят де-вя-тая статья! Знаешь, что такое?

— Что же? — заинтересовался Федор Степанович близостью к 58-й, по которой сидел его дед как "враг народа".

— Камерный бандитизм! Бандит я! — ответил тот с еще большим вызовом и посмотрел на него так, будто сейчас убьет. — Закон-тайга!

Федор Степанович поехал: этот — не пятьдесят восьмая, этот пятьдесят восьмую грабил, блатарь, — наверное, не меньше, как убил, раз срок дали, — и стал искать, куда бы отвернуться от близкого лица. Но Павел Иванович вдруг улыбнулся добрейшей улыбкой. — А потом — сто первый километр — так и остался здесь — двадцать лет как живу, семью накопил, семеро детей — пускай живут, клопы, — жить никому не запрещено! — и опять вдруг насупил: — У — клещи, паразиты!

Федор Степанович, наблюдая болезненно-частую смену его настроений, проникся чем-то вроде жалости и в том же участливом тоне продолжал разговор: — А как в тюрьму-то попал?

— Из колонии. Беспризорный. Двенадцати лет в колонию забрали. Закон-тайга!

Павел Иванович стал строить рожи из своего подвижного морщинистого лица, потом вдруг улыбнулся нарочитой улыбкой и громко сказал, опять покровительственным тоном: — А мы, значит, путешествуем! Та-ак... Отдыхаем?! А почему же на курорт не поехали, на море?

Федор Степанович собрался отвечать — но тот вдруг страшно закашлялся, стал темно-красным, даваясь, хватал ртом воздух и сгребал в кулак рубашку на груди. Когда же пришел в себя, то забыл уже, о чем говорил раньше. Он свернул голову

новой бутылке и сказал, как бы успокаивая и наводя порядок: — Надо голову поправить. Давай — в растяжку!

Растяжки, однако, хватило на пять минут: после второго налива бутылка, уже всеми забытая, стала медленно сползать, горлышком вниз, к озеру, пока не остановилась на поддороге, уткнувшись в камень, этикеткой вниз.

Зеленый заснул подле, по-цыплячьи всплеснув руками, да так и застыв. Дождь усилился, и стало темнеть.

Павел Иванович поднялся, сильно шатнулся, но не упал и, расставив ноги, стал спиной к Федору Степановичу, покачиваясь и всматриваясь в серый горизонт. Потом с трудом, несколько раз переступив, оборотился лицом и, решительно полоснув наискось рукой, scomандовал: — Поехали домой! Давай, Степаныч, забирай свои вещи — что здесь мокнуть будешь? Сегодня баньку топили — помоешься, переночуешь. Хозяйка накормит. И щенят моих посмотришь!

Федор Степанович огляделся: косари так и не начали косить, некоторые спали прямо в траве под дождем. Его палатка почти уже завалилась, и из нее торчали сапоги. Калека сидел на камушке и захлебывался в полубезумном смехе, рассматривал свою руку, улымаясь:

— Гли-ко! Мушка ручная! Гы-гы! Не улетает! Крылышки у ей какие! Ма-а-хонькая!..

Павел Иванович неверными руками помогал Федору Степановичу собирать вещи и кое-как складывать их в лодку. Глаза его потухли, и лицо утратило прежнюю подвижность. Потухло вскоре и сознание Федора Степановича, сфотографировав напоследок разбросанные по берегу пустые бутылки и тусклый блеск черных кирзовых сапог под дождем...

Ночью Федор Степанович проснулся, попытался встать, но сильно ударился лбом о сырую деревянную балку. — Где я? — рассматривал он, не узнавая, в полумраке белой ночи печь, дощатые полки вдоль стен, низкое маленькое оконце... Березовый веник на лавке помог ему догадаться: я в бане. Он лежал в одних трусах, но было жарко: баню недавно топили. В духоте, насыщенной запахом распаренных листьев, чувствовался дух вечной затхлости. Воображая себе насекомых по темным углам, он стал искать спички, но снова ударился головой о низкий потолок. Тогда он слезать передумал, перевернулся на живот и стал смотреть вниз, на ватные штаны, которые валялись рядом с березовым веником, обхватив штанинами лавку.

Под лавкой было темно, там, казалось, кто-то затаился, Федор Степанович пытался расслышать шорохи, но тишина была полнейшая — только часы на руке тикали у самого уха.

Ему опять все стало безразлично, и он затих, уткнувшись лбом в ладонь, стараясь не шевелить больной головой, постепенно оцепеневая. Но тиканье терзало его сознание: часы тикали наперегонки с пульсом, и из перебора их ритмов возникало ощущение погони. Он поменял руку под головой, но беспокойство не проходило, хотя и не мог он вспомнить его причины, — и снова заворочался, пытаясь устроиться поудобнее.

Все тело его ломило от ушибов, происхождения которых он не помнил; связать то, что было на острове, с этой банькой он не мог и испытывал от этого мучительное чувство потерянности и страха. Лежа на спине, он начал растирать грудь, чтобы

унять дрожь в сердце. Немного полегчало... Он помнил, как стоял вчера на горе, как наконец-то обрел себя и свое место в мире — а сегодня оторгнут от того места и забыл туда дорогу.

— Как получилось, что я опять на дне? Что мне делать дальше?

Ему было очень скверно. Дверь тут с визгом растворилась, яркий свет ударил в глаза, и бодрящий голос приказал: — Вставай, Степаныч, завтракать! — Ему сделалось нехорошо, но он подчинился и стал медленно сползать с лавки на пол. — Давай-давай, — подбадривал Павел Иванович, — давай-давай-давай!

В семье Павла Ивановича завтракали все вместе. Девочки о чем-то хихикали между собой, парни перебрасывались короткими словечками, сонно бормотало радио. Федор Степанович боролся с подкатывающими волнами дурноты, а Павел Иванович с забавными ужимочками пытался выклянчить у хозяйки "стаканчик", чтоб "голову поправить".

— Ну, есть же у тебя, Дарьюшка, ну давай, за встречу!

Хозяйка же прихлебывала чай вприкуску и будто не слышала, она была замочена в множество платков и не глядела ни на кого, на Федора Степановича тоже.

— Ну, Дарьюшка, ну, солнышко мое, — кривлялся Павел Иванович. — Вот и го-стю надо, что ж ты гостя-то обижаешь? Человек из Москвы приехал, с дороги...

— Остань, черт старый! Чего привязался? — сказала хозяйка не глядя и продолжала прихлебывать кипяток. Дети тем временем разошлись, мужи насели на окуневую чешую, радио продолжало свой сеанс внушения. Хозяйка встала и кряхтя направилась куда-то: Павел Иванович замолчал и радостно подмигнул Федору Степановичу...

#### 4

Остаток лета Федор Степанович провел как бы в оглушенном состоянии. То, что пережил он на горе, — так и осталось на той горе, а новая, окружающая его жизнь вовлекала его в свои дела.

Он ловил рыбу, косил, заготавливал ягоды и грибы вместе с деревенскими — и не мог уже и помыслить о возвращении в город — нашлась ему и ветхая избушка, которую надо было подправить, готова была уж найтись и жонка к ней. Федор Степанович стоял на распутье. Уезжать не хотелось — и остаться что-то не позволяло. Дома его никто не ждал, и он чувствовал, что если он уедет отсюда, то окажется нигде — теперь уж действительно совсем нигде.

Он приглядывался к жизни большой семьи Павла Ивановича, и в этой общности — в общей работе, трапезах, на гулянках — что-то будоражило его и влекло куда-то, оно выводило то ли в будущее, то ли в прошлое, размыкая эгоистическое настоящее. Ему нравилось терять себя в этой общности. Он, не знавший ничего о своем роде, готов был ввести сюда, включить себя в эту жизнь. А то вдруг он в подпитии признавался: — Бродяга я без роду и племени... Я — бродяга, и в этом вся разгадка... Всюду, в любой стране... И если меня изловят — тогда от меня ничего не останется: полинья, зачахну, исчезну... И откуда только я взялся?

Все легче и легче было ему просыпаться в баньке, он привык и перестал уже ударяться головой об потолок. Сенокос был в разгаре. Лето медленно переваливало через свой зенит, безмолвное оцепенение накатывало каждый раз после полудня, гсущая жар, гудение насекомых, крепкий дух трав.

— Что все это в сравнении с моим городом? — вопрошал он в тиши, и грабли в его руках казались ему ненужными, чужими. — Что весь мой год в сравнении со

всем этим? — отвечал он, и вновь кипела работа, играла кровь в жилах и ударяла в голову мечтой о "жонке", которой, кажется, готова была стать старшая дочь Павла Ивановича, Люба. И прошедший год казался уже мыльным пузырем, лопнувшим над жизнью его рода. Или — вся та прошлая жизнь была долгим сном, который лишь в последний этот год начал понемногу рассеиваться, а сейчас опять грозил навалиться на него?

Две истины сбивали с толку, подменяли одна другую, рождая и чувства-перевертши. Оттого и не мог он решить вопрос: оставаться ли в деревне среди "творений Божьих" или возвращаться в город, к "творениям человеческим"? Вопрос этот саднил душу как безнадежная любовь, как когда-то вопрос: уйти или остаться с женой?

Он не мог решить: с одной стороны, этот противоестественный, автоматизированный труд, изгоняющий из себя все первозданное, отрицающий все то, что лежит в основах жизни; а с другой стороны — деревня, в которой все это сохранилось, но которая сама уже ровно ничего не значила для того великого, что свершалось, как он полагал, в настоящем.

Лето уж шло на убыль. Нотки осенней меланхолии стали мало-помалу примешиваться к тому, что он видел изо дня в день. Вид серых избушек возле самой воды, запах просмоленных лодок, синяя дымка леса на другом берегу — все то, в чем он был растворен последнее время, начало постепенно словно выплывать из тумана как воспоминание, приобретает очертания, — это можно было уже рассматривать, трогать, от всего этого он стал получать особенное наслаждение, которое усиливало тем, что стал об этом еще и писать. Все, что извне волновало его кровь, теперь стало изливаться изнутри, принимая облик прекрасного белоснежного града с чудесной колокольной музыкой, ход в который был заказан инородцам, иноверцам и "интеллигентам". Он упивался тем дивным образом, он хотел его воплотить в... опять-таки в некоей концепции. Время его отпуска давно истекло. На работе, наверное, взяли вместо него другого, — а он ловил окуней, ловил взгляды палычанчевой Любки, ловил уходящие воспоминания. Братья деловито переговаривались между собой, замолкая при нем, начальство включило его в рыболовную артель, — все шло помимо него, и он не сопротивлялся. Он говорил себе, что наконец-то счастлив, что от добра добра не ищут, и что вообще нечего...

Однажды, проходя по деревне, Федор Степанович услышал, что его окликнули по имени. Он обернулся: у ворот стоял незнакомый парень и руками манил его зайти. Когда Федор Степанович зашел, тот взял его за грудки, поднес к носу кулак и тихо, отчетливо произнес:

— С-с-лушай, парень, сваливай откуда пришел. А если Любку тронешь — я тут по стенке размажу! — Сказав это, он вышвырнул Федора Степановича на улицу и закрыл за ним дверь. Уничтоженный, доплелся он до своей баньки, взобрался на полку и ворочался всю ночь. Тяжелые мысли не давали заснуть. Состояние его было ужасным.

— Как получилось, что я опять на дне? — думал он. Как столь прекрасное начало привело к такому скверному концу? Дело ведь не в том, что меня обидели — тот парень совершенно по-своему прав, — а дело в том, что во мне самом что-то оказалось неладно. — Самое скверное было в том, что если он и представлял еще себе как-то женитьбу на Любке, то теперь, когда за это надо бороться, он вдруг почувствовал, что

не имеет для этой борьбы достаточного чувства правоты и уверенности, то есть что тому парню Любка оказалась нужнее, чем ему, а отставлять неправое дело Федор Степанович чувствовал себя неспособным. Сознаться в этом тоже было трудно. И уезжать после этого тоже было неловко. Так вертелся Федор Степанович на жесткой полке, как на сковородке, потирая ушибленный бок.

— Они тут живут, они тут на своем месте. А я что? Где мое место? Откуда я взялся?

Там, где в памяти у людей имелся уходящий в глубокую даль ряд предков, у него словно фанеркой было забито. Знал он только, что прадед его был толстовцем, прапрадед из крепостных, и что дед его стал большевиком, а потом пропал в лагерь. По лицу своему он догадывался о некоторой примеси Азии, а если верить рассказам, прапрабабка его была полькой шляхетского рода. По душевным симпатиям же его влекло неудержимо на Север: пестрота Юга его раздражала.

В тусклом банном окошке прибывал свет. Он увидел на чужом полу что-то неправдоподобно знакомое: цветные кружавчики, отделившие некогда его детскую кроватку от остального мира. Уезжая из дома, он взял с собой ту тряпку на всякий случай, не помня ее происхождения. Когда-то, дряникая щекой к шершавым обоям (оказывается, и запах тот еще не забыл!), он разглядывал таинственный рисунок, дополненный пятнами от клопов, и без конца открывал в нем все новые изображения: людей, животных, пейзажи. Это был один из даров скупой коммунальной квартиры. Когда его укладывали спать, за стенкой на кухне соседи как раз готовили ужин: в шуме воды и грохоте тарелок перекликались голоса, то вдруг доносились обрывки слов из радиоприемника, шаркали тапки по длинному коридору, дверь в комнату распахивалась и притворялась опять, впустив шипящую сковородку, запахи кухни и недовольный мамин голос. Что-то отвечал отец, и было слышно, как скребут вилки по чугунному дну. После этого в комнате на мгновение становилось неестественно тихо: приближались осторожные шаги, мать заглядывала за занавесочку, поправляла что-то в постели и возвращалась обратно, уверенно сообщая: спит!

Тогда сердце начинало биться от тайной радости, и можно было уже без опаски приступать к любимому занятию: из подушки, одеяла и простыней воздвигать горы и равнины — пейзажи, видимые с птичьего полета; зачаровываться вольной архитектурой простынных складок, рыть потайные ходы, устраивать закоулки и прятаться в них самому. Казалось, если сделать ход похитрее, то можно будет по нему добраться до каких-то неведомых углов и потаенных комнат, о которых он один только и знал, и при всей любви к родителям не мог бы им о том рассказать...

Детский лепет забавлял кривых, хромых и беззубых соседок, и чувствуя это, он отдавал дань этой их слабости: шумно въезжал на своем трехколесном велосипеде в кухню и, выпалив возбужденную нечленораздельную тираду с торжественными интонациями, лихо разворачивался и укатывал обратно под растроганный гомон и всплески рук. Тетя Клава, обутая и одетая вся в многослойные тряпки и с вечным флюсом, обмотанная красным платком, притискивала иногда в конце коридора и вороватым движением совала в руку липкую карамельку в неотделяемой бумажке. И хорошо зная эти ее карамельки — терпеливо досасываться до мятной свежести, когда можно было сквозь зубы резко втянуть воздух и почувствовать приятный холодок на небе и языке.



Таким же холодком веяло от первой мимозы, которую приносил отец, и тетя Клава провожала букетик в прозрачной бумажке завистливым шепотом: желтый цвет — цвет измены...

Еще запомнилось пугающее, но чем-то притягательное название "черный ход", из которого в любую минуту мог прийти некто с мешком по его душу, если не дост всю разваренную капусту от щей, развешанную по краям тарелки...

Он вспомнил свою мать, когда мерно ходила иголка с ниткой в ее руке, зашивая очередную дырку после гулянья, — картина нерушимого домашнего порядка. Но уже мгновение спустя — как озорно перекусывала она нитку, с размаха втыкала иголку в подушечку и кидала в него зашитыми штанами: на! рви дальше!..

А "на сон грядущий", если не было ссор, садилась за пианино и пела свои любимые романсы с тем особым выражением, с каким можно петь только без публики. Все это было подарено памяти несколькими неразвившимися намеками, как начавшаяся и заглохшая тропинка счастливого детства. От водворенья в детский сад на всю неделю до окончания школы протянулся сплошной серый коридор... Федор Степанович отметил последнее воспоминание детства: в те времена положено было детям носить чулки, которые прикреплялись к лифчику резинками с металлическими застежками. И вот как-то, раздеваясь вечером вместе с тридцатью другими такими же, как он (после чего приходила воспитательница проверять порядок среди ровных рядов железных кроваток и, закончив обход, говорила торжественно: спокойной ночи, дети! И дети хором тянули: спо-кой-ной но-о-очи-и...) — и вот, раздеваясь, он почему-то не смог расстегнуть ту застежку, как ни старался: все разделись и укладывались уже — а он все не мог освободиться от тех проклятых резинок и плакал, продолжая ковырять порвавшийся чулок. Стены вокруг были покрыты масляной краской до половины, выше были побелены. По потолку тянулись ряды ламп в матовых стеклянных плафонах, залепанных пятнами побелки. Слезы сдвигали с мест, заволакивали ровные светящиеся шары. Они начинали искриться на кончиках ресниц — и все пронизывала золотистая пыль, в которой хотелось лететь, лететь, лететь, свободно и далеко, — и не смаргивал, оставляя их остывать на глазах...

Через каких-то несколько лет его принесли домой пьяного. А мать подумала, что — мертвого. Когда же разъяснилось — то накинулась на него с кулаками, хотя он ничего не чувствовал.

...И вдруг страшная догадка поразила его: загублено то и потеряно навсегда, а значит — нечего и пытаться: что может родиться из ничего? Пушкин, Толстой, Набоков... как роскошествовали все те, порождения и творцы той культуры: сама жизнь будто нарочно заботилась, чтобы не погиб в них бесценный дар, хранила и лелеяла его. Им же оставалось только расточать... А сейчас, на этом случайном месте, без роду и без племени — что может вырасти?

Возможна ли культура в первом колене?

Да и во втором?

Разбитая жизнь, пьяный надрыв, мания величия на безрыбье, представительствование "от имени русской культуры"... но подлинные документы оказываются все-таки глубже "художественного творчества"... Культура, всегда опережавшая жизнь, больше не дотягивается до нее...

Федор Степанович, оцепенев на нарах, почувствовал вдруг себя как бы совершенно голым.

— И я, — продолжал он свою мысль, — занимался все это время тем, что пытался восполнить то, что у меня давно украли, достроить недостающее, думая, что открываю новое. То так, то эдак я достраивал жизнь, — а все рушилось, потому что той, истинной жизни во мне вовсе нет. Осталась сосущая пустота — она-то и побуждает меня без конца открывать жизненный смысл. Ведь если б была сама жизнь — этим разве я бы занимался? А есть — отречение от жизни, "умирание для мира", — и пронзающее все существо желание, чтобы никто, ничто, никогда не умирало... Не умирает — в прошлом (воспоминания) и в будущем (мечты), а надо, чтоб это было в настоящем...

С разбитой душой Федор Степанович собирал свои пожитки и грузил их в лодку. Едва рассвело, когда он толкнулся от берега. Лодка была бросовая, подтекала, он греб, а в перерывах отчерпывал консервной банкой. Подальше от берега потянул ветерок, и тогда, славив из тряпки парус, из весла — мачту, он устроился поудобнее на корме, подправлял другим веслом прямо по ветру.

В нежной дымке, как воспоминание, таяли серые избушки и синеватая полоса леса на горизонте. Опять менялись декорации. Ветер потянул сильнее, зажурчала вода за кормой; чайки носились над свежим простором. Федор Степанович долго провожал взглядом тающий берег, пока кругом не осталась одна бурлящая вода. Бурлила и кровь в жилах странным весельем. Ему казалось, что он никогда больше не вернется обратно.

Окончание следует

Визма БЕЛШЕВИЦА

## КЛУБОК

Вокруг мига того и взгляда  
Я мотаю клубок, нет сладу.  
День и ночь, будто так и надо —  
На клубок свой мотаю года.

Ну когда ж моя кончится пряжа?  
Все моток за мотком. Кто скажет?  
И тот миг — был ли он, или даже  
Все мне просто приснилось тогда?

Я не знаю... А руки проворно  
Все мотают клубок упорно.  
Было? Не было? Так все спорно —  
Замоталось в клубок навсегда.

Перевел Александр МАТУЛЬ

Валентина ЕЛИЗАРОВА

\*\*\*

Земля моя, в твоих кустах  
Гнездятся траурные птицы,  
По осени гниют метлицы,  
В зазимье гомозится страх.

О милый дом, в твоих сенях  
Бездомный кто-то копошится  
И ворошит твои страницы,  
И вместе обращает в прах.

Фанфарный, фанфаронный век:  
Как исстари, дворцы, темницы...  
И резкие, в глаза, зарницы,  
И жизнь как бы от жизни бег.

\*\*\*

Проходит время. Говорят: тот дом  
На том же месте, прежний цвет и вид.  
И человеку время нипочем:  
Все тот же, мол. Вон, на углу стоит.

Пусть говорят. Их речи не про нас:  
Меня не обмануть, я не слепой!  
Я был там, видел ясно, как сейчас:  
И дом не тот. И человек другой.

Перевела Валентина ЕЛИЗАРОВА

Вениамин АЙЗЕНШТАДТ

\*\*\*

В калошах на босу ногу,  
В засаленном картузе  
Отец торопился к Богу  
На встречу бывших друзей.

И чтоб казаться дотошным  
В неведомых небесах, —  
С собой прихватил он кошку,  
Окликнул в дороге пса...

А кошка была худю,  
Едва волочился пес.  
И грязною бородою  
Отец утирал свой нос.

Робел он, робел немало,  
И слезы тайком лились, —  
Напутственными громами  
Его провожала высь...

Процессия никудышных  
У божьих застыла врат...  
И глянул тогда всевышний  
И вещей потупил взгляд.

— Михоэл, — сказал он тихо, —  
Ко мне ты пришел не зря...  
Ты столько изведал лиха,  
Что светишься, как заря.

Ты столько изведal бедствий,  
Тщедушный мой богатырь...  
Позволь же и мне согреться  
В лучах твоей доброты.

Позволь же и мне с сумою  
Брести за тобой, как слепцу,  
А ты называйся Мною —  
Величье тебе к лицу...

## НА МОТИВ ТЮТЧЕВА

Арвид СКАЛБЕ

О, посмотрите, как оно  
К закату клонится с трудом,  
Как бы уйти принуждено  
За темный бор, в свой грустный дом.

Садится, алое, в тоске  
И дверь не хочет запирать,  
И жизнь висит на волоске,  
Взойдет ли поутру опять?

И Моцарт, зла не помня вновь,  
Звучит во тьме, на склоне дня.  
И вы так юны, но любовь  
Закатная не для меня.

Перевел Александр КУШНЕР

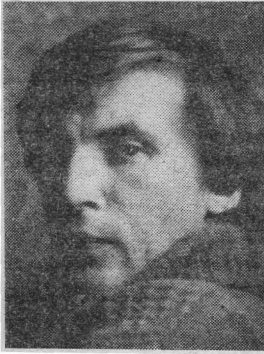
Владимир ЕРЕМЕНКО

\*\*\*

Есть тайна дней  
В дремотной складке дюн.  
Когда парит над ней  
Туман-колдун.

Бесправен счет,  
И неозначен свет.  
Земля живет.  
А человека — нет.

Бесстрастно строг,  
Глазами в синеву,  
Проходит Бог  
И шевелит траву...



## ДВА ЭТЮДА, ПОВЕСТЬ

В "Даугаве" №1, 1991 г. мы опубликовали читательские письма, посвященные первой публикации молодого писателя — Игоря Галеева, появившейся на страницах журнала еще в 1990 году. Тогда же мы пообещали, что будем сотрудничать с этим автором и впредь. Сегодня мы исполняем это обещание. Но прежде процитируем еще одно письмо, пришедшее издалека — и теперь уже из другой страны...

Вера Соловьева из Хабаровска писала нам (мы получили ее письмо в те времена, когда в рижский Дом печати уже пришли омонковцы с автоматами): "Как здорово, что "Даугава" открывает для читателей новые имена в то время, когда пробиться им сквозь возвращенную литературу так трудно!.. А к тому же оказалось, что И. Галеев — с Дальнего Востока."

Существует черный юмор, — в рассказах (этюдах) Игоря Галеева "Ромодановские дворики" возникает, по-моему, некая черная ирония. Черный цвет, оказывается, имеет множество оттенков: начиная с сумерек, сгущается, переходя в беспросветную черноту ночи (в интермедии "Роза, береза, мак, василек, кашка, ромашка, алый цветок"). Хотелось бы познакомиться с другими произведениями И. Галеева. Если журнал предоставит такую возможность, он, я знаю, обрадует не только меня, но и моих друзей из молодежного пацифистского "Альтернативного движения". На очередной встрече в библиотеке неформальной литературы, где высоко котируется "Даугава", я услышала от них много восторженных слов о "Ромодановских двориках". Правда, только я одна не поленилась взяться за перо и попытаться выразить свое впечатление на бумаге".

*Об авторе.*

Игорь Валерьевич Галеев родился в 1959 году в поселке Маго на Нижнем Амуре. Работал в школе. После четырех курсов журналистики был изгнан из Владивостокского университета — как он пишет, "за все хорошее". Три года мел улицы Магадана, откуда, по его словам, "мигрировал в среднюю полосу России". Написал четыре книги и пьесу. Первая публикация — в журнале "Даугава", №6, 1990 г.

Не мешает, наверное, заметить, что публикуемые тексты получены редакцией задолго до августа 1991 года, а написаны и того раньше.

## ГОЛУБЫЕ БЕРЕТЫ

Голубых, оказывается, много. Я и не подозревал. И вот уже куда я ни плюну — слюна окрашивается в голубой цвет. И что же случилось с дорогим нам отечеством? Отчего все более доминирует голубизна, если остатки синего неба день ото дня загаживаются черным дымом тепловых станций и ядом выхлопных газов? Или организм человека настолько перестроился, что изменил цвет крови? Я долго гадал. Я наблюдал за голубыми страданиями и слышал, что этих, как и людей с берегов Иордана, хотят обвинить во всех бедах дорогого нам отечества. Это не зубоскальство — это действительная тревога за наш и без того истерзанный генофонд. Вздрогни, человек! Была уже война белых с красными, красных с черными. Война с голубыми превратит тебя в монстра, стучащего на барабане от тоски по иным мирам.

Не ведаю, как у проклятых буржуинов, но у нас голубая ситуация идет вглубь, вкривь и вкось. Ученые мужи говорили мне, что это от природы. И я внимал. Но потом понял, что от природы — мизерный процент, который по традиции можно обозвать врожденной патологией. И я настолько поумнел, что уразумел — беда не от страха беременности, а от той среды, когда нет возможности нормально любить, когда такая теснота, столько заключенных, такой жилищный кризис, и любовь становится слепа настолько, что можно, действительно, полюбить и козла. Но это я сам был слеп и рассматривал лишь второстепенные причины этого явления. Позже я уверовал, что многие свихиваются на почве эстетики — по крайней мере, люди искусства настаивают на этом. Вот некоторые их отправные точки: нарциссизм, эгоизм, красота своего тела, вообще красота форм, тщеславные думки о себе оборачиваются желанием обладать собственным полом или испытывать желание быть желаемым. Людей искусства у нас принято уважать — хотя бы за то, что они иногда получают кучу денег. Вот и я прислушивался к их мнению. Они еще мне пояснили: есть голубое скотство и — возвышенная голубая любовь, и абсолютно все склонны, создай только ситуацию. И я успокоился, и мой ум увлекся иными загадками природы.

Но по мере усвоения информации мне стала открываться основная причина голубой эпидемии. Я увидел молодую поросль, прорастающую в интеллектуалы. И это прорастание, этот поиск нравственной опоры для определения зла и добра так корежили и ломали хрупкие сознания, что многие стали утрачивать ощущение своей целостности и не находили по ночам самих себя в своих же постелях. Метастазы тоталитаризма — вот основная причина голубой катастрофы. О чем спорить, — если в великой империи женщина считалась средством производства, то спрашивается: что делалось с мужчиной? с тем интеллектом, что самой природой призван оплодотворять общество гениальны-

ми идеями, своей любовью, своей мужской гордостью и пытливым воображением! И вот уже мужчина — это кадр, частичка киноплёнки, смонтированной руками кастрированного вождя-мужикоборца. Мужчина — это энтузиазм масс: толпа, где уже не отличишь себя от соседа. Мужчина — это солдат, под страхом смерти подчиняющийся любым приказам. Мужчина — это раб с этикетками: рабочий, колхозник и трудовая прослойка интеллигенции. Мужчина — это чиновник, виляющий задом и исполняющий любые желания хозяина. Мужчина — это жлоб с буграми бицепсов и аэробикой фаллоса. И если бы я был знатоком эпохи террора, я наскреб бы еще сотню эпитетов, заменяющих слово "мужчина". Но если по правде, — мне от всего этого становится тошно, и я умываю руки.

## ПОДАРОЧЕК

*(Выразительно, не торопясь)*  
*... Хотел я выпить за здоровье,*  
*А должен пить за упокой.*

Вот он, "комплект из 12 листовок", 1984 года издания, ценою 1 руб. 54 коп., — "Песни военных лет" называется. Читаю во вступительной статье: "Песни Великой Отечественной войны занимают особое место в ..."

Да. Эти песни заняли особое место и в моей биографии. И я очень хорошо понимаю чувства тех, кто воевал:

И каждый думал о своей,  
Припомнив ту весну,  
И каждый знал — дорога к ней  
Ведет через войну.

13.06.85 г. три отважных чекиста подарили мне этот комплект в красной суперобложке. Что вы, что вы! Я не выполнял особых заданий, я даже подвига никакого не совершил. И уж поверьте на слово, не состоял в сексотах. Я был простым магаданским дворником. Правда, я мел стратегическую центральную улицу и нелегально работал в трех местах (и везде дворником), но уж конечно не за это я удостоился такого подарка в день своего рождения в последний год "эпохи застоя". Я собирал безобидные магаданские "бычки", выметал незасекреченный магаданский мусор и спасался от этого кошмарного города писанием стихов и прозы. Но они на меня вышли...

Ах, Магаданское Г.Б. (по старой памяти, разреши мне на "ты")! Почему ты так жестоко ошиблось? Ну зачем ты приняло меня за несоветского агента? Зачем изымало мои кровные рукописи, вызывало соседей, ночевало у моего подъезда, следило и беседовало даже с тещей? Неужели у тебя не было более серьезных дел, и ты лезло в мою переписку и мучило моих знакомых во Владивостоке, Хабаровске и Моск-



ве? Ну зачем ты прожигало народные деньги и приглашало на беседы со мной психиатра и знатока юриспруденции, заставляло читать мои вирши лучших северных пиитов? Вот эти жгучие вопросы посещали меня, пока я перечитывал песни из твоего подарка. И еще я вспоминал их, мерзнувших у моих дворничьих участков.

*(Подвижно)*

Бессменный часовой  
Все ночи до зари,  
Мой старый друг, фонарик мой,  
Гори, гори, гори!

Я видел твои непреклонные лица, Г.Б.:

Не смять богатырскую силу.  
Могуч наш заслон огневой...

Я ходил по вечернему Магадану, а сзади маячил твой силуэт:

Смерть не страшна,  
С ней не раз мы встречались в степи.  
Вот и теперь  
Надо мною она кружится...

Нет, я не обижался, когда ты допытывалось:

Так скажите хоть слово  
Сам не знаю о чем.

И поверь мне, Г.Б., даже когда в минуты простительных затмений ты навешивалось надо мной и произносило устрашающе: "В глаза смотреть, я сказала — в глаза!", я не думал, что

Как два различных полюса,  
Во всем враждебны мы.  
За свет и мир мы боремся,  
Они — за царство тьмы.

Ведь тогда ты уже подарило мне эти песни и выразило надежду, что "именинник станет хорошим литератором и порадует своими произведениями..." (кстати, там было написано: Вальерьевичу, — но думаю, что это не в насмешку, а просто от физической невозможности заниматься еще и великим и могучим русским языком). И никак я не могу допустить, что ты издевалось надо мною, вызвав меня в день рождения и сделав мне этот подарок. Ты всего и хотело, чтобы я, такой способный, не работал дворником. И ты знало, что

*(В темне вальса)*

Покидая ваш маленький город,  
Я пройду мимо ваших ворот.

Я прошел мимо твоих ворот. Я сфотографировал тебя на память. И образ твой — в сердце моем.

Вот перебираю листики с песнями и недоумеваю: почему ты до сих пор считаешь мои труды "порочащими"? Или тут опять же как в песне:

*(Умеренно)*

И подруга далекая  
Парню весточку шлет,  
Что любовь ее девичья  
Никогда не умрет... ?

Давно настало мирное время. И я могу клятвенно и без всякой там "заведомой лжи" заявить, что ныне не бьют, что 13.06.85 г., да и потом никто не размазывал мое лицо о бетонную стену...

Я-то вынес твой незабываемый урок и твержу твои песни наизусть, а ты? Все так же хранишь в своих архивах мои горемычные произведения? Ах, зачем, Магаданское Г.Б.? Почему ты не хочешь мне их вернуть или хотя бы возместить мне их стоимость? Почему ты все еще не разрешаешь мне их распространять? Ведь тогда, при расставании, мы дружно решили, что

Пусть свет и радость прежних встреч  
Нам светят в трудный час.  
А коль придется в землю лечь,  
Так это ж только раз!

И совсем я не держу мысли, что ты оставило мои папки в качестве возмещения за подарок (1 руб. 54 коп.) или для того, чтобы когда-нибудь мы встретились вновь: во-первых, мои рукописи бесценны (по крайней мере, для меня), во-вторых, статьи, что мне вменялись, ликвидированы как атавизм, к примеру, как человечесий хвост.

Я догадываюсь, Магаданское Г.Б., тебе нужно взять себя в руки и привести дела в надлежащий вид. Долги отдать, от лишнего избавиться, а устаревшее — сжечь.

Ты меня ждешь и у детской кровати не спишь,  
И поэтому, знаю, со мной ничего не случится!

И отдохнуть, отдохнуть тебе пора. Ты так устало не спать у детской кровати!

А я... Я — что? Я все прощу. Ты не думай, что теперь все так просто. Я вот до сих пор не сумел оправдать твои надежды и "порадовать старых северян своими произведениями". Наверное потому, что не пишу о твоей революционной юности, ты же сейчас в моде. И уж извини, не обращаюсь пофамильно. Отважные чекисты, подозреваю, лучше умеют стрелять от бедра, чем разборчиво подписываться...

Я ставлю твой подарок на видное место и завещаю его потомкам. Пусть помнят о твоём музыкальном даровании. Пусть знают, как мы "по-родственному" (помнишь эту фразу?) ходили друг к другу "беседовать".

Эх, дороги...  
Пыль да туман,  
Холода, тревоги  
Да степной бурьян.  
Снег ли, ветер,

Вспомним, друзья...  
Нам дороги эти  
Позабить нельзя.

Примечание:

Я уж было точку поставил, но вдруг заметил, что та же вступительная статья к комплекту заканчивается удивительно и актуально. Цитирую. "Интересна судьба песни "Дороги", как бы подытожившей события военных лет. Авторам была заказана песня "Весна победная". Композитор А.Новиков и поэт Л.Ошанин создали удивительно теплую и сердечную песню-раздумье, воспоминание о пройденных путях-дорогах, об оставшихся на поле боя. Миллионы фронтовиков и тружеников тыла приняли ее как свою. Минули годы и десятилетия. Но и сейчас ветераны и молодежь с глубоким волнением обращаются к песням, помогавшим громить врага, песням, запечатлевшим пафос и величие огненных лет..."

Нет, ну каково, а?! Ты просто колдун, нет, больше, ты — кудесник Кашпировский, ты замечательный провидец, Магаданское Г.Б.! Ах ты, скромник, ведь еще тогда ты давало мне намеком понять, что это ты готовишь бурю перемен. Как я не раскусил! Как я был молод! Ай-яй-яй-яй... У меня просто нет слов!

## ДЛИНЮЮ В РОСТ СПАСИТЕЛЯ

### Шабаш

"Шел я, сеньор инквизитор, полем рано утром три дня назад. Вдруг появилась прекрасная девушка, идет ко мне, красивая очень. Подошла ко мне и вдруг превратилась в огромного поганого козла, и на меня бросается козел сей. Несчастный я человек, сеньоры, вышло так, что козел этот душу мою забрал, в образе соблазнительном явился.

Вот взял тот козел, что оказался дьяволом, меня на шабаш. На третью ночь, уважаемые сеньоры, это случилось. Прилетели мы, увидели, что уже отплясывает дьявольское воинство, друг к дружке спинами повернувшись. Дьявол, что козлом снова предстал, толкнул меня в круг и исчез на время.

Тут замечаю я, что подлетает ко мне ведьма на помеле. Толстая она, сбитая, коротконогая ведьма. Сияет она, чертовка, довольная, очень мне кого-то как будто напоминает. Чашу полную зелья дымящегося протянула, "пей", — говорит. Беру, пью я и страстью наполняюсь. Чувствую: ноги делаются железные, мышцы играют, живот тугой, упругий, ягодички крутые, конем себя почувствовал. Ужасное зелье! А ведьмины руки одежду снимают. И ничего я, сеньор инквизитор, поделывать не могу. Сладко и горько мне, признаюсь, было.

А потом крики отовсюду послышались. Появилась, как ее все там называли, великолепная божья обезьяна. Я так думаю, что это опять

дьявол был. Вот она, поверьте мне, дразнится и держится эдак очень величественно. Все ею безмерно восхищались, и делалось сие существо то инкубусом, то суккубусом. После чего вся нечисть осталась довольна, и последовали мы за обезьяной вокруг того места с криками и громко восхваляли ее.

Потом эта божья обезьяна преобразилась, предстала перед нами волосатым чудовищем, с козлиными копытами, крыльями летучей мыши, с длинным безобразным хвостом. Затрепетали мы, колдуны и ведуньи, закланялись чудищу спинами.

Подзывает вот оно, это чудище, меня пальцем, раба божьего, чтобы принять в войско сатанинское, верноподданническую присягу прочесть не по воле своей. Заставляют они меня плюнуть на крест и потоптать гостию. Потом я, несчастный, богом покинутый, троекратно поцеловал повелителя гнусного в зад и в каждую ноздрю по два раза, услышал голос его страшный:

"Проси, неофит!"

Попросил я:

"Придай мне силы и мощи!"

И тут же я почувствовал, что наполняется душа моя радостью и дерзостью, пускаюсь я в пляс бешеный, и твердость и смелость во мне безмерная. Не прогневайтесь, околдовала меня нечистая сила!

Зажглись после моей присяги огоньки зеленые, осветили яства гадкие, зловонные. Отвратительную, бесчеловечную пищу. Были там и жабы свежие, печень, сердце, мясо детей некрещеных.

Пили и ели вдоволь. Запивали чем-то. И я, признаюсь, не отставал, бога забыл...

Наелось вдоволь дьявольское воинство, и начался потом невиданный великий блуд.

Тут уж я сам растворился в видимом мною, ничего не помню, ододела меня нечисть, чувствую, но не мыслю.

Пришел я в себя, когда божья обезьяна, пресытившись и икая, начала кривляться и богохульствовать. Все радовались, топтали кресты, пели ересь, плевались, подражая мерзкому повелителю. Потом сатана этот повелел всем убраться. Не помню уж какая сила меня на метлу посадила, умчала в черное небо, и исчез я в нем вслед за другими ведьмами и колдунами.

Сеньор инквизитор, сеньоры уважаемые палачи! Околдован я был! Каюсь и во искупление грехов признаюсь! Знаю и могу указать в округе нашей на 663 колдуна и 1020 ведьм! Сеньоры!"

Сплошная беспросветная темнота, ужас и шепот в беспомыслии:

"Изыди, злой дух, полный кривды и беззакония; изыди, исчадие лжи, изгнанник из среды ангелов; изыди, змея, супостат хитрости и бунта; изыди, изгнанник рая, недостойный милости божьей; изыди, сын тьмы и вечного подземного огня; изыди, хищный волк, полный невежества; изыди, черный демон; изыди, дух ереси, исчадие ада, приго-

воренный к вечному огню; изыди, негодное животное, худшее из всех существующих; изыди, вор и хищник, полный сладострастия и стяжания; изыди, дикий кабан и злой дух, приговоренный к вечному мучению; изыди, грязный обольститель и пьяница; изыди, корень всех зол и преступлений; изыди, изверг рода человеческого!"

Шепчет так он и уходит, смывается из памяти увиденное, в котором он невиновен. И тогда совсем он успокаивается, подтягивает ноги к теплomu животу, цепями звякая, кутается в солому и спит, спит.

## Допрос

Привели Андриано. Держится Андриано свободно, разве бледен немного. С вежливой улыбкой спрашивает его инквизитор Бернар Ди:

"Зачем вас привели ко мне?"

"От вас ожидаю этого ответа, сударь", — отвечает с такой же улыбкой Андриано.

"Хм. Я обвиняю вас в том, что вы еретик. Что вы веруете и учите не согласно с верованием и учением святой церкви".

"Сударь, — обиженно восклицает Андриано. — Вы знаете, что я не виновен, я не исповедовал никакой веры, кроме истинно христианской!"

"Вы называете вашу веру христианской потому, что считаете нашу ложной и еретической, но я спрашиваю вас: не принимали ли вы когда-либо других верований, кроме тех, которые считает истинными римская церковь?"

Андриано упорно и внятно отвечает:

"Я верую в то, во что верует римская церковь и чему вы публично поучаете нас".

"Быть может, — кивает инквизитор, — в Риме есть несколько отдельных лиц, принадлежащих к вашей секте, которую вы считаете римской церковью. Когда я проповедую, говорю многое, что у нас общее с вами, например, что есть Бог, и вы, естественно, веруете в часть того, что я проповедую. Но в то же время вы можете быть еретиком, отказываясь верить в другие вещи, которым следует веровать".

"Я верую во все то, во что должен веровать христианин". — Андриано все больше бледнеет.

"Э-э, я эти хитрости знаю! Вы думаете, что христианин должен веровать в то, во что веруют члены вашей секты? Но мы лишь теряем время в подобных разговорах. Скажите прямо: веруете ли вы в Бога-отца, Бога-сына и Бога-духа святого?"

"Верую!" — чуть не кричит Андриано.

"Веруете ли вы в Иисуса Христа, родившегося от пресвятой девы Марии, страдавшего, воскресшего и восшедшего на небеса?"

Андриано быстро:

"Верую!"

"Веруете ли вы, что за обедней, совершаемой священнослужителями, хлеб и вино божественной силой превращаются в тело и кровь Иисуса Христа?"

Андреано настаивает:

"Да разве я должен верить в это?"

"Ну вы же грамотный человек, — улыбается инквизитор, — я вас спрашиваю не о том, должны ли вы верить, а веруете ли?"

Андреано торопливо:

"Я верую во все, чему приказываете верить вы и хорошо ученые люди".

Инквизитор кивает:

"Эти хорошие ученые люди принадлежат к вашей секте; если я согласен с ними, то вы верите мне, если же нет, то не верите".

Голова у Андреано кружится.

"Я охотно верую, как вы, если вы поучаете меня тому, что хорошо для меня".

Инквизитор, твердо и однотонно:

"Вы считаете в моем учении хорошим для себя то, что в нем согласно с учением ваших ученых. Ну хорошо, скажите, верите ли вы, что на престоле в алтаре находится тело господина нашего Иисуса Христа?"

Андреано отворачивается и кричит резко:

"Конечно, верую этому!"

"Так. Вы знаете, что там есть тело и что все тела суть тело нашего Господа. Я вас спрашиваю: находящееся там тело есть истинное тело Господа, родившегося от девы, распятого, воскресшего, восшедшего на небеса и тому подобное?"

Андреано заглядывает в глаза инквизитору:

"А сами вы верите этому?"

"Верю".

Андреано вздыхает:

"Я тоже верую этому".

Инквизитор без перемен:

"Вы верите, что я верую, но я вас спрашиваю не об этом, а о том, верите ли вы сами этому?"

Андреано не сдерживается:

"Если вы хотите перетолковать все мои слова по-своему, а не понимать их просто и ясно, то я не знаю как еще говорить. Я человек простой, я убедительно прошу не придирайтесь к словам".

"Если вы человек простой, то и отвечайте просто, не виляя в сторону".

"Я готов", — подобрался Андреано.

"Тогда не угодно ли вам поклясться, что вы никогда не учили ничему, несогласному с верой, признаваемой нами истинной?"

Побледнел Андриано.

"Если я должен дать присягу, то я готов поклясться".

"Я вас не спрашиваю о том, должны ли вы дать присягу, а о том, хотите ли вы дать ее".

Андриано пугается:

"Если вы приказываете мне дать присягу, то я присягну".

"Нет, — шутя грозит пальцем инквизитор, — я не принуждаю вас давать присягу, ибо вы, веря, что клясться запрещено, свалите грех на меня, который принудил бы вас к нему; но если вы добровольно желаете присягнуть, то я приму вашу присягу".

"Для чего же я буду присягать, если вы не желаете приказывать этого?"

"Для того, чтобы снять с себя подозрение в ереси".

Андриано молчит. Он окончательно сбит с толку. Что отвечать? Голова гудит.

«Без вашей помощи я не знаю, как приступить к этому".

Инквизитор встает и говорит торжественно:

"Если бы мне пришлось произносить присягу, то я вот так бы поднял руку, сложил бы пальцы и сказал: «Бог мне свидетель, что я никогда не следовал ереси, никогда не верил тому, что несогласно с истинной верой»".

"Да будет мне свидетель Бог, что я не еретик", — бормочет торопливо Андриано.

Усмехается инквизитор такой клятве, от этой усмешки Андриано совсем теряет ся.

"Если я согрешил, то я согласен покаяться; помогите мне смыть с себя несправедливое и недобросовестное обвинение!"

"Поклянетесь?"

"Да!" — кричит Андриано.

"Но, — говорит инквизитор, — если вы собираетесь дать присягу для того, чтобы избежать костра, то ваша присяга не удовлетворит меня ни десять, ни тысячу раз, ибо вы в своей секте взаимно разрешаете друг другу известное число клятв, данных в силу необходимости. Ведь так? Кроме того, если я имею против вас, как думаю, свидетельство, расходящееся с вашими словами, ваши клятвы не спасут вас от костра, вы только оскверните вашу совесть и не избавитесь от смерти. Но если вы просто создаетесь в ваших заблуждениях, то к вам можно будет отнестись со снисхождением".

Согласен с этим Андриано.

Тогда инквизитор читает клятву, и Андриано повторяет:

"Я клянусь и обещаю: до тех пор, пока смогу это делать, преследовать, раскрывать, разоблачать, способствовать аресту и доставке инквизиторам еретиков любой осужденной секты, в частности такой-то (это для примера, — пояснил инквизитор, — не повторяй), их, "верующих" (по их мнению, — объяснил инквизитор), сочувствующих, по-

собников и защитников (всех, одним словом), а также всех тех, о которых я знаю и думаю, что они скрылись и проповедуют ересь, их тайных посланцев, в любое время и всякий раз, когда обнаружу их".

"Когда обнаружу их", — закончил Андриано.

"Ну вот, — сел инквизитор, — а теперь говори".

"Что?" — испугался Андриано.

"О чем он говорил, — поднял брови инквизитор, — ты что же это?"

"Кто?!"

"Так, — повысил голос инквизитор, — ну ладно, поясню. Человек по прозвищу Книжник был у тебя?"

"А, был, был! Заходил. Обедал и ушел".

"И ушел?" — пристально посмотрел инквизитор.

Закивал Андриано. Да, мол, и ушел, не оставаясь.

"Как его звать?"

"Гонсалес Ильма. Он говорил, из доминиканцев".

"Что еще говорил?"

"Ничего такого..."

"Поел и ушел?"

"Да".

"А книга?"

"Что книга?"

"Так, — встал инквизитор, — дал клятву, а теперь юлить вздумал. Ты не мне, Богу клятву давал! — громыхнул он во весь голос. — Нам известно, что книгу..."

"Кто! Ну кто сказал!" — кричит Андриано.

"Э-э, — тянет довольный инквизитор, — этого ты никогда не узнаешь".

"Я не помню, — бормочет Андриано, пытаюсь вспомнить всех, кого в последнее время знал и видел, — я не знаю, может, Книжник случайно и оставил какую книгу?"

"На то он и книжник, чтобы их оставлять, — смеется инквизитор, — что, он Бога хулил, власти оплевывал? Припомни".

"Нет! — что-то вдруг вспомнив, оживляется Андриано. — Ничего не оставял Книжник! Не хулил, не говорил ни о чем таком!"

"Хо-ро-шо, — медленно цедит инквизитор, — годами, слышишь, — годами! сидят под следствием, жены и дети пухнут от слез, крысы и цепи, хлеб и вода, молитвы и болезни. Проходит жизнь и все равно сознаются. Но все это уже после дознаний под пытками, которым ты еще по моей жалости не был подвергнут. Что-то в тебе есть такое, дорогое мне, близкое, потому я с тобой вожусь так долго, хотя ты уже еретик!"

"Как?! Нет! Нет! Я простой..." — кричит Андриано.

"Да, Нунес, подумай, зачем тебе гибель и муки, когда все впереди, и ты, как я уже говорил, мог бы иметь добротный дом, свободу, власть,



доход. Подумай о своей участи. Зачем тебе Книжник и его книги? Ты и не жил совсем".

"Я и не жил совсем", — подумал Андриано.

"Ты так молод, так чист. Какие мысли, какая ересь? Это у Книжника вера и учение".

"...какая ересь? Это у Книжника вера и учение..."

"Ты и не определился еще. Есть вера, и ты веришь в нее, клятву вон дал от души. А что там Книжник оставил и говорил, мы можем и без тебя узнать, но важно, чтобы с тобой, чтобы именно ты сказал о нем. Для тебя важно, и для Бога, разумеется".

"Для меня важно. И для Бога, разумеется", — кивал Андриано.

"Поклянись-ка еще на всякий случай".

Вновь Андриано вторит инквизитору:

"Клянусь, что верую в своей душе и совести и исповедую, что Иисус Христос и апостолы во время их земной жизни владели имуществом, которое приписывает им Священное писание и что они имели право это имущество отдавать, продавать и отчуждать".

"Отлично! — подхватил инквизитор. — А то нынче говорят, что мы веру продали, что Бог-сын всякую дрянь ел и ничего не имел. Родственником хочешь стать?" — смотрит инквизитор понимающе.

"Хочу", — кивает Андриано и чувствует, что взмок от головы до пят.

### Испытание тисками и огнем

"Ты грамотный, — сказал инквизитор Андриано, — сможешь писать? Пальцы как?"

"Смогу".

"Пойдем".

Прошли в просторное помещение. Ничего лишнего.

"Уже? — подумал Андриано, — но при чем грамотность?"

"Сюда садись, — показал инквизитор, — вот бумага. Хотя тебя не принуждают".

"А что писать, Ваше Преосвященство?"

"Для начала перепиши это, а потом посмотрим".

Переписал Андриано чисто десять раз:

"Требуем и призываем вас сообщить нам о лицах, живущих, присутствующих или умерших, о которых вы знаете или слышали, что они сделали или сказали что-либо против нашей святой католической веры или против того, что приказывает, устанавливает Священное писание и евангельский закон, святые соборы и общая доктрина отцов церкви, или против того, что представляют и чему учат священная католическая церковь, ее порядки и обряды.

Приказываем вам заявить и рассказать нам все, что вы знаете, сделали или видели, что другие делали или слышали от других о вещах

вышеназванных и провозглашенных, или о любом другом деле, какое бы значение оно ни имело, но относящемся к нашей святой католической вере, рассказать нам как о живых, присутствующих и отсутствующих, так и об умерших, с тем чтобы истина стала известной и виновные были наказаны, а добрые и преданные христиане проявили бы себя и были бы вознаграждены, а наша святая католическая вера укреплена и возвышена".

"Так, — посмотрел инквизитор, — очень неплохо. Теперь пиши, что увидишь и что услышишь".

Затем привели женщину, толстую, коротконогую, странно кого-то напоминающую. Ее раздели и обрили, не оставив на теле ни волоска. Сатанинскую грамотку в тряпье поискали. Не нашли. Но на теле обнаружили три пятна, под левой лопаткой два и одно под мышкой.

"Ага", — сказал инквизитор, а Андриано записывал:

"Давно ли праздновала свадьбу с приятелем?" — спросили.

Не ответила.

"Какая свадьба была? Какие блюда подавались?"

"Отпустили бы вы меня, люди добрые, — сказала, — ничего я не знаю, не виновата, неграмотная я".

"Расскажи о приятеле, — сказали, — покайся".

Молчит.

Дальше были вопросы, на которые служанка дьявола не ответила:

"Как лишала молока коров? Напускала гусениц и туман? Что при этом использовала? Какой заключила союз с приятелем? Какую ему клятву дала? В чьем присутствии? Получил ли приятель от нее письменное обязательство? Пожелал ли он брака или простого распутства? Какие у него были ноги? Копыта? Где ночной порой совершались пирушки? Сколько малых детей съедено? Где они были добыты? У кого взяты или вырыты на кладбище? Как их готовили — жарили или варили? На что пошли голова, ножки, ручки? Не добывали ли они детское сало? На что оно? Поднимать бури? Сколько родильниц было изведено? Сколько выкопали выкидышей и на что они пошли? Летала? Как готовится мазь для полетов? Из чего? Какого она цвета? Нужно для этого варить или жарить человеческое мясо? Из живых людей или из мертвых? В мазь добавляется человеческая кровь, папоротниково семя, а что еще? Можно ли при помощи мази делаться невидимой? Напускала морозы, бури и туманы? Какой был от них вред? Кто в этом участвовал? Где брали уродов для подмены в колыбель на место здорового младенца? Как молоко у коров превращала в кровь? Как старых и молодых лишала потомства? Как им теперь помочь? Можешь ли помочь?"

Она не ответила.

Инквизитор сказал:

"Позовите мастера Ой-ой, нашего милого мальчика-щекотуна, пусть он пощекочет стакнувшуюся чертову женку чистенько и акку-

ратненько по всем правилам искусства: тисочками на ручки и ножки, лестницей и козлом".

Привязали к ней ленту длиною в рост Спасителя, что тяжелее всех цепей, напоили водой. Взяли в тиски пальцы.

"Расскажешь?"

"Не знаю я ничего", — ответила.

Сдавили сильнее. Завращала глазами.

"Ищет дьявола", — пояснил инквизитор.

Сдавили сильнее.

Напряглась и смотрит в одну точку.

"Увидела дьявола, — сказал инквизитор, — говори".

Застонала.

Решили мозжить ноги.

Стали мозжить ноги и сдавили сильнее.

Жалобно завопила. Сказала, что все расскажет. Она пьет кровь детей, которых ворует, семь младенцев съела живьем.

Перестали давить. Завращала глазами. Сказала, что от муки наговорила.

Снова вложили в тиски ноги. Созналась.

"Сорок лет распутничала со множеством чертей, которые являлись ко мне в виде червяков и блох, а то в виде кошек и собак. Я погубила смертью 240 человек, старых и молодых; я родила от своих чертей 17 душ детей, всех и х убила, съела и х мясо и выпила и х кровь. Постоянно летала на шабаш. За 30-40 лет я периодически поднимала в округе бунты и девять раз наводила огонь на дома. Я хотела спалить наш город, но демон, который зовется Андриан, мне не велел, говоря, что он много еще тут женщин сумеет обратить в ведьм и заставит служить себе, как Богу".

Замолчала.

"Как его вызвать?" — спросил инквизитор.

Молчала.

Вздернули на дыбу, поднесли огонь.

Подпалили.

Молчала.

Увидели, что мертва.

"Дай посмотрию, как записал", — сказал инквизитор.

Посмотрел и сказал:

"Мало и не детально, но ничего. Теперь делай заключение:

"Дьявол не захотел, чтобы она еще что-нибудь выдала и ради того свернул ей шею".

Отвели бедного Андриано на прежнее место.

Свидетельство

"Ты все еще думаешь, что мы без тебя ничего не узнаем? — спросил

инквизитор и показал рукой на стол. — Вот лежит бумага, можешь прочесть и убедиться, что у нас всюду глаза и уши. Потому что мы поступаем во имя Божье и Его рукою ведомы. Я бы мог обойтись и без твоего свидетельства, но... Читай".

Берет Андриано документ. Читает:

"Я, Альфонсо Кастро, сын светлейшего Мануэля Куадрос, доношу по долгу совести и по приказанию духовника о том, что много раз слышал от Гонсалеса Ильмы, когда беседовал с ним в своем доме, что когда католики говорят, будто хлеб пресуществляется в тело, то это — великая нелепость; что он не видит различия лиц в Божестве, и это означало бы несовершенство Бога; что мир вечен и существуют бесконечные миры, что Христос был простым человеком и теперь обманут, как и исковеркано учение его; что души, сотворенные природой, переходят из одного существа в другое; что папа и священники не есть служители Бога и его ставленники на земле, что они давно предали дело Христа и потому они слуги страстей и дьявола; что простой народ обманут и забит, держится в пьянстве и нищете, дабы горстке церковных псов жилось привольно; что служители церкви использовали слово и величие Христа для своей выгоды и улажнения пороков.

Он рассказывал о своем стремлении стать основателем секты под названием "Новая философия". "Церковные иерархии выдают себя за наследников — апостолов Христа? — вопрошал он меня и отвечал: — Если они ведут себя соответственно, то таковыми являются, если же наоборот, то они лжецы и обманщики". Он говорил, что дева не могла родить и что наша католическая вера преисполнена кощунством против величия Божия; что нужно прекратить богословское правление, отнять доходы у монахов, ибо они позорят мир; что все они — ослы; что все наши мнения являются учением ослов; что у нас нет доказательств, имеет ли наша вера заслуги перед Богом; что для добродетельной жизни достаточно не делать того, чего не желаешь себе самому.

Он высказывается нечестиво по отношению к небесам; он подрывает нерушимость веры и чистоту церкви; он преступает пределы, которые положили наши отцы, когда пишет и рассуждает о вере, о таинствах и о Святой Троице. В своих книгах он проявляет себя творцом лжи и создателем превратных догматов и выказывает себя еретиком не столько в заблуждениях, сколько в упорной защите ошибок. Он является человеком, преступающим веру свою и уничтожающим силу Христова Креста в мудрости слова.

Сперва я намеревался учиться у него, как уже показывал устно, не подозревая, какой он преступник. Я брал на заметку все его взгляды, чтобы донести Вашему Преосвященству, но опасался, чтобы он не уехал, как он собирался сделать. И так как считаю его одержимым демонами, то прошу скорей принять против него меры.

Могу так же указать к сведению святой службы на книгопродавца Сегарелли и Джакома Бертани, тоже книгопродавца.

Препровождаю также Вашему Преосвященству три его напечатанные книги. Я наспех отметил в них некоторые места. Кроме того, препровождаю написанную его рукой небольшую книгу о Боге, о некоторых его всеобщих предикатах. На основании этого Вы сможете вывести о нем суждение. Он посещал также местную академию, где собирались многие дворяне, они так же, вероятно, слышали многое из того, что он говорил.

Причиненные им неприятности не имеют для меня никакого значения, и я готов это передать на Ваш суд, ибо во всем желаю оставаться верным и покорным сыном церкви.

В заключение почтительно целую руки Вашего Преосвященства. Подписываюсь собственноручно, Альфонсо Кастро".

"Вот видишь, сын мой, все в твоих руках, подумай о своей душе. Один свидетель есть, будет, если потребуется, и второй. Его судьба предрешена. А ты все еще не понял. Я тут подготовил текст, еще не знаю, дать ему ход или не стоит...

Так слушай:

"Мы, божьей милостью инквизиторы, имярек, внимательно изучив материалы дела, возбужденного против вас, Андриано Нунес, и видя, что вы путаетесь в своих ответах, и что имеется достаточное доказательство вашей вины, желая услышать правду из ваших собственных уст и с тем, чтобы больше не уставали уши ваших судей, постановляем, заявляем и решаем применить к вам пытку".

Так-то, брат. Необходимо, чтобы ты сказал все, о чем тебя спросят. И я верю, что не случится, что ты что-то утаишь, а кто-то добавит. Так как, он оставил у тебя книгу?"

## Аутодафе

По украшенным улицам везли Гонсалеса Ильму, по прозвищу Книжник, на площадь.

Сквернословили, грозили, но не бросали в Ильму камнями, боясь попасть в солдат из милиции Христа, обступивших еретика на колеснице.

На площади Ильму ввели на помост, усадили на скамью позора.

Началось главное празднество. Инквизитор прочел исповедь:

"Главная обязанность судилища инквизиции состоит в том, чтобы защищать дело и честь Бога против хулителей, чистоту святой католической религии против всякого зловония и ереси, против всех, кто сеет схизму, будь то в учении или в лицах и делах ее. Инквизиции всегда подобает бодрствовать на страже неприкосновенности церкви и прав святого апостолического престола.

Мы всегда будем приветствовать тайных шпионов из числа людей,

которым можно доверять. Они должны сообщать о соблазнах, имеющих место в городе как среди мирян, так и среди духовных лиц, о кощунствах и других преступлениях против святых.

Сегодня мы можем сказать, что есть люди, которые с благородным рвением выявляют еретиков. Благодаря им был раскрыт и уличен тот, кого вы сегодня видите здесь на скамье позора.

Церковь милосердна к раскаявшимся, она заступает за отрекшихся и относится к любым еретикам с любовью и терпением. Да помнят отцы церкви, братья инквизиторы и прочие прелаты, что они пастыри, а не палачи, и да управляют они своими подданными, не властвуя над ними, а любя их, подобно детям и братьям; стремясь призывами и предупреждениями отделить их от зла, дабы не наказывать их справедливыми карами, если они совершат проступки; если все же случится, что из-за человеческой брэнности они совершат проступки, то их следует исправлять, как учил апостол, соблюдая доброту и терпение при помощи убеждений и горячих просьб; ибо во многих подобных случаях приносит пользу скорее благожелательство, чем строгость, призыв к исправлению, чем угроза, милосердие, чем сила; если же серьезность преступления требует наказания, тогда требуется применить суровость с кротостью, справедливость с состраданием, строгость с милосердием, для того, чтобы не создавая резких контрастов, сохранилась дисциплина, полезная и необходимая народам, и для того, чтобы те, кто наказан, исправились бы; если же они не пожелают этого, то пусть постигшее их наказание послужит другим оздоравливающим примером и отвратит их от греховных дел.

Сие событие печальное, достойное осуждения и презрения, подумать о котором даже страшно, попытка же понять его вызывает ужас, явление подлое и требующее всяческого осуждения, стало известно нам благодаря сообщениям достойных доверия людей и вызвало у нас глубокое удивление, заставило нас дрожать от неподдельного ужаса!"

"В костер! В костер его!" — закричали люди.

Поднял руку инквизитор, тихо стало на площади.

Зачитали приговор,

"Называем, провозглашаем, осуждаем тебя, брата Гонсалеса Ильму, нераскаявшимся, упорным и непреклонным еретиком. Твое учение глупо и абсурдно в философском и еретично в формальном отношении, так как оно явно противоречит изречениям святого писания во многих его местах, как по смыслу слов писания, так и по общему толкованию святых отцов и ученых богословов. Потому ты подлежишь всем осуждениям церкви и карам, согласно святым канонам, законам и установлениям, как общим, так и частным, относящимся к подобным явным, нераскаянным, упорным и непреклонным еретикам.

Ты должен быть отлучен, как мы тебя отлучаем от нашего церковного сонма и от нашей святой и непорочной церкви, милосердия кото-

рой ты оказался недостойным. Ты будешь извергнут из сана и предан светскому суду, дабы он покарал тебя подобающей казнью, причем усиленно молим, да будет смягчена суровость законов, относящихся к казни над твоей личностью и да будет она без опасности смерти и членовредительства.

Сверх того, осуждаем, порицаем и запрещаем все твои изречения и книги твои, и писания, как еретические и ошибочные, заключающие в себе многочисленные ереси и заблуждения. Повелеваем, чтобы отныне все твои книги, какие находятся теперь в святой службе и в будущем попадут в ее руки, были публично разрываемы и сжигаемы на площади святого Петра перед ступенями и как таковые были внесены в список запрещенных книг, и да будет так, как мы повелели.

Так мы говорим, возвещаем, приговариваем, объявляем, приказываем и повелеваем, извергаем, отлучаем, предаем и молимся, поступая в этом и во всем остальном несравненно более мягким образом, нежели с полным основанием могли бы и должны были бы".

Инквизитор умолк. Монахи и "родственники" приблизились к Ильме, призвали покаяться, примириться с церковью, отречься. Он отказался.

Андриано в щели из-под капюшона видел, как Книжник помотал головой, как из рук его при этом движении выпала маленькая зеленая свечка. Свечку вновь попытались вложить, но слабые пальцы Книжника не держали ее. Андриано отвернулся.

Зрители приветствовали решение инквизиции.

"Жаль, что на завтра костер отложили, боятся, что дождь сегодня будет, — сказал точь-в-точь такой же, как и Андриано, когда сходили с помоста, — лучше бы разом, маю ли что".

"Да, да", — поскорее ответил Андриано, пытаясь разглядеть и угадать по голосу, кто может скрываться под белым капюшоном.

Но ему не удалось опознать собеседника.

"Я так думаю, — продолжал тот низким голосом, — не стоит таких извергать из сана, ибо они давно уже самим богом отвергнуты. Сразу бы нужно на жаровню. А то, послушай, как бывает. Жгли раз одного. Все по-божески устроили. Возвели еретика на костер. Подпалили, все как обычно. И вот, уже будучи в огне, он громко воззвал: "Помоги, Асмодей!", и тотчас пламя погасло. Это случилось трижды. Наконец инквизитор догадался принести под туникой "Тело Иисуса Христа". Этого еретика вновь водрузили на костер и зажгли его. А он вновь призвал: "Асмодей, на помощь!" И было слышно, как носившиеся в воздухе демоны отвечали ему: "К сожалению, мы бессильны помочь тебе, ибо тот, кто теперь явился, сильнее нас!" Вот как! И только так удалось сжечь того еретика, а этот, я смотрю, посмирнее. Вознесется завтра его душа в вечные муки адовы! Но лучше б сегодня..."

"Н-да", — буркнул Андриано.

"Фискал! Книжника сожрал!" — услышал он за спиной.

Оглянулся — площадь была пуста.

"Пошли, чего ты там!" — позвал его незнакомец в белом капюшоне.

## Булла

"Вот такие дела, сын мой. Священная конгрегация римской вселенской инквизиции, наше священное судилище, действующее по сю и по ту сторону гор, дает новые указания. Надлежит исполнить их с подобающим рвением. Скажу честно, радует меня нынешний умный решительный подход. Давно пора! Мы начнем по новым требованиям с Ильмы. Тут есть места и непосредственно тебя касающиеся, послушай".

Инквизитор берет со стола кожаную папку, открывает, зачитывает:

"Злодейство преступников так велико, что они прилагают все больше усилий, стараясь помешать судьям выяснить их преступления. Подвергаемые допросу, они нагло отрицают свою вину. Ввиду этого возникла необходимость найти разного рода средства, чтобы вырвать истину из их уст. Таких средств три: присяга, тюремное заключение и пытка. По существу, следовало бы верить просто сказанному, но все без исключения люди так лживы, что было постановлено требовать присяги от обвиняемого, против которого имеются улики. Под угрозой обвинения в смертном грехе он обязан открывать истину.

Заставлять силой, не нанося членовредительства, и не ставя под угрозу жизнь, всех пойманных еретиков, как губителей и убийц душ и воров священных таинств и христианской веры, с предельной ясностью сознаваться в своих ошибках и выдавать известных им других еретиков, верующих и их защитников, так же как и воров и грабителей мирских вещей заставляют раскрывать их соучастников и признаваться в совершенных ими преступлениях.

Если же невозможно добиться истины посредством присяги и имеются серьезные улики, а преступление велико, то необходимо прибегать к тюремному заключению, которое дает три полезных результата: первое, если обвиняемый виновен, то заключение заставляет его сознаться в преступлении; второе, лишает его возможности узнать, что сообщили свидетели и опровергать их (это тебя касается); третье, препятствовать бегству.

Но если вышеуказанные действия не помогают (вот здесь как раз наш случай), то остается последнее — пытка. На основании имеющихся свидетельств о степени виновности, о переходе через грань, судьи могут налагать физические истязания, к числу которых относится воздержание, принуждение и тому подобное, пока он не сознается. Если против брата имеются свидетельства мирян, то на их основании его



нельзя судить (это к нам не относится), но можно подвергнуть пыткам и предать допросу... Ну, это пропустим.

Так, вот еще: кроме вышеуказанных оснований, по которым обвиняемого можно подвергать пыткам, имеются еще следующие:

во-первых, если обвиняемый колеблется как в форме изложения, так и по существу дела, сперва признает себя виновным, а потом отрицает, или сперва отрицает, а потом сознается, или если во время допроса говорит одно, а затем прямо противоположное (это как с тобой было);

во-вторых, если имеется достаточно достоверное свидетельство (с одним свидетелем его не возьмешь);

в третьих, если имеется хотя бы один свидетель, дающий достаточно порочащие показания (опять наш случай);

в-четвертых, если имеется один свидетель, подтверждающий обвинение (вот это четвертое как раз тебя непосредственно касается, — поднял палец инквизитор).

Далее тут говорится: если есть много явных свидетельств — что, собственно, нам не нужно, мороки много и не в каждом можно быть уверенным. Думаю, ты поведешь себя как истинный стойкий христианин".

Сегодня инквизитор настроен добродушнее обычного. Даже предложил разделить трапезу.

## Костер

Ильме, Книжнику, дали чашу искупления, один из священников провозгласил проклятие:

"О проклятый Иуда! За то, что ты покинул совет мира и перешел в стан иудеев, мы отбираем от тебя этот сосуд искупления!"

Забрали сосуд.

Книжник заговорил:

"Я верю во всемогущего Господа Бога, во имя которого я терпеливо сношу это унижение. Да не станет праздным страстное слово, кровь души и помыслов истинных. Я уверен, что Бог не отберет у меня его чашу искупления, из которой я надеюсь пить сегодня в его королевстве!"

"Ну и еретик", — сказал инквизитор.

Книжнику приказали замолчать. Но он продолжал. Тогда зажали рот и всунули кляп.

"Он еще ради кого-то противится", — думал Андриано под белым капюшоном.

Епископы сорвали с Ильмы облачение, вновь призвали отречься. Он покачал головой.

Тогда надели на голову колпак, длинный, разрисованный чертями, с надписью: "се ересиарх".

Когда епископ сказал Ильме: "Отправляем тебя к твоим повелителям чертям, которым ты служил здесь на земле, и поручаем твою душу дьяволу!" — Ильма отвернулся.

"Хорошо, что дождя нет, — услышал Андриано за спиной голос вчерашнего собеседника, — а то два года назад трех вот так же казнили, а дождь как хлынул, как полил, намучались, пока управились".

Ильму подхватили под мышки, подтащили к жаровне. Крепко привязали его веревками в шести местах к толстому бревну, руки скрутили назад и, заостривши бревно с одного конца, воткнули его в землю, утрамбовали.

Инквизитор сказал:

"Поверните его лицом на запад, а не на восток, потому что он еретик".

Так и сделали.

Он был привязан к этому бревну черной прокопченной цепью. Под ноги положили две вязанки дров, на ногах остались башмаки и одна колодка.

Обложили со всех сторон дровами вперемешку с соломой, близко к телу, до самого горла.

Прежде чем поджечь, подъехал к нему инквизитор. Предложил отречься от проповедей и книг, подтвердить это под присягой.

Вытащили кляп.

"Бог мне свидетель, — ответил Ильма, — я никогда не учил и не проповедовал всего того, что несправедливо мне здесь приписали, используя лжесвидетеля. Первой мыслью моей проповеди, учения и писания и всех прочих моих поступков было желание спасти людей от греха. За эту правду, которой я учил, о которой писал и которую проповедовал, хочу я сегодня с радостью умереть!"

Инквизитор хлопнул в ладоши, отъехал прочь.

Тогда подожгли костер. Поднялся ветер, огонь и дым закрыли от кричащих зрителей еретика.

Андриано прислушивался. Сначала он ждал, что прикажут идти и убеждать еретика отречься, потом понял, что поздно, потом ждал крика или еще чего-нибудь, но не дождался, посмотрел вокруг, убедился, что и другие ничего не слышали — ни стонов, ничего такого — вокруг белые балахоны, лиц не видно.

Горело всю ночь, и все следующее утро дожигали.

Андриано видел, как долго копошились в догоравшем костре. Голову Книжника разбили кольями на куски и забросали головешками. Во внутренностях нашли сердце, проткнули его острой палкой и старательно сожгли. Обуглившееся тело разорвали клещами, чтобы облегчить работу огню. Побросали в костер личные вещи и тюремную постель Книжника.

Андриано видел: огонь потух только к утру третьего дня. Тогда

старательно собрали пепел и землю с места казни и бросили все это в реку.

## Беседа

"Тебя поразила его смерть? Но господи, сын мой, ему же помогал сам дьявол, тщеславие питало его разум. О, ты еще не знаешь, какая это опасная, коварная змея — любовь к себе, к своему уму! Тебе незачем вновь впадать в ересь. Что ж хорошего — еретик-рецидивист. Я думаю, что ты человек благоразумный и думаешь и желаешь то, что думает и желает святая церковь. Но высказывая свое мнение, горячишься, проявляя крайнюю страстность, и не обнаруживаешь силы и благоразумия, чтобы ее преодолеть. Ты просто молод и потому еще не тверд".

"Но он действительно не оставлял у меня никаких книг. Он не говорил со мной по вопросам веры. Я только видел, что у него как будто большое что-то в сумке. Я не знаю, зачем я показал, что он обращал меня в свою веру! Он не колдовал надо мной, не просил раздавать книги соседям! Не было этого!"

"И тебя это все еще волнует?" — инквизитор ненадолго задумался.

"Что же, — произнес он после некоторого молчания, — я был лучшего мнения о тебе... я всеми силами хотел помочь, сделать из тебя человека, но ты заразился вновь и опять говоришь иначе, чем три дня назад. Это мне уже не нравится. Тогда ты сказал, что Книжник заставлял тебя..."

"Ваше Преосвященство! Ведь так хотели вы! И я, признаюсь, немного испугался, я не знал... Но почему я?! Ведь он и так был настроен..."

"Вот видишь, он и сам был настроен, а ты говоришь: не колдовал. Сын мой, разве я заставлял тебя лгать? — Инквизитор сам себе удивлялся: почему это так терпеливо, вот уже не в первый раз возится с этим молоденьким простачком. — Я хочу тебе только добра и потому сейчас тебе еще раз объясню, но учти, если ты и после этого станешь задавать мне подобные вопросы, то я... мы тебя подвергнем суровому испытанию, дабы раз и навсегда увидеть правду твоих мыслей и определить твое место в этом Божьем мире. Ты думаешь, если Книжник был у тебя, ел, пил в твоём доме, говорил с тобой, то не посеял в твоей душе зерна сомнения и кощунства, даже если бы и не оставлял у тебя своей книги?"

"Но он не оставлял!"

"Так знай, — не обращал внимания инквизитор, — что так было, есть и будет, покуда существуют страны и государства. Запомни: запрещение книги означает, что без особого на то разрешения ее нельзя издавать, читать, хранить, продавать, переводить на другой язык, ни каким-либо другим образом сообщать ее содержание другим. А Книж-

ник с тобой говорил! Любой, читающий запрещенную книгу, совершает серьезный грех, даже если он прочтет один абзац. Но я считаю, что серьезный грех будет совершен, даже если взять в руки книгу с запрещенным названием, а тем более общаться с автором этой книги. А ты общался, сын мой! От еретика распространяется зараза, и даже молчание его грозит ею. Не потому ли ты теперь ввергнут в крамолу сомнений? Далее, владелец запрещенной книги, узнав о ее запрещении, обязан уничтожить ее или отдать тому, кто имеет разрешение читать запрещенные книги. Также необходимо каждому сообщать о действиях еретика. Ты этого не сделал. Ты даже пытался скрыть, что видел в сумке Книжника книгу. Но тебе пошли навстречу, я просил о тебе, приняв ко вниманию твою молодость и неопытность. Другой бы отправил тебя на костер, а я был человечен и терпим, возвел тебя в число своих доверенных людей, и знай, что я сам подвергался некоторой опасности и гневу господнему. И вот теперь тебя боятся. Тебя уважают. Тебе открыты все пути. Ты не понимаешь, что имеешь! Воспользовавшись моим доверием и благожелательством, вновь впадаешь в ересь, низко опускаешься в глазах моих. Это все потому, что с тебя не сняли письменной присяги и клятвы. Ты хочешь, чтобы я произвел это?"

"Сударь, Ваше Преосвященство, — воскликнул Андриано, — я согласен со всем тем, что вы сказали, но неужели же в книгах Книжника такая страшная ересь, что именно я должен был сказать против него то, чего на самом деле..."

Инквизитор брезгливо махнул рукой.

"Ты действительно удивляешь меня! Замолчи, если ничего не понимаешь. Зло и ересь мы искореняем ради великой цели. Задача инквизиции — истребление ереси, ересь не может быть уничтожена, если не будут уничтожены еретики, а еретики не могут быть уничтожены, если не будут истреблены и выявлены вместе с ними их укрыватели, сочувствующие и защитники. Возрадуйся, ибо тот малый грех, что я и ты взяли на душу, все милостивейший Господь простит нам, потому что Он знает, что это вершилось ради Его веры, потому что Он видит, от какого вероотступника мы освободили Его мир. Мы искоренили заразу, вырвали зло с корнем, а ты о лжи. Какое лжесвидетельство, если сама святая церковь является жертвой великих, ужасных преследований, естественно, порождая в большом количестве героев, своей кровью и умом закрепляющих христианскую веру. А сегодня, теперь, ад начал вести против церкви еще более ужасную борьбу, более коварную и тонкую, и делает он это через крамольную печать. Ни одна из опасностей не представляет из себя столь великой угрозы для веры и обычаев, как эта, поэтому святая церковь будет оберегать христиан от нее. Ты сомневался в еретичности его мыслей и книг? Да дайте мне две строчки любого автора, и я докажу, что он еретик, и сожгу его!"

Что уж тогда говорить об Ильме, который написал то, чего, мой сын, тебе не нужно никогда знать. Он был хитер..."

"Он много смеялся, часто шутил... наверное, был умным человеком... совсем не похоже на... Может, можно как-то иначе. И последнее, — поспешно добавил Андриано, — я его не оправдываю, я с исповедью, дабы раз и навсегда понять его хитрость..."

"Дитя, — улыбнулся инквизитор и машинально закончил: — Литературные и иные достоинства не дают права на распространение книг, противных вере и добрым обычаям, а личные качества автора — тем более; больше того, наши меры должны быть тем суровее, чем более тонка паутина ошибок и чем более соблазнительной представлена привлекательность зла".

### Отречение

"Ну вот и все, — сказал инквизитор, — я буду помнить о тебе, где бы ни находился. Я позову тебя, когда захочу. На все воля Господа, и потому я, быть может, не позову тебя никогда. Ты впадал в ересь дважды, и дважды я миловал тебя. Так будь же неумищим, живи среди людей и думай, от чего ты отказался. Быть может, из тебя еще действительно получится настоящий стойкий христианин... Всегда думай, почему я отверг тебя от себя. И знай: мое теперешнее высокое положение не означает, что я забуду о тебе. Я тебя отпускаю в мир, но со мною остается эта бумага, которую ты зачитал и подписал. Она сильнее тебя и твоих мыслей. Бедность — вещь великая, но выше ее — невинность, а выше всего — полное послушание. Помни это и иди!"

Уезжает завтра инквизитор. Нет слов у Андриано. Поклонился он, повернулся, чтобы уйти.

"Да, — сказал в спину инквизитор, — я знаю, что ты постараешься забыть, обязательно постараешься забыть, что был свидетелем, единственным свидетелем против Книжника, не думавшего о тебе".

Андриано забудет. Он уже забыл. Потому что Андриано еще совсем не жил и так мало еще видел.

Он уходил все дальше от каменных прочных стен, и каменный город молчал ему навстречу; в его тяжелой, неутомимой голове навсегда звучали жесткие строки, произнесенные им самим, Адриано Нунесом, громко и внятно:

"Я, Андриано Нунес, сын Энрико Нунеса, на 24 году моей жизни, лично, преклонив колени перед вами, высокий и почтенный инквизитор и господа вселенской христианской республики, имея перед очами святое Евангелие, которого касаюсь собственными руками, клянусь, что всегда веровал, теперь верую и при помощи Божьей впредь буду веровать во все, что содержит, проповедует и чему учит святая католическая и апостольская церковь. Его Преосвященством господином инквизитором мне было сделано внушение, дабы я покинул ложные сомнения, касающиеся казни Гонсалеса Ильмы по прозвищу

Книжник, дабы я не сомневался в верности и справедливости высочайшего приговора. Но я, между тем, продолжал выражать сомнения в том, что Книжник был действительно опасен, одержим дьяволом и еретик. По молодости лет своих и неопытности я не увидел корней зла и потому высказывал свои еретические сомнения.

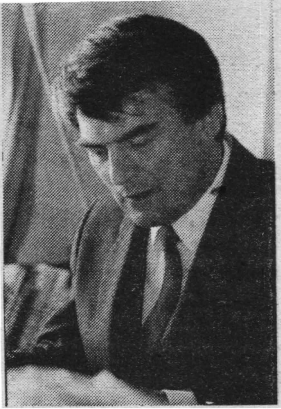
Посему, желая изгнать из мыслей ваших, высокопочтенные господа, равно как и из ума всякого христианина это подозрение, законно против меня возбужденное, от чистого сердца и с непритворною верою отрекаюсь, проклиная, возненавидев вышеуказанную ересь, ее породившего, несогласного со святой церковью.

Клянусь впредь никогда не говорить и не рассуждать ни устно, ни письменно о чем бы то ни было, могущем восстановить против меня такое подозрение; когда же узнаю кого-либо, одержимого ересью или подозреваемого в ней, как это было с Книжником, то о таком обязуюсь донести всему святому судилищу, или же инквизитору, или ординарию ближайшего места. Кроме того, клянусь и обещаю уважать и строго исполнять все наказания и исправления, которые наложило или наложит на меня сие святое судилище.

В случае нарушения мною (да хранит меня Бог!) чего-либо из этих слов, свидетельств, клятв и обещаний, подвергаюсь всем наказаниям и исправлениям, назначенным святыми канонами и другими общими и частными постановлениями против преступлений сего рода. В этом да поможет мне Господь и святое его Евангелие, которого касаюсь собственными руками.

Я, поименованный Андриано Нунес, отрекся, поклялся и обязался, как сказано выше. В подтверждение прикладываю руку под сиею формулою моего отречения, которое я прочел во всеуслышание от слова до слова.

Я, Андриано Нунес, от вышесказанного отрекся собственноручной подписью".



## ИЗ УКРАИНСКОЙ АНТОЛОГИИ

Александр ОЛЕСЬ  
(1878-1944)

Русский поэт Леонид ЧЕРЕВИЧНИК родился в 1937 году на Украине. Окончил Литературный институт им. А.М.Горького. С 1964 года живет в Риге.

Изданы книги стихов: "Микрофантазия" (1966), "Песочные города" (1971), "Зеркальная колыбель" (1977), "Март" (1981), "Круг" (1987).

Переводил стихи украинских поэтов первой половины XX в. — О.Маковая, А.Олеся, В.Свидзинского, М.Драй-Хмары, М.Зерова, П.Филиповича и др.; польского поэта Т.Ружевича; произведения современных латышских поэтов и латышских поэтов конца XIX в., первой половины XX в. — Я.Порука, Я.Райниса, В.Плудониса, К.Скалбе, Ф.Барды и др.; среди книг переводов: А.Курций "Беды солнца" (1974), П.Розитис "Желудевое ожерелье" (1978), Э.Вейденбаум "Стихотворения" (1980), Р.Блауманис "Стихотворения" (1984), "Пути огня. Из латышской классической поэзии" (1986).

### ИСКРА

Еще бы тлеть и тлеть могла,  
Но тлеть она не захотела, -  
Все силы разом собрала,  
Ночь озарила и — сгорела.

Ты, искорка, погасла. Мгла  
Опять со всех сторон сползалась,  
И не прибавилось тепла,  
И ночь еще темней казалась.

Но срок придет, и грянет пир  
Под неба сенью голубою,  
И благодарный вспомнит мир  
Ночь, озаренную тобою.

Владимир СВИДЗИНСКИЙ  
(1885-1941)

\*\*\*

И ветер, и блеск на Востоке,  
И запах росы на заре,  
И розы, как жемчуг, сверкают,  
И явор шумит во дворе.

Зачем я встаю на рассвете?  
Чего я так трепетно жду?  
И музыка эта — откуда  
В заброшенном старом саду?

Пойду я к незыблемым скалам,  
К холодному камню прильну -  
Дрожат, содрогаются горы,  
Земную трясет глубину.

Дыхание степи дремотной  
Томит меня, кличет в ночи,  
Я выйду — трепещут зарницы,  
Таинственно шепчут ручьи.

А утром — порывистый ветер,  
Сверканье росы на заре,  
И розы блестят жемчугами,  
И явор шумит во дворе.

\*\*\*

Затерялся в небе след весны,  
Дни прозрачны и ясны.

В полдень не прельщает холодок,  
Желтый искрится листок.

Все быстрее сумрак настает,  
Все просторней небосвод.

Что-то поднимается с земли,  
Тонет горестно вдали.

И в душе печальной все слышней  
Голоса осенних дней.

\*\*\*

Одна — Марийка, а другая — Стефця...  
Как островок горошка голубого  
Средь поля ржи, так и они цвели,  
Вплетая в девичьи свои лета  
Печальные напевы Украины.  
И вот я вновь в родном своем селе.  
Село мое, что сделалось с тобою?  
Померкло ты, увяло, омрачилось,  
И лист тебя осенний засыпает  
В ложбине, как забытую могилу.  
Марийки нет. Синь темная очей  
И нежность юного ее чела,  
Платочком отененные простым,  
Упругие и быстрые движенья, —  
Все отгорело, все землю взято.  
А Стефцю — видел. Бледная, она



Дите свое держала у груди  
И говорила: "Гляну на него -  
Оно, как та калина, багровеет.  
Иль так уже судил ему Господь?  
Ведь это, почитай, уж будет месяц,  
Как в доме нету ни кусочка хлеба".  
Заплакала, склонилась над ребенком.

\*\*\*

Под голубою водою  
Живу я, живу...  
Золотоглазый рыбак надо мною  
Сеть забрасывает в синеву.

Через око манящее — знаю —  
Я не раз еще проберусь,  
В синей тине садов погуляю,  
Но однажды все ж попадусь.

Отпыляет и растворится  
Золотая заря во мгле,  
Ночь печальная возвратится —  
И меня не найдет на земле.

\*\*\*

Сизый голубь вечера,  
Ой же ты сизый голубь!  
Взлети к своему гнезду,  
К гнезду, к темному гнездищу,  
Издалека взлети,  
Из моего ясеневоего края.

Сизый голубь вечера!  
Как там звезды — еще не опечалены?  
Воды тихие не встревожены?  
И цветет ли там солнце, солнце-тюльпан,  
Изгибая дуги-лучи  
Над проталинами, над полянами?

Сизый голубь вечера,  
Брызни из сон-травы на меня:  
Возле солнца-тюльпана побыть,  
Злую кручину унять,  
Возле солнца-тюльпана, сиз-вечера,  
На земле моей шум-ясеновой.

\*\*\*

*Лесе Чилингаровой*

Не пришла ты. Один, печально,  
Я липовый цвет срывал,  
Жар солнца прозрачным медом  
По стеблям травы стекал.

Я лег и заснул. Пробудился -  
Нет медвяного дня.  
Лишь заря пылала над лесом,  
Как грива гнедого коня.

И липовый цвет, что мы вместе  
Должны были рвать в лесах -  
Липовый цвет от зноя  
Потускнел и зачах.

Печальный, я шел на запад,  
Гнедые шерстинки искал,  
Тебя вспоминал и тихо  
Увядший цвет целовал.

\*\*\*

Страшно мне даже представить,  
что в образе зверя ходил я.  
"Страшно, что был человеком", -  
потомок мой скажет когда-то.

\*\*\*

Понурые, немые тучи  
На грезях солнце понесли  
К ущельям сумрачным земли.  
Тихо в долине.  
Серый вечер зарылся лапами в мох.

На склоне горном  
Горбатые камни торчат из земли.  
Волосатый, безглазый  
Над водою забился.

Камень огромный встает на пути.  
Тихо.  
Камень ухо насторожил.  
Тихо в долине. Ночь.  
Камень огромный глядит на меня.  
Ночь.

## ГРЕЧКА В ЦВЕТУ

Словно море молока  
Чья-то пролила рука.  
А вблизи, как и вдали -  
Словно полем мед несли...  
Тишина стоит кругом  
Словно панна под венцом.

\*\*\*

Между безднами глухими,  
Что в меня вперились тьмою  
Тайн своих,  
Я — пылающая бездна,  
Свечка их.

Буду Вышнему молиться  
Всем многообразьем света,  
Чтоб меня простил,  
Чтоб Он сжалился и свет мой  
Погасил.

## МОЙ ЗАКОН

Только Вышнего, — иного  
Никого я не боюсь!..  
Вышел из Него и снова  
Я к Нему вернусь.

Он закон мой, и я буду  
Только Им судим.  
Ну а ваши пересуды -  
Глух я к ним.

Михайло ДРАЙ-ХМАРА  
(1889-1939)

\*\*\*

Мгла сгустилась. Гаснет вечер,  
тонет в сумрачной дали —  
тает, тает сердца глетчер  
в дивных запахах земли.

Жду. Придешь ли — добрый, нежный?..  
В синий мрак через зенит  
плавно Лебедь белоснежный,  
распластав крыла, летит.

Затуманенные очи  
яркую вобрали медь  
ранних зорь, и сердце хочет  
тайну тайн уразуметь.

Миг — как вечность. Тише, тише.  
Вслушайся, не дыши,  
и в тиши ночной услышишь  
стон восторженный души.

\*\*\*

Вступай на бесконечный свой, суровый,  
на трезвый путь и не гляди назад.  
Уже раздел березник и дубровы  
угрюмый и холодный листопад.

Железные на горизонте дали  
пронзив, столбы огромные встают.  
Ты там не встретишь желтых роз печали -  
там труд и песня пламенем цветут.

Ломай традиций косную основу,  
встречай свободы негасимый свет.  
Кто выпил чашу хмеля колдовского,  
тому уже назад возврата нет.

\*\*\*

Не солнце — шинкарка хмельная  
На землю вино лила,  
Пенилась тучка, играя  
На гранях кровавых стекла.

Земля, сирота осенняя,  
Дрожала листком сухим,  
На дне золотого тления  
Стелился туманом дым.

Я же (наследник Феба!)  
Все принял, в себя вобрал:  
Вечернее зарево неба,  
Покорность поблекших трав.

И в час, когда синь небосвода  
Заискрилась в звездных лучах,  
Я понял, как много всходов  
На черных взойдет полях.

\*\*\*

Заклинаю я ветер в поле,  
Эту землю и облака,  
Заклинаю солнце слепое,  
Сила чар моих — на века!

Пронеслись огневые пчелы  
Меж зеленых полей людских.  
Заклинаю вас, тихие доли,  
Вы к себе не впускайте их!

Ледяную смертельную стаю  
Смелый ветер, хоть ты развей, -  
Пусть живут цветы, расцветая  
На несчастной земле моей!

Свет мой, степь — ни конца ни краю,  
Серебристая песнь травы,  
Вас люблю я, вас заклинаю  
И хочу быть таким, как вы!..

\*\*\*

Высокий ветер повелел  
Всем белые восславить шаты.  
Земля, одна лишь и смогла ты  
Убрать серебристый свой удел.

Тропа сверкает в жемчугах  
И, словно бы лучи пролили  
Небесный свет — чудесных лилий  
Цветы на вековых дубах!

Идешь ты, весела, легка,  
Не доверяя снежным чарам,  
И разрумянилась недаром  
От стужи солнечной щека.

Смотри на дол, на небеса,  
Учись прекрасному покою -  
Когда-нибудь и над тобою  
Такая же взойдет краса!

\*\*\*

А я живу, и дни приходят,  
Как прежде, чтоб встречать меня.  
На синем небе тучи бродят  
Под неустанным оком дня.

Разносятся в пространстве звуки  
И ветра не иссяк напор,  
И погрузиться могут руки  
Во влагу вековых озер.

Вот снова день беспечный прожит,  
Срываю плод не только я,  
И долго-долго еще может  
Терпеть своих детей земля.

## ЛЮБОВЬ К ЖИЗНИ

Перевел с французского Леонид ГРИГОРЬЯН

По ночам жизнь в Пальма понемногу стекает к району кафе-штантанов за рынком: улицы темны и безмолвны, пока не подойдешь к дверям с опущенными жалюзи, сквозь которые пробиваются свет и музыка. В одном из таких кафе я провел почти всю ночь. Это был небольшой прямоугольный, очень низкий зал, покрашенный в зеленое и размаляванный розовыми гирляндами. Деревянный потолок утыкан бесчисленными красными лампочками. На крохотном пространстве непонятным образом разместились оркестр, бар с разноцветными бутылками и люди, притиснутые друг к другу так плотно, что локти их соприкасаются. Только мужчины. Посредине два метра свободной площади. Красноватый свет оплавляет очертания бутылок и стаканов, рассыпаемых гарсонами во все концы зала. Ни одного трезвого. Все орут. Какой-то морской офицер обрушивает на меня свои любезности, изрядно подогретые алкоголем. Карлик, лишенный каких-либо возрастных примет, рассказывает мне свою жизнь. Однако я слишком напряжен, чтобы слушать. Оркестр безостановочно наигрывает какую-то мелодию, но схватываешь только ритм, потому что посетители непрерывно отбивают ногами такт.

Временами дверь распаивается. Посреди всего этого гвалта появляется новый гость, и его тут же усаживают между двумя стульями. Внезапно звучат цимбалы, на свободный участок в центре зала неожиданно впрыгивает женщина. "Ей двадцать один", — говорит мне морской офицер. Я поражен. Лицо совсем юное, но тело — гигантская гора мяса. Роста в ней метр восемьдесят, не меньше. Она огромна и весит фунтов триста. Руки уперты в бедра, сквозь сетчатое желтое трико выпирает тучное белое тело, и когда она улыбается, от уголков рта к ушам, подрагивая, перемещается плоть. Зал возбужден до предела. Чувствуется, что ее тут знают, любят, ждут. Улыбка не сходит с ее лица. Взгляд неторопливо обшаривает зал. Она все еще молчит и улыбается, но выпяченный живот начинает понемногу вибрировать. Зал ревет, все требуют от нее какую-то, по-видимому, всем знакомую песню. Это андалузская народная песня, глухая, почти гнусавая, сопровождаемая через каждые три такта дробью ударных. Девушка поет, и при каждом ударе тело ее сладострастно извивается. В этом однообразном чувственном движении волны плоти, зарождаясь на бедрах, медленно замирают у плеч. Зал на глазах шалееет. Когда она доходит до припева, то приподнимает ладонями груди, широко раскрывая свой влажный алый рот, и все присутствующие, с грохотом вскакивая с мест, подхватывают мелодию. А она, растрепанная, лоснящаяся от пота, разбухающая в своем желтом сетчатом трико, выпрямив свое массивное тело, царит в центре зала. В эту минуту она подобна нечестивой богине, выходящей из моря: бездумный лоб низок, глаза впали, жизнь едва теплится в подрагивающих коленях, как у лошади после быстрого бега. Ее окружает взволнованное ликование, и она стоит как низменное и воспламеняющее воплощение жизни: пустые безнадежные глаза и обильный пот на животе...

Без кафе и газет было бы трудно путешествовать. Листок на родном языке и место, где можно прикоснуться локтем к локтю соседа, помогают подражать небрежной непринужденности местного жителя, казавшегося непоправимо чужим на расстоянии. Ибо плата за путешествие — страх. Он разрушает в нас подобие внутреннего равновесия. Тут невозможно хитрить — маскировать свою сокровенную суть, как мы это делаем у себя: на службе, в рабочие часы. Правда, мы всячески против них бунтуем, но разве не они спасают нас от мучительного одиночества? Мне всегда хотелось написать роман, где мои герои время от времени говорили бы: "Во что бы я превратился, если б не служба?" Или такое: "Жена моя умерла, но, к счастью, мне надо срочно разобрать ворох корреспонденции". Путешествия лишают нас такого прибежища. Вдали от родного языка и близких, лишенные всех наших привычных личин и подпорок (ведь не знаешь даже цены на трамвайный билет), мы целиком на поверхности. Но в то же время, чувствуя себя не в своей тарелке, мы открываем в каждом предмете и в каждом живом существе их истинную волшебную сущность. Бездумно танцующая женщина или бутылка на столе, замеченная сквозь занавеску, — все становится символичным. Кажется, что во всем этом целокупно отражается жизнь, в той же мере, в какой фокусируется в этих предметах и людях наше собственное существование. В такие минуты мы ощущаем с необычайной живостью ее дары, смакуем оттенки ее разноречивого хмеля и напоследок чувствуем внезапное озарение. Пожалуй, ни одно место на земле, кроме Средиземноморья, не казалось мне столь чуждым и одновременно таким близким.

Чувства, испытанные мною в кафе "Пальма", несомненно, были такого же рода. Но в полдень под пустынными сводами кафедрального собора, в просторных дворах старинных дворцов, на улочках, пахнущих тенью, меня охватывало некое оцепенение. На улицах ни души. За стеклами балконов застыли старухи. Шагая вдоль домов, останавливаясь в зеленых двориках возле округлых серых колонн, я с головой погружался в запах безмолвия, переставал быть тем, чем был, превращаясь в звук своих шагов, в порхание птичьей стайки, мелькавшей над высокой стеной, еще освещенной солнцем. Я провел много часов в маленьком готическом соборе Святого Франциска. Его прелестная изысканная колоннада поблескивала благородным желтым золотом, как все старинные испанские памятники. Я помню розовые лавры и декоративный перец во дворе, колодец с узорной решеткой, с которой свешивался продолговатый ковшик на ржавой цепочке. Прохожие останавливались и пили. Иногда в ушах моих явственно возникает звук, с которым ковшик падал на камни колодца. И все же в этом монастыре я так и не ощутил нежного трепета живой жизни.

В суховатом шорохе голубиных стай, во внезапной тишине, притаившейся в глубине сада, в одиноком позвякивании колодезной цепи я вкушал нечто новое и в то же время интимно знакомое. Просветленно улыбаясь, я глядел на эту игру подобий. Я видел, как в кристалле, лицо мира, но при этом чувствовал: достаточно легкого жеста, чтобы кристалл дал трещину. Что-то должно было неминуемо разладиться: голуби замрут в небе и, безвольно распустив крылья, медленно спланируют на землю. И только мое молчание и неподвижность поддерживали то, что так походило на сновидение. Я не нарушал правил игры. Нисколько не обманываясь, я приспособлялся к приметам видимого мира.

Золотистое солнце мягко согрело желтые камни монастыря. Какая-то женщина зачерпнула из колодца воду. Через час, минуту, секунду, может быть даже сейчас, все это рухнет. И все-таки волшебство длилось. И по-прежнему длился мир — он был целомудренным, слегка насмешливым, затаенным. Равновесие не нарушалось, хотя и было проникнуто предощущением конца.



Именно тут таилась моя любовь к жизни: молчаливая страсть к тому, что в любую минуту может ускользнуть, горечь на дне огненного напитка.

Каждый вечер, уходя из этого монастыря, я с трудом вырывал себя из глубин мироздания, где мне удалось на мгновение обосноваться. Мне понятно, почему я вспомнил тогда о незрячих глазах дорических аполонов и застывших фигурах Джотто\*. В такие минуты я ясно осознавал все, что могут мне дать подобные страны. Я восторгался средиземноморским побережьем, где ощущал незыблемые основы жизни, и, насыщая свой разум, повсюду находил пищу для оптимизма и чувства человеческой общности. Но больше всего меня поражал не мир, созданный по человеческой мерке и замкнувшийся на человеке. Нет, если что-то в языке этих стран и находило отзвук в моей душе, то вовсе не оттого, что язык этот отвечал на мои вопросы, а оттого, что он делал их бесполезными. И вовсе не благодать затопляла мое сердце, но великое Ничто, родиной которого мог быть только этот ландшафт, долга испепеленный солнцем. Ибо любовь к жизни не существует вне безнадежности.

В Ибиза́ я ежедневно отправлялся в кафе, растянувшиеся вдоль порта. К пяти часам вечера местная молодежь в две цепочки прогуливалась по набережной. Именно тут затевались браки и вообще все самое главное в жизни. И я не мог избавиться от мысли, что в этом есть некое величие — начинать свою жизнь именно так, не таясь от мира.

Я усаживался, все чаще пошатываясь от полуденного солнца, с душою, битком набитой белыми церквами и меловыми стенами, высохшими полями и взьерошенными оливковыми деревьями. Я пил сладковатый оршад. Смотрел на изогнутую линию холмов, неприметно сбегающих к морю. Сумерки казались зеленоватыми. На самом высоком из холмов дуновение последнего бриза покачивало крылья мельниц. И вдруг, как по мановению волшебного жезла, все понижали голоса. Казалось, нет ничего, кроме неба и этих певучих голосов, поднимающихся ввысь, но едва различимых, как будто доносились они откуда-то издалека. И в этот короткий миг перехода от света к мраку над миром воцарялось нечто грустное и неуловимое, недоступное ни человеку, ни человечеству. Мной овладевало желание любить, столь сильное, каким бывает иногда желание плакать. Мне казалось, что отныне каждый час, отданный сну, будет украден у жизни... То есть у времени смутных надежд. И, так же как в те колдовские часы, которые я провел в кабаре "Пальма" и в монастыре Святого Франциска, я напряженно замирал, не в силах противиться могучему порыву, бросающему в мои ладони весь мир.

Я прекрасно понимаю, что неправ, что должен быть предел подобному раствору. Ведь только в этом случае человек способен что-то создать. Но любовь истину безгранична, и пусть я неуклюж — не в этом дело, — зато я могу заключить в объятия все и всех. Я вспоминаю нескольких женщин из Генуи: целое утро я любил их улыбку. Я знаю наверняка, что никогда уже их не увижу. И никакими словами не выразить всей горечи моего сожаления. Перед моими глазами все еще стоит маленький колодец в монастыре Святого Франциска — я следил за полетом голубей, и жажда моя утолялась. Но время шло, и она с неизбежностью возникала снова.

---

\* С появления взгляда и улыбки начались упадок греческой скульптуры и распыление итальянского искусства. Создается впечатление, что, как только возникла душа, красота погибла.

# ДЕЛО ЯХИМОВИЧА

## ...РАССКАЗАННОЕ ИСТОРИКОМ

"Коллективное прозрение" последних лет — личное достояние "прозревших". Опыт Ивана Антоновича Яхимовича, участника правозащитного движения конца 1960-х гг., — достояние истории.

К аресту И.А.Яхимович шел давно. Еще в 1949 г. был начат дневник, не только фиксирующий события личной и общественной жизни, но и провоцировавший его автора на осмысление событий. Общественная активность искала форму выражения: первоначально — через комсомол, затем — вступление в ряды правящей партии. Учитель районной школы, инспектор РОНО, председатель колхоза (с 1960 по 1968). Параллельно шло исследование общества, сопоставление теории марксизма-ленинизма с практикой этого учения. И хотя на пути претворения учения в жизнь возникали частные положительные результаты (как в алхимии — по сравнению И.Яхимовича), постепенно закрадывалось подозрение, что основная ценность советского социалистического опыта есть величина отрицательная. Подозрение перешло в убеждение позднее, а на этапе сомнений (года с 63-го?), конечно же, должна была существовать уверенность в том, что систему можно реформировать, что в первую очередь следует бороться с рецидивами сталинизма в ней и восстановить ленинские нормы партийной жизни, обратиться к истинному марксизму. XX съезд, история Н.С.Хрущева, завещание вождя итальянской компартии П.Тольятти, а позднее и чехословацкая модель "социализма с человеческим лицом" оставляли надежду на возможность демократизации советского общества. В это хотелось верить.

Многолетняя практика пропагандиста, лектора, учителя, темперамент, искренность и честность наконец требовали выхода и при смене "вех", ориентиров. Сдерживающие факторы: семья, трое маленьких детей, заботы председателя колхоза и студента сельскохозяйственной академии... Кроме того, не очень понятно было, в какую внешнюю форму облечь свое открытие. Обратиться к классовому чутью рабочих и крестьян? Создать в латгальской деревне кружок истинных марксистов-ленинцев? Ячейка, маевка, прокламация, стачка, демонстрация? Попробовать нечто подобное в городе? Но, помимо того, как программа действий требовала регулярного присутствия в Риге, возникало еще препятствие: не было готовых для кружка людей — предшествовавший, комсомольский, этап сформировал вокруг "ревизиониста" окружение, достаточно далекое от того, чтобы разделить с ним его новые убеждения. И вообще в Латвии 1960 — 1970-х годов почти невозможно было найти людей для этой цели. Нет близких результатов — нет и людей для работы. Тем более не нашло бы поддержки открытое противостояние государственной идеологии. Мощного религиозного движения, подобного католическому в Литве, в Латвии не было, даже в восточной ее части — католической Латгалии. Национальное латышское движение реализовывалось в основном в фор-

ме сохранения культуры, в особенности — культуры труда и быта. Во второй половине 60-х здесь уже существовало еврейское движение — за право эмиграции, но, в отличие от аналогичного московского или ленинградского, оно было в значительной степени прикладным и национально замкнутым. 1960-1970 годы в Латвии — время диссидентов-одиночек и сфабрикованных процессов.

Какие-то знакомые должны быть в столицах, но можно ли было через них выйти на "новых людей"? Сколько времени потребуется на то, чтобы преодолеть прежнее представление своих давних приятелей о себе, да и дорога в столицы неблизкая и не самая дешевая... Похоже, что с какого-то времени И.Яхимович должен был остаться вне круга, вне идеологических единомышленников. Оставалось: вести дневник, еще глубже изучать марксизм, его источники — Гегеля, французских социалистов-утопистов и английскую школу политэкономии. В среде рижской интеллигенции существовала еще одна пространственная форма противостояния системе — круговое чтение "сам- и тамиздата", но, кажется, этой возможности И.Яхимович был тогда почти лишен. "Дублер" — радио на волнах 13, 19, 21, 25, 36, 49? Но все это было скорее формой пассивного самовыражения, нежели активного, к которой и тяготел этот человек. Разве что записать одну-другую передачу и разослать текст по знакомым и неизвестным адресам. Но и такая форма деятельности вряд ли могла принести удовлетворение. А ощущение права на слово, на поступок, завоеванного личным практическим и интеллектуальным опытом, сохранялось и даже обнаруживало тенденцию к развитию. В нормальном обществе можно было найти способ самовыражения, в революционную эпоху, вероятно, тоже. А в СССР 1960-х?

Подошел январь 1968-го. Один из важнейших ориентиров в истории правозащитного движения послеоктябрьской России. В Москве закончился суд над А.Гинзбургом, Ю.Галансковым, А.Добровольским, В.Лашковой. Один из пунктов обвинения — связь с эмигрантскими организациями (и ЦРУ), а кроме того, подготовка некоторыми из подсудимых "Белой книги по делу Синявского и Даниэля", писателей, осужденных в 1966 году за публикацию своих произведений на Западе. Январский процесс неожиданно вызвал широкий отклик в среде интеллигенции, которая, возможно, стремилась таким образом реабилитировать себя хотя бы отчасти за прежнюю свою покорность и пассивность в те дни, когда судили Синявского и Даниэля, когда Н.С.Хрущев громил "модернистов" и грозил Б.Пастернаку. В том же 1968-м ширится движение крымских татар, католиков Литвы, евангельских христиан-баптистов... Трактат А.Сахарова. Солженицын. Протесты в связи с насильственной госпитализацией диссидентов в психиатрические клиники. Очередной арест А.Марченко, рабочего, правозащитника, автора книг-воспоминаний о советской пенитенциарной системе. Оккупация Чехословакии советскими войсками, — и в знак протеста — демонстрация "семерки" на Красной площади, попытка самосожжения у памятника Свободе в Риге студента И.Рипса... Начало издания "Хроники текущих событий" — неподцензурного информационного бюллетеня правозащитников.

Ситуация в какой-то отдаленной степени напоминала преддверие революции 1905 года, но в 1968 — 1969 годах критическая масса еще не созрела, массового движения не было, добиться чего-либо подобного царскому манифесту 17 октября 1905 года не удалось. Круг участников движения был неширок. "Страшно далеки они от народа". Причины такого "далека" разнообразны. Демократы, к примеру, обращались к сознанию, а это не самый близ-

кий путь к народу. Возможно еще, что где-то на периферии сознания диссидентов-шестидесятников существовало представление о том, что, как ни маловероятно увидеть народ на площади, еще маловероятнее увидеть народ, идущий по указанному демократами пути. Включив в орбиту своей агитации народ, опираясь первоначально на его поддержку, интеллигенция могла бы вскоре оказаться заложником нехарактерных для нее идей и действий.

Правозащитники, как правило, обращались в два адреса за поддержкой: к интеллигенции и к мировой общественности. Коммунисты, испытывавшие нравственную потребность в очищении партии, тоже понимали бесперспективность призыва к партийной массе. Адресаты коммунистов-диссидентов: ЦК КПСС, партийные съезды, отечественные и международные партийные собрания. Закономерно, что бесперспективность подобных обращений на каком-то этапе заставляла их сближаться с правозащитниками-демократами.

11 января 1968 года Л.Богораз и П.Литвинов обращаются с письмом к мировой общественности по поводу суда над Гинзбургом, Галанковым, Дзобровским и Лашковой. 22 января датируется письмо И.Яхимовича члену Политбюро ЦК КПСС М.А.Суслову, идеологу партии. Письмо содержало основные традиционные для тех дней положения: преданность автора идеям марксизма; гордость за 50-летний путь советского государства; опасения ресталинизации; утверждение о том, что практика закрытых судебных заседаний порочит партию, советский строй и мировое коммунистическое движение в глазах прогрессивного человечества; требование открытого суда при отсутствии оценки автором письма деятельности осужденных. Аргументация таких писем учитывала прежде всего интеллект и систему мышления адресата. (Мы еще помним, как всего года два-три тому назад некоторые нынешние депутаты-радикалы — в том числе и Верховного Совета Латвии — выходили на трибуну или появлялись на телевизионном экране с томом В.Ленина.)

Прошел положенный для ответа срок (месяц?). Ответа И.Яхимовичу не было. «Получи я хоть какой-нибудь листок из ЦК, — говорил он позднее, — я бы не пустил письмо в самиздат, во всяком случае, не так сразу». Воспользовавшись оказией, И.Яхимович передал копию своего письма к Суслову в Москву, а потом появился в столице и сам. Письмо уже гуляло в самиздате, читалось Би-Би-Си и другими радиостанциями, получило большой резонанс.

Почему московская оппозиция почти молниеносно приняла Яхимовича? Во-первых, «узок круг этих революционеров». Появление И.Яхимовича в какой-то степени расширяло географический, социальный и политический состав правозащитников. Автор, видимо, и сам понимал значение сделанного им шага не только в собственной судьбе, но и в укреплении статуса движения. А во-вторых, его внешний облик, биография, речь должны были вызвать к нему доверие почти сразу (да и скрывать московским диссидентам особенно было нечего). Вот что сегодня написала об И.Яхимовиче по просьбе «Даугавы» Лариса Иосифовна Богораз:

*«Я узнала об Иване Яхимовиче в 1968 году, еще весной того же года познакомилась с ним. Он пришел в квартиру родителей Павла Литвинова, где была и я. Очень хорошо помню впечатление, какое он тогда произвел на меня: очень чистого, может быть, по-детски наивного человека; это впечатление усиливалось и его внешностью: несколько аскетическое лицо с ясными глазами пронзительной голубизны. После первой встречи мы виделись еще несколько раз. Меня поразила его история: школьный учитель, он оставил «интеллигентный» род занятий и ушел в председатели колхоза, пытаясь вытянуть его из нищеты, — дело, по моим представлениям, заведомо безнадежное (не отсюда ли ощущение детской наивности?). Но Иван Яхимович, видимо,*

был из тех немногих, для кого слово превращается в нравственный императив, в конкретное практическое дело. Уж коли вступил в партию, которая обещала служить народу, защищать его интересы, — вот он и служил народу, беззаветно, бескорыстно, забывая о себе, подвигая на второй план интересы своей семьи. Это был некаровский тип "народного заступника", правдоискатель. Наверное, по этой же причине он пришел к Павлу Литвинову (чтобы искать правду вместе?). Ивану Яхимовичу было, конечно, гораздо труднее, чем нам, москвичам. У нас ведь была компания друзей, близких по духу, помогавших друг другу. Иван Яхимович вступил в борьбу со злом один в далеком латышском селе, где крестьяне, правда, уважительно относились к своему председателю, но вряд ли понимали и разделяли его донкихотскую идею ненасильственного противостояния. Да и жестокость репрессивной машины в Латвии была куда злее, чем в Москве.

Мы еще поддерживали контакты (конспиративно) с Яхимовичем. нас объединяла вера в силу слова. Но вскоре, через полгода после нашего знакомства, Павла и меня арестовали. В ссылке я узнала об аресте Ивана Яхимовича, о заключении его в психбольницу-тюрьму. Когда я вернулась из ссылки, то уже не могла найти следы Ивана Яхимовича. И вот — год назад — телефонный звонок. Вскоре пришел ко мне и он, с женой. 22 года — и те же ярко-голубые глаза. Разве что в выражении лица прибавилось ироничности и, пожалуй, горечи.

Психиатрический диагноз с Яхимовича сняли, он теперь такой же полноправный гражданин, как все люди. Но ведь он не такой, как все; изначально не такой, как все, принципиально другой — "инакий", не только инакомыслящий, но, главное, инакодействовавший человек. Вот это, мне кажется, было бы особенно важно понять сейчас. Вот о ком следовало бы, я думаю, рассказать сейчас, а не повторять одни и те же "героические" имена.

То, что И.Яхимович не такой, как все, во всяком случае не такой, как большинство диссидентов, было очевидно и карательным органам. Писем, подобных обращению Яхимовича, было, повторим, тогда довольно много — как личных, так и коллективных. Но далеко не каждый подписант (а их было более тысячи — по тем временам цифра!) подвергался судебному или внесудебному преследованию. Случай с Яхимовичем был принципиально иным — он должен был быть так или иначе обезврежен. Посмел выступить против партии как бы внутри партии! А если найдет поддержку среди колеблющихся партийцев? И не письма пишет, а прокламации! И вот уже кому-то из власть предержащих видится призрак партийной оппозиции. Генерал П.Григоренко, писатель А.Костерин, историк С.Писарев, физик В.Павлинчук, И.Яхимович не только подписывают разные документы по отдельности и даже вместе, но еще и постоянно указывают свою партийную принадлежность! А Яхимович, кажется, самый молодой среди них, как бы по его пути не пошли другие... В марте 1968 года Яхимовича исключили из КПСС, а затем уволили из председателей. В конце 1968 года умер А.Костерин. И.Яхимович был арестован 24 марта 1969 года, через два месяца был арестован П.Григоренко. Призрак коммунистической оппозиции растворился.

И.Яхимовичу предстояло пройти три судебно-психиатрических экспертизы (две в Риге, одна в Москве — институт проф. Сербского), два суда, заключение в психиатрической больнице. Отбывал срок по 19 апреля 1971 года. Психиатрический диагноз снят в 1989 году. Был ли болен в 1969 г.? В Рижской психоневрологической больнице и сейчас не сомневаются в справедливости давнего приговора. А как же реабилитационный диагноз 1989 г.? В "Бехтеровке"? Вероятно, в этом году он был здоров, а двадцатью годами

ранее — болен, так отвечают сегодня в убежище для душевнобольных. А вот И.Яхимович рассказывал в редакции журнала, что в Даугавпилсе, где он оказался после освобождения, регулярно проводили с ним беседы сотрудники КГБ. Как-то при очередной встрече поднадзорный спросил, по какому же ведомству он, Иван Яхимович, все-таки проходит — встречаться приходится и с КГБ, и с психиатрами. Тот обещал уточнить — и через некоторое время вызовы в медицинское учреждение прекратились. Вопрос, который мы не задали: "Не может ли это свидетельствовать, что психиатрия тех лет была в соответствующих случаях лишь на посылках у КГБ?" Ответ(непроизнесенный): все это нужно уточнить, а наша больница была беспристрастна. Еще вопрос (незаданный): уходя в отставку, куратор из КГБ дал совет: "Если будут вербовать — сразу не отказывайтесь". С точки зрения И.Яхимовича, объяснение простое: ушла служебная функция, остался человек. А с точки зрения психиатра — нормален ли был куратор?

Судьба бывших диссидентов в последние годы складывалась по-разному. Многие эмигрировали или вынуждены были эмигрировать. Другие ушли в национально-демократическое движение (пропорция национального и демократического, кажется, находится в какой-то зависимости от сроков пребывания в "тюремной интернациональной академии": срок демократов — по индивидуальному внутреннему ощущению — должен быть не слишком мал, но и не слишком велик). Третьи — так сказать, "чистые демократы", или не искали своего места в новой ситуации, или его не нашли, или, уступив просьбам бывших "подельников", ходят на службы по тем делам, по которым прежде бежали. По тем, да не совсем тем. Конечно, у некоторых бывших диссидентов, готовых к работе в нынешних условиях, усиливается уверенность в том, что то давление, которое им придется сегодня испытать со стороны "политиков" и "народа", может быть значительно более мощным, нежели то, которое на них когда-то оказывало государство.

Политическое и правовое положение в республиках, в том числе и в Латвийской, таково, что явно просматривается нужда в демократическом центре. И хотя многие группировки заявляли в последние годы о своем праве именоваться таким центром, он все еще окончательно не оформился. А в помощь правозащитной группе парламента нужна общественная внепартийная организация, пользующаяся доверием в мире. Не в подобных ли организациях место участникам правозащитного движения 1960-1970-х гг. в СССР?

И.Яхимович баллотировался в нынешний Верховный Совет Латвии, он — член Думы Народного фронта. Нашел ли он свое место в сегодняшнем дне?

Иван Антонович как-то заметил, что часто жизнь можно уподобить болоту, на котором много кочек. Нужно только заметить эти кочки, опереться на них — и болото можно будет перейти...

# ...КОРОТКО РАССКАЗАННОЕ ИМ САМИМ

*Только когда мы становимся менее разумными в обычном, ординарном смысле, только тогда этическое чувство начинает действовать в нас и позволяет находить решения проблемам, которые до того казались неразрешимыми.*

*Альберт ШВЕЙЦЕР*

Родом я из Латгалии — юго-восточной части Латвии, края удивительного и испокон веков бедного. Многие завоеватели, кто челночно, кто с задержкой, оставили здесь свое влияние и характерные шрамы. Пестрая смесь населения, диалектов, культур. Поставщик батраков и министров. Исторический коридор, где рано познаешь цену хлеба, свободы и отсталости.

Начинал учебу при авторитарном Ульманисе, продолжал при тоталитарных Гитлере и Сталине, "волюнтаристе" Хрущеве, "стагнате" Брежневе — очно и заочно. Был комсомольцем, потом коммунистом, учителем, председателем колхоза.

Со студенческих лет привык работать допоздна. И в колхозе вечерами, днем некогда, ознакомился с документами, вел дневник, просматривал газеты и журналы, слушал "клевету" — для сравнения с нашей... информацией.

С середины шестидесятых годов в стране начался откат к сталинизму. Этому следовало сопротивляться. Верил в здравый смысл общества, в его порядочность.

Когда услышал по Би-Би-Си рассказ о процессе над Гинзбургом, Галансковым, Добровольским и Лашковой, написал письмо в ЦК КПСС на имя М.Суслова. Письмо вызвало неожиданно большой резонанс. Из "председательского корпуса" никто в политику громко не впутывался.

Сегодня обращение к "серому кардиналу" партии может вызвать удивление. Обычно жалобщики обращались к Первому... Я нарушил традицию и обратился к идеологу, как партиец к партийцу: будем соблюдать нашу Конституцию, перед ней мы все равны — и провинившиеся инакомыслящие, и мыслящие "в духе"...

Исключили из партии, сняли с должности председателя. Обработка колхозников шла по бригадам. Потом пожаловали гости из Риги во главе с секретарем ЦК КП Латвии Верро. Разумеется, районное начальство в полном составе... То тут, то там поговаривали, что Яхимович — "американский шпион" и т.д. Методы старые, как мир. Отреагировала и Елгавская сельхозакадемия, отчислив заочника за "поведение, недостойное советского студента". Жenu уволили из Сивергальской семилетней школы: муж — "антисоветчик"...

Иногда спрашивают, как жена относилась к происходящему... У нас не было расхождений во взглядах. Каждый в праве отстаивать свои убеждения поступками. Единственное условие с моей стороны к ней — не дать повода к судебной расправе. Как-никак — три малолетние дочери.

Когда в августе 1968 г. советские танки вторглись в Прагу и чехи рыдали от боли, а наши "мальчики" — от стыда, исчезли последние иллюзии относи-

тельно миролюбия СССР. Конечно, я протестовал, как протестовали и Петр Григоренко, Лариса Богораз, Павел Литвинов, с которыми уже был знаком. Особенно сблизился с генералом Григоренко. Мы дружили вплоть до самого его отъезда в США.

Арестовали меня в марте 1969 года за "распространение ложных измышлений, порочащих советский общественный и государственный строй". Следователь Кацитис интересовался в основном теми же деталями, что и парткомиссия, и КГБ: кто читал из знакомых письмо, сколько было копий, как попало за границу, с кем передал и так далее... Где утечка — вот суть всех этих вопросов. Дело прошлое, можно рассказать. Студенты соседнего техникума ехали на экскурсию в Москву, и с преподавателем, моим другом, Виктором Васильевичем Токаревым, я и передал копию Ларисе Иосифовне Богораз. Она — Литвинову. И пошло себе гулять по свету...

Что было делать со мной властям? Комсомольский работник, целинник, доброволец-председатель, первая судимость... но и выпустить нельзя: не покался...

Стало ясно: будет применен вариант генерала Григоренко и Натальи Горбаневской — принудительное лечение. Это хуже лагерного срока. Лагерник, отбыв конкретный срок, выходит на волю относительно свободным человеком; при принудительном лечении срок не конкретизирован, во-первых, а во-вторых, освободившийся "больной" может быть возвращен в психушку в любое время без суда, без проволочек — по первому звонку начальства.

В Риге стационарную экспертизу проводил психиатр Руссинов (хотя в акте его имени нет), внимательный, корректный, с явным сочувствием к невольникам, муж Сочевой — главного психиатра ЛССР. Красноярский — заведующий психоневрологическим тюремным отделением — был третьим, кроме Руссиновых, в комиссии. Когда меня впервые втолкнули в психиатрическую камеру уголовников следственного изолятора №1, Красноярский в глазок наблюдал: сломанюк, брошусь к дверям в ужасе или... выдержу "шоковую терапию".

Разные люди шли через эти камеры — и наркоманы, и алкоголики, и политические, и уголовники. Пытался покончить с собой, с разбегу головой о батарею, зарубивший свою жену неказистый белобрысенький человек... Провел тут свои последние дни старый моряк Эрнест Янович Фелдманис, который тоже писал "что-то не то"... Юный Илья Рипс, студент Латвийского университета, заслужил камеру №103 актом самосожжения у памятника Свободы, протеста против советской интервенции в Чехословакию. Его спасли. Когда мы оказались в одной камере, интересовали Илью проблемы абстрактной алгебры. Решал, записывал, прятал... Охрана заметила, провела шмон. Под матрасом нашли клочки бумаги, разумеется, изъяли. Ничего не поняли в символах. Послали в университет на экспертизу. Там установили, что Рипс решил какую-то сложнейшую алгебраическую задачу, на уровне открытия. В камеру внесли стол, дали настоящую бумагу и больше не мешали ему заниматься. Судьба Ильи сложилась в дальнейшем благополучно. "Психиатрический срок" он отбыл в той же, где и я, больнице на улице Аптиекас, а затем эмигрировал...

В Москве в Институте им. Сербского узниками занимался профессор Лунц. Относился с подчеркнутым тактом. Но суть не в этом: мы были всего лишь объектами, на которых власть шлифовала свои карательные функции. В данном случае — функцию подавления инакомыслящих.

Неволя много дает для познания людей. Я понял, как по-своему каждый старается отстоять себя в чрезвычайных условиях. Кто молитвой, кто угодни-



чеством, кто творчеством, кто наукой... Меня спасало любопытство. Впервые видел дно Системы, ее конвейер умерщвления душ.

Мои протесты тех лет не выходили за пределы сознания преданного марксиста-ленинца, верившего в возможность преобразования партии, переустройства общества. Источник этой веры — не только романтика. И в недрах Системы появлялись люди нестандартные: Александр Дубчек и его соратники, генерал Петр Григоренко, писатели Лев Копелев, Алексей Костерин, Никола Руденко. В Системе, но не против нее. Одно из исключений — Владимир Буковский. Рано получив доступ к запрещенным у нас книгам, таким, как, скажем, "Новый курс" Милована Джиласа, сумел четко определиться. Я же, как и многие другие, до истины поднимался постепенно, проходя сложный и мучительный процесс развития.

30 апреля 1971 года жена пришла с вещами. Верховный суд ЛССР "освободил" меня несколькими днями раньше. Бумажка застряла то ли в министерстве здравоохранения, то ли еще где-то: курьер перепутал адреса...

В свободной гражданской одежде, а не пропахшей дурдомом пижаме, я законно покинул так называемое лечебное заведение, сопровождаемый женой; к нам подошел Руссинов\*, вернул две тетради со стихами, изъятые при обыске в изоляторе, и извинился: "Простите... Мне стыдно за всех нас".

Сначала жил в Булдуре, на Рижском взморье. Татьяна Федоровна, мать жены, стояла на очереди... Вот-вот и новоселье приблизится. Однако органы рассудили по-своему: предложили "выбрать" место, где не бывает иностранцев. Выбрали Даугавпилс. Обмен ордерами, трудоустройство оперативно повернула госбезопасность. По существу это была ссылка.

Место работы — комбинат трудоустройства, мастер-лесовод. Воспитательницей смогла устроиться в детский садик Ира, у нее высшее образование. Летом, на Лиго, родилась четвертая дочь. Внешне жизнь складывалась ровно, но "под колпаком". Регулярно, один раз в месяц, шеф КГБ города Даугавпилса полковник Виктор Иванович Степанов вежливо приглашал на собеседование, как правило — в машину. Из этих бесед становилось ясно, что каждый мой шаг под контролем. Свободно вздохнул только в последние несколько лет.

Членом Народного фронта Латвии стал с момента его формирования. Был оппонентом городского, коммунистического лидера Жаркова на выборах в парламент.

Прошлое узника не довлеет надо мной.

Оцениваю людей по их таланту, стремлению очеловечиваться, способности любить и прощать.

Иван ЯХИМОВИЧ

---

\* Позднее эмигрировал

## ...РАССКАЗАННОЕ ЯЗЫКОМ ДОКУМЕНТОВ

*ОТ РЕДАКЦИИ. Документы, с которыми вы сейчас ознакомитесь, уважаемый читатель, не совсем обычны — в том смысле, что в печати такие "бумаги" публиковать не принято: врачебная тайна. Мы публикуем их с разрешения Ивана Антоновича Яхимовича и с единственной целью — показать, как человека упекали в психбольницу в угоду политическим установкам властей. Впрочем, в этом нет ничего нового. Вспоминается грустный английский анекдот: пациента Бедлама (дома для умалишенных) спрашивают, как он туда попал. Очень просто, — отвечает тот, — я сказал, что мир ненормален, они сказали, что ненормален я; их было больше, и меня сюда упрятали.. Если и есть что-то новое в трагических историях людей, пострадавших от советской психиатрии, так это нынешняя позиция тех, кто одним росчерком пера обрекал их на принудительное лечение. Что ж, можно ведь посочувствовать медикам, особенно из числа рядовых — да, на них давила атмосфера той эпохи, к тому же их заставляли, им приказывали. Вот и признавали необходимость изоляции тех, кто посмел бороться с Системой. Мы бы и посочувствовали — раскаявшись. Но таких что-то не видать. Во всяком случае в обозримом пространстве. А ведь на совести этих психиатров, что бы они сегодня ни говорили, — сломанные судьбы.*

*Один врач, из тех, кто визировал подобные заключения, говорил нам — не печатайте этого: сегодня уже в отношении психиатров возможны репрессивные меры, в частности в условиях национального противостояния в республике. Не знаем, не знаем. Вообще-то в безумном мире сверхнормальных людей, где за чужую жизнь привыкли давать копейку, где царят интриги, холодный расчет, корысть и цинизм, все возможно. Готовы в меру своих сил защищать любого, кто пострададет невинно. Ладно, пусть для вас все "образуется" и "утрается", пусть не будет суда над вами людского — "есть Божий суд". Далее цитируйте сами, глядясь в зеркало.*

### I

## ПИСЬМО СУСЛОВУ И В ЦК КПСС О ПРОЦЕССЕ НАД ГИНЗБУРГОМ, ГАЛАНСКОВЫМ И ДР. 22 ЯНВАРЯ 1968 Г.

Центральный Комитет КПСС, т. Суслову

Я не могу судить о степени виновности лиц, так или иначе подвергшихся или подвергающихся репрессиям, ибо не располагаю достаточной информацией. Но в чем я твердо убежден и знаю — огромный вред причиняют нашей партии и делу коммунизма в нашей стране и не только в нашей подобного рода "судебные" процессы, какой состоялся в Московском городском суде с 8 по 12 января сего года.

Мы отпраздновали славный юбилей, гордимся своими достижениями в экономической, научной практике и сами же, когда ООН 1968 год объявила Годом Защиты Прав Человека, даем врагам коммунизма сильнейшие козыри против нас. Абсурд!

Мы были голыми, голодными, полунищими, но мы побеждали, потому что на первый план ставили освобождение человека от бесправия, надругательства, беззакония и

т.д. И мы можем все потерять, имея ракеты и водородные бомбы, если забудем, откуда есть пошла Великая Октябрьская социалистическая революция.

Со времен Радищева суд над писателями в глазах передовых мыслящих людей всегда был мерзостью. Что думали наши доморожденные деятели, затыкая рот Солженицыну, придуриваясь над поэтом Вознесенским, "наказывая" каторгой Синявского и Даниэля, влупывая КГБ в спектакли с "внутренними врагами"?

Нельзя подрывать доверие масс к партии, нельзя спекулировать честью государства, даже если какому-то деятелю в течение шести месяцев покончить с "самиздатом". Уничтожить самиздат можно лишь одним путем: развертыванием демократических прав, а не свертыванием их, соблюдением Конституции, а не нарушением ее, введением в практику Декларации Прав Человека, если от имени нашего государства над нею расписался Вышинский, а не замалчиванием ее.

Кстати, кажется статья 20 этой Декларации гласит: "Каждый человек имеет право на свободу мысли, совести и религии. И каждый человек имеет право на свободу убеждений и на свободное их выражение. Это право включает свободу беспрепятственно придерживаться своих убеждений и свободу искать, получать и распространять информацию любыми средствами независимо от государственных границ".

Статью 125 нашей Конституции вы отлично знаете — цитировать не стоит. Я только хотел бы напомнить мысль В.И.Ленина о том, что "нам нужна полная и правдивая информация. А правда не должна зависеть от того, кому она должна служить" (Соч., изд. 5-е, том 54, стр. 446).

Я считаю, что преследование молодежи (инакомыслящих) в стране, где свыше 50% населения моложе тридцати лет, — крайне опасная линия, авантюризм.

НЕ шаркуны, НЕ поддакивающая публика (о господи, сколько ее развелось!), НЕ маменькины сынки будут определять судьбу нашего будущего, а именно бунтари как самый энергичный, мужественный и принципиальный материал молодого поколения. Глупо в них видеть противников Советской власти, архиглупо гноить их в тюрьмах и издеваться над ними. Для партии такая линия равнозначна самоуничтожению. ГОРЕ НАМ, если мы не сумеем договориться с этой молодежью. Она создаст, неизбежно создаст новую партию. Загляните немного в историю — и вы убедитесь в этом. Нельзя идеи убить ни пулями, ни тюрьмами, ни ссылками. Кто не понимает этого, тот не политик, тот не марксист.

Вы, конечно, помните "Памятную записку Пальмиро Тольятти". Я имею в виду это место: "Создается общее впечатление медлительности и противодействия в деле возвращения к ленинским нормам, которые обеспечивали как внутри партии, так и вне ее большую свободу высказываний и дискуссий по вопросам культуры, искусства, а также и политики. Нам трудно объяснить себе эту медлительность и это противодействие, в особенности учитывая современные условия, когда больше не существует капиталистического окружения, а экономическое строительство достигло грандиозных успехов. Мы всегда исходили из мысли, что социализм — это такой строй, где существует самая широкая свобода для рабочих, которые существуют на деле, организованным путем в руководстве всей общественной жизнью" ("Правда", 10 сентября 1964 г.).

Кому выгодна политика медлительности и противодействия? Только явным или скрытым сталинистам — политическим банкротам. Помните: ЛЕНИНИЗМ — ДА! СТАЛИНИЗМ — НЕТ! XX съезд партии сделал свое дело. Джинн на свободе, его не загнать обратно! Никакими силами и никому!

Мы накануне 50-летия Советской Армии, мы накануне Консультативной встречи братских коммунистических партий — не осложняйте себе работу, не омрачайте атмосферу в стране. Наоборот, тов. Подгорный мог бы амнистировать Синявского, Даниэля, Буковского, заставить пересмотреть дело А.Гинзбурга и других. (Мос-

ковский городской суд в последнем деле допустил грубейшие нарушения процессуальной законности. Прокурора Терехова, судью Миронова, коменданта суда Циркуненко следует должным образом наказать — в основном за болванизм и злоупотребление властью. Нельзя добиться законности, нарушая законы. Мы никому не позволим протипуировать наш советский суд, наши законы и наши права. Гнать таких "судей" в три шеи надо, ибо они причиняют советской власти больше вреда, чем разные НТС, Би-Би-Си, "Свободы" и пр. и пр., вместе взятые.)

Пусть "Новый мир" снова напечатает произведения Солженицына. Пусть Г.Серебрякова издаст в СССР свой "Смерч", а Е.Гинзбург "Крутой маршрут" — все равно их знают и читают, что греха таить.

Я живу в провинции, где на один электрифицированный дом — десять неэлектрифицированных, куда зимой-то и автобусы не могут добраться, где почта опаздывает на целые недели, и если информация докатилась самым широким образом до нас, можете представить, что вы наделали, какие семена посеяли по стране. Имейте мужество исправить допущенные ошибки, пока не впутались в это дело рабочие и крестьяне.

Я не хотел бы, чтобы это письмо обошли молчанием, ибо дело партии не может быть частным делом, личным делом и тем более второстепенным делом.

Я считаю долгом коммуниста предупредить Центральный Комитет своей партии и настаиваю, чтобы с содержанием этого письма были ознакомлены все члены ЦК КПСС.

Письмо адресовано тов. Суслову именно с этой целью.

С коммунистическим приветом!

**И.А.ЯХИМОВИЧ**

22 января 1968

Иван Антонович Яхимович,  
председатель колхоза "Яуна гварде",  
Латвийская ССР, Краславский район

## II

### К ЧЛЕНАМ КПЧ, КО ВСЕМУ ЧЕХОСЛОВАЦКОМУ НАРОДУ

Советское руководство, обеспокоенное развитием внутривосточного положения в Чехословакии, сделало за последнее время такие заявления и предприняло такие действия, которые были расценены подавляющим большинством мировой общественности, в том числе и коммунистической, как попытка вмешательства в чехословацкие внутренние дела. Высказываются даже опасения, что правящие круги нашей страны намерены при неблагоприятном, с их точки зрения, развитии событий применить вооруженные силы. Возникновению подобных опасений способствует необъективное и одностороннее освещение событий в Чехословакии советской печатью, с чем активно мыслящая часть нашего народа согласиться не может.

Мы, советские коммунисты, хорошо знаем настроение своего народа, его миролюбие и чувство искренней дружбы к чехословацкому народу и потому считаем такие опасения необоснованными. Партийно-государственное руководство, которое развязало бы войну в Европе, тем более против дружественной нам соц. страны, быстро дискредитировало бы себя и потеряло бы доверие народа.

Мы проникаемся все большим уважением к мужественной, мудрой и бескомпромиссной борьбе нового руководства КПЧ за восстановление престижа партии, утраченного в результате неразумной политики прежних руководителей. Мы отно-

симся с величайшим доверием к коммунистам, трудовому народу, ко всем социалистическим силам Чехословакии.

### МЫ С ВАМИ, ЧЕХОСЛОВАЦКИЕ ДРУЗЬЯ!

Коммунисты СССР: П. Григоренко, А. Костерин, В. Павлинчук, С. Писарев, И. Яхимович.

28 июля 1968 г.

---

Примечание авторов. Наш прогноз не оправдался. Советский Союз ввел свои войска в Чехословакию. Но мудрость чехословацких руководителей, их нестигаемое мужество и беззаветная вера в свою партию, в свой народ спасли Европу, а может быть, и весь мир от ужасов войны, спасли тем самым от полного разоблачения и тех сталинистов, которые организовали это опаснейшее для дела социализма, демократии и мира — вторжение.

### III

## ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО

Призрак бродит по Европе, призрак катастрофы. С момента окончания Великой Отечественной войны наш народ еще никогда не был поставлен в столь тяжелые нравственные условия, в какие он поставлен событиями 21 августа 1968 г. Оккупировать социалистическую союзную страну по одному только подозрению в контрреволюции, оккупировать страну, где руководящая роль принадлежит коммунистической партии, без согласия последней, вопреки ее воле — такое не укладывается в нравственные понятия советских людей: миролюбивых, бескорыстных и умеющих ценить дружбу и доверие народов. Старая болезнь — страх, скованность как паралич легла на душу миллионов людей, как отрыжка унижительного рабского страха кровавой сталинской ночи. Вся эта братия, именуемая сталинистами, не имевшая и не имеющая ничего общего с марксизмом-ленинизмом, наоборот, сползшая в сторону фашизма, пользовавшаяся его методами сплошь и рядом, еще недавно разогнанная Хрущевым на политические чердаки и в подворотни, рывкнула — реванш! И как это похоже на фашистских недобитков в Западной Германии. И те маскируются чужими лозунгами. И те ждут реванша. Могут ли подобного рода действия — грубое вмешательство в дела суверенного социалистического государства — сплотить коммунистическое движение? Нет! Могут ли укрепить авторитет СССР? Нет! Сталинизм стал главной опасностью единству, солидарности рабочих всех стран, главной опасностью прогрессу и миру. Нет сомнения, что все марксисты-ленинцы должны объединить свои усилия и разгромить сталинизм, как левый уклон, как махровый ревизионизм, как несоциализм, пока эта опасность не переросла в катастрофу. Сознают ли это сталинисты или нет, но они боятся своего народа больше, чем империалистов. Только этим можно объяснить постоянную дезинформацию широких масс населения, применение методов запугивания и шантажа, грубое нарушение Конституции, крайне бюрократизированную власть, широкую разветвленную сеть подслушивания, слежек, тюрем и концлагерей. Разве это социализм? Откуда он взялся? Марксизм-ленинизм не разрабатывал такого варианта социализма, не содержит таких принципов, не знает таких идей, если отбросить ширму словесной шелухи и перевести факты на реальный путь. Нет, тысячу раз нет! Вот почему XX съезд КПСС говорил о необходимости восстановления ленинских норм, ленинских принципов. Вот почему так внимательно и с такой надеждой

весь мир коммунистов следил за процессом демократизации в Чехословакии... И вот почему с такой яростью набросились сталинисты на КПЧ. Они не случайно усмотрели в этом смертельную опасность для себя лично, им плевать на социализм и коммунизм, на все его принципы, чтобы только спасти собственную шкуру. Разве не характерно, что 25 августа сего года товарищей, выступавших на Красной площади с лозунгами в поддержку Чехословакии, ее правительства и народа, арестовали и избивали. Это в Год прав человека, да еще на Красной площади... Надо дойти до ужаса и паники, чтобы бросаться на своих союзников, чтобы бросаться на советских людей. Разве эти люди — Павел Литвинов, Богораз и другие — не поддерживали социалистическое государство? Разве эти люди не поддерживали коммунистическую партию Чехословакии? Может быть, они поддерживали Франко, Салазара или военную хунту в Греции? Нет! Сталинисты чувствуют, что почва уходит из-под ног, что смертный час, вынесенный историей, близок. Это — паника обреченных, это — паника живых трупов. Но будьте бдительны. В их руках находится мощное современное оружие, в их руках рычаги власти. Это — ненадежные руки. Это — руки преступников. Коммунисты всего мира, остановите их, пока не поздно! Мы знаем, какая судьба ждет Павла Литвинова и товарищей. Мы знаем, какие будут предъявлены обвинения — это будут лживые обвинения, это будут грязные обвинения.

Я это говорю не просто по догадкам, но из своего личного опыта. 27 сентября 5 человек пришли ко мне на квартиру и произвели обыск по подозрению в ограблении Госбанка г. Юрмалы на сумму 19 тыс. рублей. Но искали и изъяли они политическую литературу и все, что имело отношение к событиям в Чехословакии, даже "Правду" и "Известия", так как отдельные высказывания были прокомментированы мною. Можете не сомневаться, что теперь "найдут" основание для прямого вмешательства органов КГБ и ареста. Следователь задал мне вопрос, почему я так долго (с 1 апреля сего года) не работаю. Меня уволили с работы, когда я находился в отпуске (за письмо, написанное Сулову в ЦК), не прописывают к семье. Кому неизвестно, что в СССР без прописки вас не примут даже дворником, не пустят ни в одну поликлинику. Сколько нужно лицемерия, чтобы, зная, по чьему приказу и зачем сделано все предыдущее, задать безработному вопрос: почему вы не работаете. Если поток клеветы залил все наши газеты, если клеветают на братскую коммунистическую партию ЧССР, то что такое клевета на какого-нибудь бывшего председателя колхоза. Те из компартий, которые поддерживают КПСС в ее грубых ошибках, хотят они или нет, оказывают последней медвежьей услугу, соучаствуют в обмане советского народа, практически ослабляют нашу страну, ибо способствуют укреплению авантюрных элементов в руководстве и ослаблению здоровых прогрессивных элементов. Мы повторяем: опомнитесь! Мы повторяем: руки прочь от ЧССР! Мы повторяем: свободу политзаключенным! Мы повторяем: ленинизм — да, сталинизм — нет!

И.А. Яхимович,  
бывший председатель колхоза "Яуна гварде"...

[октябрь (?) 1968 г.]

## К ГРАЖДАНАМ СОВЕТСКОГО СОЮЗА!

Кампания самосожжений, начатая 16 января 1969 г. пражским студентом Яном Палахом в знак протеста против вмешательства во внутренние дела ЧССР, не прекращается. Еще один — пока последний — живой факел запылал на Вацлавской площади в Праге 21 февраля.

Этот протест, принявший столь страшную форму, обращен прежде всего к нам, советским людям. Это непрошеное и ничем не оправданное присутствие наших войск вызывает такой гнев и отчаяние у чехословацкого народа. Недаром смерть Яна Палаха всколыхнула всю трудовую Чехословакию.

Мы все несем долю вины за его гибель, как и за гибель других покончивших с собой чехословацких братьев. Своим одобрением ввода войск, его оправданием или просто молчанием мы способствуем тому, чтобы живые факелы продолжали гореть на площадях Праги и других городов.

Чехи и словаки всегда считали нас своими братьями. Так неужели мы допустим, чтобы слово "советский" стало для них синонимом слова "враг"?!

Граждане нашей великой страны!

Величие страны — не в могуществе ее войск, обрушенных на немногочисленный свободолюбивый народ, а в ее нравственной силе.

Неужели мы будем и дальше молча смотреть, как гибнут наши братья?! Теперь уже всем ясно, что присутствие наших войск на территории ЧССР не вызвано ни интересами обороны нашей родины, ни интересами стран социалистического содружества.

Неужели у нас не хватит мужества признать, что совершена трагическая ошибка, и сделать все, что в наших силах, для ее исправления?!

Это наше право и наш долг!

Мы призываем всех советских людей, не совершая поспешных и опрометчивых действий, всеми законными средствами добиваться вывода советских войск из Чехословакии и отказа от вмешательства в ее внутренние дела! Только таким путем можно восстановить дружбу между нашими народами.

Да здравствует героический чехословацкий народ!

Да здравствует советско-чехословацкая дружба!

Петр Григоренко, Иван Яхимович

23 февраля 1969 г.

## ВМЕСТО ПОСЛЕДНЕГО СЛОВА

(открытое письмо)

**ДНИ МОЕЙ СВОБОДЫ СОЧТЕНЫ. В ПРЕДДВЕРИИ НЕВОЛИ Я ОБРАЩАЮСЬ К ЛЮДЯМ, ЧЬИ ИМЕНА ЦЕПКО ДЕРЖАТ ПАМЯТЬ И СЕРДЦЕ. — ВЫСЛУШАЙТЕ МЕНЯ!**

Мне 38 лет, родился в семье прачки и поденного рабочего в Даугавпилсе. Был десятым по счету ребенком, окончил среднюю школу, потом Латвийский государственный университет им. П.Стучки. Работал учителем средней школы на селе, инспектором школ, председателем колхоза "Яуна гварде" Краславского района. Теперь работаю коче-

гаром в санатории "Белоруссия" г. Юрмалы Латвийской ССР. Был комсомольцем 10 лет, членом партии — 8 лет (исключен 13 марта 1968 г.).

Я рос и воспитывался в такой среде, где имя Ленина значило больше, чем какое-либо другое, где правду учили ставить на первый план. В начале 1942 г. погиб под Москвой мой брат Казимир Яхимович, награжденный орденом Красной звезды; защищая Ленинград, погиб муж сестры Николай Кирхенштейн, племянник бывшего председателя Президиума Верховного Совета Латвийской ССР. Дядя, Яхимович Игнат, старый революционер, отбыл 8 лет каторжных работ в буржуазной Латвии. Старший брат, Яхимович Иосиф — коммунист.

В 1956 г. я поехал по комсомольской путевке на целину. Там впервые встретился со своей будущей женой, хотя учились мы на одном факультете — историко-философском. Она — на первом, а я — на пятом курсе. В 1960 г. стали супругами.

Я вынужден говорить о себе, потому что скоро, возможно, поток лжи и лицемерия выйдет за пределы суда.

Я вынужден говорить о себе, потому что моя судьба — это судьба моего народа, моя честь — это его честь.

Я обвиняюсь по ст. 183<sup>1</sup> УК Латв. ССР в распространении ложных измышлений, заведомо порочащих советский государственный и общественный строй. Максимальное наказание — 3 года лишения свободы, или 1 год лагерных работ, или 100 руб. штрафа.

Якобы письмо на имя *Суслова*, направленное мною в ЦК КПСС и ставшее известным на Западе, является антисоветским.

Якобы письмо П. Литвинова и Л. Богораз "К мировой общественности", которое я распространял, является клеветническим.

27 сентября 1968 г. при обыске у меня были изъяты газеты, журналы, конспекты произведений В. И. Ленина, две тетради моих записей о событиях в ЧССР, дневник жены, неотправленное письмо в защиту П. Литвинова, реферат П. Г. Григоренко о начальном периоде войны 1941-1945 гг. Обыск делался по подозрению в ограблении мною банка на сумму свыше 19 тыс. руб., хотя к тому времени уже был задержан настоящий преступник и во все районные отделения милиции сообщено о прекращении розыска.

5 февраля, 19 и 24 марта я был вызван к следователю прокуратуры Ленинского района г. Риги — *Э. Какитису*, хотя проживаю я в г. Юрмале. Из отрицательной характеристики, данной мне первым секретарем Краславского райкома партии *Г. М. Кириловым* и начальником производственного управления *А. И. Орловым*, из показаний старшего преподавателя Елгавской сельскохозяйственной академии *т. Пакальнетиса*, который утверждает, что якобы я в беседе с ним заявил, что был в Москве у П. Литвинова, записал письмо Суслову на пленку с целью передачи ее за границу, из целого ряда других показаний того же рода — я понял: если раньше стоял вопрос — судить меня или не судить, а если судить, то сажать или не сажать, теперь же только одна половина осталась — судить и сажать...

Бертран Рассел, Вы философ, может быть, Вам яснее, на чем основано их обвинение? На какой позиции стоят они? На классовой? Но ведь я рабочий по социальному происхождению, да и по роду занятий теперь таковой. Какие я нарушил законы? Конституция Латвийской ССР и "Декларация прав человека" разрешают писать, распространять, демонстрировать и т.д. Может быть, они боятся, что я стану капиталистом? Но будучи председателем колхоза, я не имел ни приусадебного участка, ни коровы, ни овечки, ни даже курицы, а жил на свою зарплату. Нет у меня ни собственного дома, ни машины, ни сберегательной книжки. Единственный мой капитал — это книги и трое детей. Может быть, они думают, что я работал и работаю не на социализм? Но тогда на какой же строй я работаю? Кому угрожает моя свобода и почему ее необходимо отнять у меня?

Товарищ Александр Дубчек, когда 25 августа 7 человек вышли на Красную площадь



с лозунгами — "Руки прочь от ЧССР!", "За вашу и нашу свободу!" — их били до крови, их называли "антисоветчиками", "жидами" и т.д. ... Я не мог быть с ними, но я был с Вами и всегда буду, пока Вы честно будете служить своему народу. Держитесь твердо — солнце снова взойдет...

Александр Исаевич, я счастлив, что смог прочесть Ваши произведения. "Дань сердца и вина" — Вам!

Павел и Лариса, мы приветствовали ваше мужество по-гладиаторски: "Здравствуй, Цезарь, идущие на смерть приветствуют тебя!" Мы гордимся вами...

"Во глубине сибирских руд  
Храните гордое терпенье...  
Не пропадет ваш скорбный труд  
И дум высокое стремление".

Евгений Михайлович, дружище, ветеран Великой Отечественной, пусть тебя не станет врасплах мое заключение. Не верь, не верь! Я не могу быть врагом советской власти.

Крестьяне "Яуна гварде", я работал с вами 8 лет. Срок — достаточный, чтобы понять человека. Судите сами, и пусть ваш суд служит истине. Не дайте обмануть себя.

Рабочие Ленинграда, Москвы, Риги! Грузчики Одессы, Лиенаи, Таллина! Спасая честь своего класса, рабочий Владимир Дремлюга вышел на Красную площадь, чтобы сказать НЕТ оккупантам Чехословакии. Он брошен в тюрьму (Мурманск, 9, п/я 241/17).

Под предлогом нарушения прописки брошен в тюрьму грузчик Анатолий Марченко (Пермская область, Чердынский район, п/о "Ныроб", п/я ПЗ 20/16 т). Его письмо разоблачало лицемерие правящей верхушки, ее вмешательство во внутренние дела ЧССР. До этого он, оклеветанный, 6 лет томился в лагерях Мордовии. Потерял слух и здоровье.

**КТО ЖЕ ПОМОЖЕТ РАБОЧЕМУ, ЕСЛИ НЕ РАБОЧИЙ! ОДИН ЗА ВСЕХ И ВСЕ ЗА ОДНОГО!**

Товарищ Григоренко, товарищ Якир! Закаленные борцы за правду. Да сохранит вас жизнь для правого дела!

Крымские татары! Кто лишил родины целый народ, кто оклеветал весь народ, от грудных детей до седых стариков, — тот является смертельным врагом всех народов. За вашу Родину, КРЫМСКУЮ ТАТАРСКУЮ АВТОНОМНУЮ СОВЕТСКУЮ СОЦИАЛИСТИЧЕСКУЮ РЕСПУБЛИКУ! За ваших СЫНОВЕЙ И ДОЧЕРЕЙ, брошенных в тюрьмы! За ваши погранные права!

**СПЛОТИТЕСЬ С ПРОГРЕССИВНЫМИ БОРЦАМИ ВСЕХ НАРОДОВ НАШЕЙ ВЕЛИКОЙ СТРАНЫ.**

**РОДИНА ИЛИ СМЕРТЬ!**

Я обращаюсь к людям моей национальности — полякам, где бы они ни жили, кем бы ни работали... Не молчите, когда совершается несправедливость!

"Еще Польша не погибла, пока мы живы..."

Я обращаюсь к латышам, чья земля стала мне родиной, чей язык я знаю с детства, как польский и русский... Не забывайте, что в лагерях Мордовии и Сибири томятся тысячи ваших соотечественников! Требуйте возвращения их в Латвию. Внимательно следите за судьбой каждого, кого лишили свободы по политическим соображениям.

"Свирепая буря вырвала  
На дюнах у моря Балтийского

Высокие сосны, прозревшие даль, -  
Ни скрыться не успели, ни сжаться, как сталь”.

Академик Сахаров, я слышал Ваши “Размышления...”. Жалею, что не успел ответить Вам. Долг за мной.

“На свете много зла, и очень мало  
Людей, кого бы это удивляло”.  
(Юсуф Хас-Хаджиб Баласагунский)

Коммунисты всех стран, коммунисты Советского Союза!

У вас один господин, один повелитель — народ. Но народ состоит из живых людей, из конкретных судеб. Когда нарушаются права человека, тем более от имени социализма, от имени марксизма, — двух позиций не может быть.

И тогда ваша совесть и ваша честь должны приказывать:

**КОММУНИСТЫ, вперед! КОММУНИСТЫ, вперед!**

Прежде всего это опасно для советской власти, когда людей лишают свободы за их убеждения, ибо так недолго и ее лишит свободы.

**СИЛЬНЫЕ МИРА СЕГО СИЛЬНЫ ПОТОМУ, ЧТО МЫ СТОИМ НА КОЛЕНЯХ.  
ПОДНИМЕМСЯ ЖЕ!**

24 марта 1969 г. (за несколько часов до ареста)

## VI

### АКТ №163/69

#### АМБУЛАТОРНАЯ СУДЕБНО-ПСИХИАТРИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА ЯХИМОВИЧА И.А.

Мы, нижеподписавшиеся, 1 апреля 69 г. в Республиканском неврологическом диспансере г.Риги амбулаторно освидетельствовали испытуемого Яхимовича Ивана Антоновича, 1931 г.р., который обвиняется по ст. 183-1 УК РСФСР.

На амбулаторную судебно-медицинскую экспертизу испытуемый направлен постановлением Прокуратуры Ленинского района г.Риги от 25 марта 1969 г. в связи с возникшим во время следствия сомнением по поводу его психического здоровья.

Со слов испытуемого и по материалам дела известно следующее: испытуемый родился и воспитывался в многодетной семье рабочих. Среди родственников душевнобольных не знает. В детстве развивался нормально. В школе учился с 7 лет. Учился хорошо. Имеет высшее образование: в 1956 году окончил факультет истории и филологии ЛГУ и работал преподавателем русского языка и литературы в Дагдском районе. С 1960 г. по призыву Правительства стал работать председателем колхоза. С 1963 г. учился на заочном отделении факультета агрономии при ЛСА.

По характеру считает себя энергичным, настойчивым, общительным. Алкоголь употребляет очень редко и в небольших количествах. Испытуемый с 1960 г. женат. Имеет троих детей — 1961, 1962 и 1964 гг.р. Отношения с женой хорошие. С 1961 г. до марта 1968 г. был членом КПСС. До этого 10 лет был комсомольцем и в партию вступил с комсомольской рекомендацией. Испытуемый говорит, что он всегда интересовался политическими событиями в нашей стране и в мире, много читал политическую литературу: газеты, журналы и работы классиков марксизма-ленинизма.

По объективным сведениям, часто выступал на собраниях с критическими замеча-

ниями по разным вопросам, иногда своеобразно, неуместно и мелко. С января 1968 г. испытуемый стал заниматься распространением клеветнических измышлений, порочащих советский государственный и общественный строй. В марте 1968 г. испытуемый за это был исключен из партии и снят с работы председателя колхоза. Однако испытуемый продолжает заниматься распространением клеветнических измышлений — писал соответствующего характера сочинения и письма, которые в дальнейшем были переданы в зарубежные капиталистические страны и опубликованы там в газетах, а также передавались по радио на латышском и русском языках.

Испытуемый своей вины не отрицает, считает себя психически здоровым.

Соматическое состояние: со слов испытуемого он в 1964–65 гг. болел язвой двенадцатиперстной кишки. Во время экспертизы признаков острых заболеваний внутренних органов не констатируется.

Неврологическое состояние: функции черепно-мозговых нервов без отмечаемой патологии. Сухожильные рефлексы на руках и ногах живые, равномерные. Патологические рефлексы не вызываются.

Психическое состояние: испытуемый правильно ориентирован. Держится высокомерно. Несколько манерный. Внешность своеобразная — борода, одежда. Эмоционально монотонный — о содеянном говорит с пафосом. Память без расстройств. Мышление детализированное, склонен к резонерству.

В политических размышлениях много грубых противоречий. Свои действия недооценивает, не понимает их преступный, предательский характер.

Считает себя политическим деятелем мирового масштаба, которого будет защищать Комитет защиты гражданских прав при Организации Объединенных Наций.

#### Заключение

На основании вышеизложенного и материалов дела комиссия приходит к заключению, что испытуемого Яхимовича надо отправить на стационарную судебно-психиатрическую экспертизу в Рижскую психиатрическую больницу для уточнения диагноза и решения вопроса о вменяемости. Предварительный диагноз комиссии: "Шизофрения, параноидальный синдром?" Об ответственности по ст. 174 УК Латв.ССР эксперты предупреждены.

Председатель комиссии главный врач-психиатр БРИШКЕ А.А.

Член комиссии врач-психиатр ЛИГУРЕ Л.А.

Докладчик врач-психиатр ВИТЕНБЕРГ Э.Р.

## VII

### АКТ №96

#### СТАЦИОНАРНАЯ СУДЕБНО-ПСИХИАТРИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА ЯХИМОВИЧА И.А.

Мы, нижеподписавшиеся, стационарная судебно-психиатрическая экспертная комиссия в составе председателя главного врача Рижской Республиканской психиатрической больницы Русиновой З.Г., членов комиссии зам. глав.врача по медицинской части

Маркис Л.А. и заведующего психиатрическим отделением следственного отдела №1 г.Риги О.А.Краснянского, 3.6.1969 г., в помещении психиатрического отделения СО №1 свидетельствовали подэкспертного Яхимовича Ивана Антоновича, 1931 г.р., обвиняемого в распространении клеветнических измышлений, порочащих советский государственный и общественный строй, по ст.183-1 УК ЛССР.

Судебно-психиатрическая стационарная экспертиза проводится на основании постановления следователя Прокуратуры Ленинского района г.Риги юриста 2 класса Капитис от 4.4.69 г. в связи с возникшими сомнениями в психической полноценности испытуемого.

В психиатрическое отделение Рижской республиканской психиатрической больницы при СО №1 г.Риги Яхимович И.А. поступил 16.4.69 г.

#### Анамнестические сведения:

Испытуемый о себе сообщает следующее:

Родился в 1931 г. в г.Даугавпилсе, в многодетной семье рабочего. Наследственность психопатически не отягощена. Родители больного умерли. Рос и развивался нормально; говорит, что в детстве не болел никакими болезнями, даже детскими инфекционными. В школу пошел 7 лет. Учился хорошо. Учёние давалось легко.

По характеру всегда был принципиальным, честным, справедливым, не терпел, когда обижали слабых. С 7-8-го класса начал интересоваться вопросами экономики и философии. Кроме философии и экономики, даже в школьные годы, интересовался политикой. Считает, что такая политико-философская и экономическая направленность его интересов является традиционной для их семьи, так как его дядя и старший брат были революционерами-подпольщиками в Латвии во время буржуазного строя. В 1951 г. окончил среднюю школу и в том же году поступил в ЛГУ на историко-филологический факультет.

Во время учебы в университете активно занимался общественной и комсомольской работой.

По характеру не менялся, продолжал оставаться общительным, но принципиальным, требовательным к себе и своим товарищам. ЛГУ закончил успешно в 1956 г., став специалистом-преподавателем по русскому языку и литературе, и был направлен в Дагдский район в среднюю школу, где проработал преподавателем русского языка и литературы два года. Был внештатным секретарем РК комсомола, активно занимался комсомольской общественной работой. По материалам дела в этот период времени в целом характеризуется отрицательно, как недостаточно методически подготовленный, не проявляющий должной усидчивости и аккуратности при проверке письменных работ учащихся, как излишне самоуверенный, обладающий высоким самомнением. Там же отмечается невыдержанность, грубость, вспыльчивость, а также совершение прогулов по неуважительным причинам, допущение грубости по отношению к товарищам по работе и администрации школы. В докладной записке директора Пренемальской средней школы Назарова И.Г. заведующий Дагдским РОНО от 29 ноября 1957 г. указывает, что Яхимович И.А. на уроке хорового пения ударил ладонью по щеке ученика 6-го класса Никитина Федора. Однако, несмотря на такие характеристики от администрации школы, где работал Яхимович И.А., он в 1958 г. был назначен инспектором отдела народного образования при бывшем Дагдском райисполкоме, где проработал до февраля 1960 г. С этого времени Яхимович по собственному желанию, учитывая, как он говорит, "нуждаемость сельского хозяйства в энергичных и принципиальных людях", начинает работать председателем колхоза "Яуна гварде", где остается в этой должности до 28 марта 1968 г. Со слов Яхимовича, полученное им хозяйство было крайне бедным, колхозникам не было возможности платить за трудодни даже копейку, не хватало кормов, не было семян для посева. На всем протяжении его работы в должности председателя колхоза взаимоотношения его с колхозниками были деловыми, товарищи его уважали и помогали ему в на-

лаживании крайне запущенного хозяйства. Отдавая много сил и времени работе, он добился значительного повышения материального благосостояния колхозников настолько, что через определенный промежуток времени появилась возможность выплачивать колхозникам за трудодень около 2 рублей. Однако в характеристике Краславского районного комитета партии от 13 февраля 1969 г. указывается, что Яхимович за время работы не проявил себя хорошим организатором, хозяйство росло медленно и имеет незначительный рост экономики и улучшения благосостояния колхозников. В характеристике указывается на самовольные действия бывшего председателя колхоза Ивана Яхимовича, который без разрешения правления колхоза и общего собрания колхозников продал колхозу им. Ульянова Кировоградской области 40 куб. м строительного леса, за что получил 20 т пшеницы, которые были розданы на трудодни колхозникам. Кроме того, в характеристике указывается на открытое осуждение политики партии и правительства в области сельского хозяйства, за что решением бюро РК партии Яхимович 21 августа 1963 г. был исключен из членов КПСС. Однако решением Президиума ЦК КП Латвии от 8.1.64 г. вышеупомянутое решение бюро было отменено, и Яхимовичу был объявлен строгий выговор с занесением в учетную карточку. Тем не менее Яхимович продолжал антипартийную, антисоциальную, антигосударственную деятельность, которая заключалась в распространении среди населения антисоветских материалов, используемых буржуазной пропагандой против нашей страны, за что решением бюро Краславского РК Компартии Латвии от 13 марта 1968 г. был исключен из членов КПСС и решением общего собрания колхозников от 28 марта 1968 г. был снят с должности председателя колхоза. По материалам дела деятельность Яхимовича в этот период времени характеризуется следующим образом: он, слушая и записывая радиопередачи Би-Би-Си, распространял их по почте и при контактах со знакомыми, а также с незнакомыми студентами Даугавпилсского пединститута. Перепечатанное им на машинке передававшееся по радио со станции Би-Би-Си обращение П.Литвинова "К мировой общественности" рассылалось Яхимовичем по почте не только своим знакомым, но и незнакомым лицам. После снятия с работы председателя колхоза "Яуна гварде" Яхимович с женой и тремя детьми (женат с 1960 г., три девочки 1961, 1962 и 1964 г.рождения), (жена — преподавательница, взаимоотношения с женой хорошие), переехал в гор. Юрмалу к теще, где жил в очень тяжелых бытовых условиях (комната 8 кв.м 6 человек) вплоть до ареста.

В период времени после снятия с работы до момента ареста Яхимовича с 21 октября 68 г. по 25 марта 69 г. работал коচেгааром санатория "Белоруссия" на Рижском взморье. В служебной характеристике главного врача санатория "Белоруссия" характеризуется формально положительно.

В этот период времени Яхимович, реагируя на события в ЧССР, делает записи в двух тетрадях синего цвета, которые прилагаются к делу. В них он резко критикует внешнюю политику партии и правительства, приводя многочисленные цитаты классиков коммунистического движения, якобы подтверждающие его правоту. Аналогично его письму от 22 января 68 г., направленному Яхимовичем в ЦК КПСС, в вышеупомянутых синих тетрадях он резко критикует и высказывает предложение об изменении внешней политики нашей партии. После произведенного у Яхимовича обыска, во время которого у него были обнаружены документы, в которых была извращена политика нашей партии и правительства, Яхимович был арестован.

#### Психическое состояние

Ориентирован полностью. В контакт вступает легко. Подробно, с некоторой обстоятельностью, рассказывает обо всех подробностях, связанных с его арестом. Полностью убежден в своей правоте, однако заявляет, что если бы с ним обходились так человечно, с пониманием и сердечностью, как с ним обошелся зам. министра МВД ЛССР тов. Сея, он не стал бы широко пропагандировать свои взгляды, ибо, как он считает, его деятельность является результатом не только его политических убеждений, но и в значительной сте-

пени реакцией на нелепости поведения многих государственных служащих, которые совершенно неправильно, по его мнению, считают его антисоветчиком. Заявляет, что никогда и ни при каких условиях не изменит идее борьбы за коммунистический строй, за социализм, но только с тем условием, чтобы многие, не соответствующие высокому званию коммунистов люди, находящиеся в настоящее время в партии, были удалены из партии, с тем чтобы с ними в дальнейшем была проведена воспитательная работа, направленная на изменение их мировоззрения.

Наблюдателен, много рассказывает о своих соседях по камере, подробно и детально характеризует их, тонко подмечает особенности их личности и характера. Много говорит об отсутствии воспитательного значения в учреждениях, где содержатся заключенные, — в тюрьмах и исправительных лагерях. Считает, что политических заключенных не надо лишать свободы, их надо перевоспитывать, действуя на них методом убеждения, разъяснениями и наглядной агитацией по месту их работы.

Прекрасно владеет литературой классиков марксизма-ленинизма, отлично знает труды многих философов и политических деятелей.

Пребыванием в тюрьме не тяготится, считает, что в современных условиях он несет наказание за свои политические убеждения, с которыми не намерен расстаться.

Считает, что его идейный и политический долг, равно как и общественный, стоит значительно выше его долга перед семьей; уверен, что он и подобные ему лица исполняют значительную миссию перед лицом своего народа, тем самым соглашается на какую-то исключительную роль в деле борьбы против якобы существующей несправедливости.

Широкий круг своих интересов, распространяемых на экономику, политику, философию, объясняет тем, что все эти явления взаимосвязаны, взаимозависимы и не могут быть познаны вне связи друг с другом. Кроме того, считает, что с возрастом и с повышением его культуры и эрудиции его естественно не могли не волновать те действия советского правительства, которые были направлены на экономику, внутреннюю и внешнюю политику. Заявляет, что его с детства называли фантазером и романтиком и что такая романтика присуща ему и сегодня, несмотря на то, что ему уже под сорок.

Во время беседы с врачом любезен, мягкий, синтонный, бредовых идей и галлюцинаторных переживаний не обнаруживает, память достаточна.

#### Неврологический статус:

Со стороны центральной нервной системы патологических органических знаков не обнаружено.

#### Соматическое состояние:

Со слов испытуемого, в 1964-65 гг. был болен язвой двенадцатиперстной кишки. В настоящее время в связи с изменениями режима питания отмечает вновь некоторую болезненность в подложечной области. В остальном патологии со стороны внутренних органов не обнаружено.

На основании изложенного комиссия приходит к заключению, что Яхимович обнаруживает паранойальное развитие у психопатической личности. Состояние больного должно быть приравнено к психическому заболеванию, а поэтому в отношении инкриминируемых ему деяний Яхимовича И.А. следует считать невменяемым.

Нуждается в прохождении принудительного лечения в больнице специального режима.

РУСИНОВА

МАРКИС

КРАСНЯНСКИЙ

## АКТ №33

Судебно-психиатрическая экспертиза И.А.Яхимовича  
в институте им. Сербского, Москва, 12.1.70.

Мы, нижеподписавшиеся, 12 января 1970 г. в Центральном научно-исследовательском институте судебной психиатрии им. проф. Сербского освидетельствовали Яхимовича, 1931 г.р., обвиняемого по ст. 183-1 УК Латв.ССР. На стационарную судебно-психиатрическую экспертизу направлен в институт по определению судебной коллегии Верховного суда Латв.ССР от 29 августа 1969 г. в связи с сомнениями в правильности заключения предыдущей стационарной судебно-психиатрической экспертизы.

В институт поступил 10 декабря 1969 г. Со слов испытуемого, ничем не болен. В школу пошел с 7 лет, учился хорошо. Был трудолюбивым, настойчивым, стремился в любых случаях "добиться истины, справедливости". С 7-8 класса стал проявлять особый интерес к философии, вопросам экономики и политики. В 1951 году после окончания школы поступил в Латвийский университет на историко-филологический факультет, где наряду с учебой, по его словам, активно занимался общественной работой, писал статьи, которые печатались в студенческих изданиях.

В 1956 г. после окончания университета испытуемый был направлен на работу в один из районов Латвии на должность учителя средней школы. Взаимоотношения с сослуживцами были "нормальными", хотя нередко, со слов испытуемого, он был несогласен с администрацией школы по ряду принципиальных вопросов и открыто заявлял об этом.

Однако в служебных характеристиках за этот период отмечено, что испытуемый, несмотря на хорошее знание предмета, методически считался недостаточно подготовленным, был неусидчив и неаккуратен, игнорировал указания администрации, отличался излишней самоуверенностью, периодически был грубым с товарищами по работе и вне школы. По неважным причинам совершал прогулы, а однажды на уроке хорового пения ударил по лицу ученика 6 класса. Вместе с тем отмечено, что испытуемый проявил много энергии и инициативы в общественной работе.

В дальнейшем испытуемый был назначен инспектором РОНО. С его слов, первое время новая должность его "захватила", и он считал, что может путем борьбы с недостатками многое сделать для "народного образования". Был непримирим к замеченным недостаткам и всегда считал правильной только свою точку зрения.

Один из свидетелей отмечает, что испытуемый проявил "своеобразную активность": его трудно было переубедить в чем-либо, он везде и всюду замечал только недостатки, на пленумах и бюро пытался навязать свое мнение, создавал впечатление человека с "отклонениями в психике".

Испытуемый сообщает, что работать инспектором ему вскоре стало неинтересно, так как он "не находил возможности реализовать накопленные знания и опыт".

В связи с этим решил заняться вопросами сельского хозяйства и искоренить недочеты в этой области. Сам изъявил желание работать председателем одного из отстающих колхозов, так как считал себя человеком принципиальным, способным решать вопросы экономики и сельского хозяйства. Стремясь узнать колхозников, установить с ними контакт, завоевать авторитет, испытуемый попросил назначить ему низкую зарплату (30 рублей).

Считает, что с приходом его в колхоз жизнь колхозников сразу улучшилась. В то же время в имеющейся в деле служебной характеристике отмечено, что в колхозе, председателем которого был испытуемый, имелся незначительный рост экономики, испыты-

мый самовольно продал другому колхозу 40 куб. м леса, получив вместо этого 20 тонн пшеницы и оплатил ею трудодни колхозников.

В 1960 г. женился. Жена считает его человеком честным, справедливым, хорошим семьянином. Теща испытуемого отмечает, что он всегда был настойчив, поддерживал свою справедливость, свое мнение всегда отстаивал.

В показаниях свидетеля Иганова отмечено, что испытуемый к личной жизни относился "пренебрежительно", на собрания являлся в неприглядной грязной одежде, вместе с тем был энергичным, упрямым. Как видно из материалов уголовного дела, испытуемый в 1963 г. начал открыто высказывать свои независимые суждения по поводу положения в сельском хозяйстве, в связи с чем 21 августа 1963 г. решением бюро РК партии исключен из партии, затем это решение было отменено и испытуемому был вынесен строгий выговор.

По словам испытуемого, он был "потрясен" выговором, считал его незаслуженным, а свои суждения правильными, но в то же время, переживая это, продолжал свои прежние высказывания. Как следует из протокола собрания ЛСХА, где учился заочно, он в обществе студентов пытался доказывать правоту своих взглядов, а на сделанные ему возражения реагировал злобно "вплоть до физических выпадов".

В январе 1968 г. он записал прослушанную им передачу Би-Би-Си и распространил ее частично по почте, знакомым и незнакомым студентам.

Наряду с этим написал письмо, которое содержит идеи реформаторства, касающиеся чрезвычайно широкого круга вопросов государственной и общественной жизни, и направил его в ЦК КПСС.

По словам испытуемого, изложенные им идеи в его многочисленных статьях, письмах "захватили его", он не мог готовиться к экзаменационной сессии, не мог сосредоточиться, так как постоянно размышлял над вопросами государственного значения, испытывал прилив мыслей. Обстановка казалась ему "необычной", новой, и он писал по ночам, был уверен, что убедит людей в своей правоте.

Как следует из материалов уголовного дела, испытуемый в марте 1968 г. был исключен из партии и уволен с должности председателя колхоза.

С октября 1968 г. по 25 марта 1969 г. работал кочагаром и характеризуется по работе формально положительно. Все это время он не переставал думать о судьбе государства и в августе 1968 г. написал очередное письмо, в котором высказывал свое недовольство в связи с событиями в ЧССР, однако письмо не отправил.

При обыске на квартире испытуемого были обнаружены многочисленные рукописи. В записях и отдельных тетрадях испытуемый касался ряда событий, происходящих в стране, и, как сам отмечает, выдвигал ряд своих предложений об изменении внешней и внутренней политики государства.

В своих показаниях в период следствия испытуемый указал, что своими действиями он преследовал одну лишь цель добиться того, чтобы восторжествовала правда, так как правду "надо сработать собственными мозгами, прощупать собственным сердцем, каждой клеткой своего тела", свои показания испытуемый закончил стихотворением Евтушенко.

По данному делу испытуемый проходил 1 апреля 1969 г. амбулаторную экспертизу в Республиканском психоневрологическом диспансере Риги. В психическом состоянии отмечено, что он в беседе держался высокомерно, был несколько манерен, говорил о содеянном с пафосом, был склонен к резонерству и детализации. Комиссия рекомендовала направить его на стационарную экспертизу, поставив предварительный диагноз: "шизофрения, параноидный синдром".

Стационарная экспертиза проводилась при Рижской психиатрической больнице. Из подлинника истории болезни видно, что поведение Яхимовича было внешне упорядоченным. Однако при этом он считал себя незаурядной личностью, заявлял, что в на-



стоящее время занимается изучением "философии различных преступников" и это дает ему духовную пищу.

Оставаясь равнодушным при беседе о семье и говоря, что забота о детях и семье — дело второстепенное и его она мало интересует, заявлял в то же время, что его волнуют только "мировые проблемы". При этом он с воодушевлением, подробно излагал свои взгляды, написанное им письмо называл "произведением", был убежден в своей правоте и справедливости. Высказывания испытуемого коррекции не поддавались.

3 июня 1969 г. испытуемый был представлен на Комиссию, где было вынесено заключение, что он обнаруживает паранойяльное развитие у психопатической личности. Был признан невменяемым.

В судебном заседании был допрошен ряд свидетелей, среди них родственники и знакомые Яхимовича. Всеми свидетелями испытуемый характеризуется положительно, они отмечают принципиальность испытуемого, его стремление к справедливости, энергичность и добросовестность.

Подчеркивая его добросовестность, один из свидетелей привел пример, как испытуемый при отсутствии автомашины "босиком обходил весь колхоз".

Присутствовавший в судебном заседании психиатр рекомендовал направить испытуемого на повторную судебно-медицинскую экспертизу.

При обследовании в институте установлено следующее:

Физические данные — нормальны.

Со стороны неврологической:

Зрачки равномерные, реакция на свет живая, аккомодация и конвергенция сохранены. Правая носогубная складка несколько сглажена, правый угол рта огушен. Сухожильные и периостальные рефлексы живые, высокие. Патологических рефлексов нет. В позе Ромберга устойчив.

Психическое состояние:

Испытуемый правильно ориентирован в окружающем, понимает, с какой целью направлен на экспертизу, и тут же подчеркивает, что он как "психически здоровый человек" в ней не нуждается. При беседе держится свободно, сидит в небрежной позе. Разговаривает несколько высокомерно, снисходительным, ироническим тоном.

Первое время он охотно, обстоятельно и подробно рассказывал о волновавших его проблемах, разработкой которых он занимается, обнаруживая при этом идеи переоценки собственной личности и реформаторства. Утверждал, что поднятые вопросы "государственной" важности будут приняты правительством и приведут к государственным переменам. Подчеркивал, что ради правды и справедливости он мобилизовал все свои возможности и это является целью его жизни. Свое поведение до ареста считает правильным. Заявлял, что он не мог не реагировать на окружающее, он считал своим долгом оценивать происходящее вокруг и часто по ночам критически анализировал в своей письменной продукции будто бы существующие ошибки в государственном управлении.

Суждения испытуемого по этому поводу были категоричными и при попытке ему возразить он заявлял, что такого рода разговор считает бесполезным.

В дальнейшем поведение испытуемого несколько изменилось. При беседе с врачом стал более настороженным, напряженным, с некоторой тревогой стал относиться к беседам, стремился уклониться от разговоров, связанных с его прошлой деятельностью, а при конкретных вопросах об этом формально начал заявлять о том, что будто бы считает свое поведение в прошлом легкомысленным, что он пренебрег научным методом познания. Говоря о том, что он, видимо, запутался в своих делах, поторопился, в то же время заявляет, что занимался полезным для общества делом.

Фиксирует внимание врача на том, что его поступки не должны быть оценены, как

поступки больного человека, при этом прямо заявляет, что опасается признания его психически больным.

С беспокоейством рассказывает о том, что у врачей Рижской больницы он замечал особую "заинтересованность" в признании его душевнобольным. Доказательство этого он видит в том, что врачи часто менялись, при встрече с ним "опускали глаза", испытывали элемент "неудобства".

Поведение в отделении внешне упорядоченное, но он каждый раз с тревогой ожидает беседы с врачом. Опасаясь признания его психически больным, он в то же время заметной обеспокоенности по поводу предъявленного обвинения и последствий этого не обнаруживает.

Мышление несколько обстоятельное, с элементами резонерства, со склонностью к фиксации внимания на аффективно-окрашенных для него переживаниях. К своему состоянию относится не критично.

На основании изложенного Комиссия приходит к заключению, что Яхимович является психопатической личностью, у которой возникло болезненное расстройство психической деятельности в форме патологического (параноидального) развития.

Как видно из данных материалов уголовного дела и настоящего клинического психиатрического обследования, испытуемому на протяжении всей его жизни были свойственны такие особенности психики, как аффективная неустойчивость, склонность к конфликтам, упорное стремление во всем доказать свою правоту, переоценка своих способностей.

Примерно с 1963 г. в условиях неблагоприятной ситуации у испытуемого развились болезненные идеи реформаторства, касающиеся вопросов экономики и общественной жизни, они сопровождались большой аффективной охваченностью, некритичной оценкой ситуации и своего поведения, при явно повышенной самооценке, что определило поведение испытуемого в целом.

При настоящем обследовании у испытуемого при внешней упорядоченности его поведения выявляется обстоятельность, ригидность мышления, склонность к патологической интерпретации отдельных фактов, стремление к диссимуляции имеющихся у него психических нарушений и некритичность в оценке своего состояния и сложившейся ситуации. В период времени, относящийся к инкриминируемым ему деяниям, Яхимович, вследствие указанного выше болезненного расстройства психической деятельности, не мог отдавать отчет в своих действиях и руководить ими, поэтому его следует считать невменяемым.

По своему психическому состоянию он нуждается в направлении в психиатрическую больницу общего типа на принудительное лечение.

**ПЕЧЕРНИКОВА**

**ЛУНЦ**

**ТАЛЬЦЕ**

**ТАБАНОВА**

*Тексты документов о "Деле И.Яхимовича" в основном публикуются нами по собранию мюнхенского общества "Архив самиздата". Некоторое время тому назад сотрудник радиостанции "Свобода", бывший рижанин и впоследствии автор нашего журнала, Виктор Федосеев передал в дар Латвийской Национальной библиотеке около 70 томов мюнхенской коллекции и сегодня также не обходит библиотеку своим вниманием. Редакция журнала, регулярно пользующаяся этим собранием, выражает признательность В.Федосееву и сотрудникам отдела редких книг и рукописей ЛНБ.*

*Публикацию документов подготовил БОРИС РАВДИН.*

# САМОУБИЙСТВО

*Несколько громких самоубийств, происшедших у нас за последнее время, усилили общественный интерес к этому явлению. Предлагаем вниманию читателя фрагменты сочинения выдающегося французского социолога Эмиля Дюркгейма (1858-1917). Этот труд (в трех книгах) написан в 1898 году, но и спустя без малого сто лет не утратил своей актуальности. Текст печатается по изданию Н.П.Карбасникова (Санкт-Петербург, 1912) в переводе А.Н.Ильинского под редакцией В.А.Базарова. Публикуемые отрывки даются с сокращениями, которые коснулись в основном фактических выкладок и научного аппарата книги; звездочки между фрагментами поставлены редактором.*

\*\*\*

Мы последовательно установили следующие три положения:

Число самоубийств изменяется обратно пропорционально степени интеграции религиозного общества.

Число самоубийств изменяется обратно пропорционально степени интеграции семейного общества.

Число самоубийств изменяется обратно пропорционально степени интеграции политического общества.

Из этого сопоставления видно, что если эти различные общества оказывают на самоубийства умеряющее влияние, то не в силу каких-либо особенностей, присущих каждому из них, а в силу общей им всем причины. Неспецифическая природа религиозных чувств дает религии силу воздействовать на число самоубийств — ибо семья и политическое общество, когда они крепко сплочены, обнаруживают одинаковое влияние; впрочем, мы это уже доказали выше, изучая непосредственно действие различных религий на самоубийство.

В свою очередь, специфические черты семейного и политического союза не могут нам объяснить оказываемого ими умеряющего влияния на развитие самоубийства, потому что то же влияние наблюдается и со стороны религиозного общества. Причина может лежать только в каком-нибудь общем для всех них свойстве, которым обладают все эти социальные группы, хотя и в разной степени. Единственно, что удовлетворяет такому условию, — это тот факт, что все они представляют собою тесно сплоченные социальные группы. Мы приходим, следовательно, к нашему общему выводу: число самоубийств обратно пропорционально степени интеграции тех социальных групп, в которые входит индивид.

Но сплоченность общества не может ослабиться без того, чтобы индивид в той же мере не отставал от социальной жизни, чтобы его личные идеи не перевешивали стремления к общему благу, — словом, без того, чтобы единичная личность не стремилась стать выше коллективной. Чем сильнее ослабевают внутренние связи той группы, к которой принадлежит индивид, тем меньше он от нее зависит, и тем больше в своем поведении он будет руководиться соображениями своего личного

интереса. Если условиться называть эгоизмом такое состояние индивида, когда индивидуальное "я" резко противопоставляет себя социальному "я" и в ущерб этому последнему, — то мы можем назвать эгоистичным тот частный вид самубийства, который вызывается чрезмерной индивидуализацией.

Но каким образом самоубийство может иметь такое происхождение?

Ясно прежде всего, что коллективная связь, будучи одним из препятствий, задерживающих всего сильнее самоубийства, — не может ослабеть, не увеличивая тем самым число самоубийств. Когда общество тесно сплочено, то индивидуальная воля находится как бы в его власти, занимает по отношению к нему чисто служебное положение, и, конечно, индивид при таких условиях не может по своему усмотрению располагать собою. Добровольная смерть является здесь изменой общему долгу. Но когда люди отказываются признать законность такого подчинения, то какой силой обладает общество для того, чтобы утвердить по отношению к ним свое верховенство? В его распоряжении нет достаточного авторитета для того, чтобы удержать людей на их посту, в тот момент, когда они хотят дезертировать, и, сознавая свою слабость, общество доходит до признания за индивидом права делать то, чему оно бессильно воспрепятствовать. Раз человек признается хозяином своей жизни, он вправе положить ей конец. С другой стороны, у индивидов отпадает один из мотивов к тому, чтобы безропотно терпеть жестокие жизненные лишения. Когда люди объединены и связаны любовью с той группой, к которой они принадлежат, то они легко жертвуют своими интересами ради общей цели и с большим упорством борются за свое существование. Одно и то же чувство побуждает их преклоняться перед стремлением к общему благу и дорожить своей жизнью, а сознание великой цели, стоящей перед ними, заставляет их забыть о личных страданиях. Наконец, в сплоченном и жизненном обществе можно наблюдать постоянный обмен идей и чувств между всеми и каждым, и поэтому индивид не предоставлен своим единичным силам, но имеет долю участия в коллективной энергии, находит в ней поддержку в минуты слабости и упадка.

Однако все это имеет только второстепенное значение. Крайний индивидуализм не только благоприятствует деятельности причин, вызывающих самоубийства, но может сам считаться одной из причин такого рода. Он не только устраняет препятствия, сдерживающие стремление людей убивать себя, но сам возбуждает это стремление и дает место специальному виду самоубийств, которые носят на себе его отпечаток. Надо обратить особое внимание на это обстоятельство потому, что в этом состоит специальная природа рассматриваемого нами типа самоубийств и этим оправдывается название "эгоистическое самоубийство", которые мы ему дали. Что же именно в индивидуализме приводит к таким результатам?

Часто высказывалось мнение, что в силу своего психологического устройства человек не может жить, если он не прилепляется духовно к чему-либо его превышающему и способному его пережить; эту психологическую особенность человека объясняли тем, что наше сознание не может примириться с перспективой полного исчезновения. Говорят, что жизнь терпима только тогда, если вложить в нее какое-нибудь разумное основание, какую-нибудь цель, оправдывающую все ее страдания, что индивид, предоставленный самому себе, не имеет настоящей точки приложения для своей энергии. Человек чувствует себя ничтожеством в общей массе людей; он ограничен узкими пределами не только в пространстве, но и во времени. Если наше сознание обращено только на нас самих, то мы не можем отделаться от мысли, что, в конечном счете, все усилия пропадают в том "ничто", которое ожидает нас после смерти. Грядущее уничтожение ужасает нас. При таких условиях невозможно сохранить мужество жить дальше, т.е. действовать и бо-

роться, если все равно из всего затрачиваемого труда ничего не останется. Одним словом, позиция эгоизма противоречит человеческой природе, и поэтому она слишком ненадежна для того, чтобы иметь шансы на долгое существование.

Но в такой абсолютной форме это положение представляется очень спорным. Если бы действительно мысль о конце нашего бытия была нам в такой степени нестерпима, то мы могли бы согласиться жить только при условии самоослепления и умышленного убеждения себя в ценности жизни. Ведь если можно до известной степени замаскировать от нас перспективу ожидающего нас "ничто", мы не можем воспрепятствовать ему наступить: что бы ни делали мы — оно неизбежно. Мы можем добиться только того, что память о нас будет жить в нескольких поколениях, что наше имя переживет наше тело; но всегда неизбежно наступит момент, и для большинства людей он наступает очень быстро, — когда от памяти о них ничего не остается. Те группы, к которым мы примыкаем для того, чтобы при их посредстве продолжалось наше существование, сами смертны в свою очередь; они также обречены разрушиться в свое время, унеся с собой все, что мы вложили в них своего. В очень редких случаях память о какой-нибудь группе настолько тесно связана с человеческой историей, что ей обеспечено столь же продолжительное существование, как и самому человечеству. Если бы у нас действительно была такая жажда бессмертия, то подобная жалкая перспектива никогда не могла бы нас удовлетворить. В конце концов, что же остается после нас? Какое-нибудь слово, один звук, едва заметный и чаще всего безмятный след. Следовательно, не остается ничего такого, что искупало бы наши напряженные усилия и оправдывало их в наших глазах. Действительно, хотя ребенок по природе своей эгоистичен и мысли его совершенно не заняты заботами о будущей жизни, и хотя дряхлый старик в этом, а также и во многих других отношениях очень часто ничем не отличается от ребенка, тем не менее оба они больше, чем взрослый человек, дорожат своим существованием. Случаи самоубийства чрезвычайно редки в течение первых 15 лет жизни, и уменьшение числа самоубийств наблюдается также в глубокой старости. То же можно сказать и относительно животных, психологическое строение которых лишь по степени отличается от человеческого. Неверно поэтому утверждение, что жизнь возможна лишь при том условии, если смысл жизни находится вне ее самой.

В самом деле, существует целый ряд функций, в которых заинтересован только единственный индивидуум: мы говорим о тех функциях, которые необходимы для поддержания его физического существования. Так как они специально для этой цели предназначены, то осуществляются в полной мере всякий раз, как эта цель достигается. Следовательно, во всем, что касается этих функций, человек может действовать разумно, не ставя себе никаких превосходящих его целей; функции эти уже тем самым, что они служат человеку, получают вполне законченное оправдание. Поэтому человек, поскольку у него нет других потребностей, сам себе доволен и может жить вполне счастливо, не имея другой цели, кроме той, чтобы жить. Конечно, взрослый и цивилизованный человек не может жить в таком состоянии; в его сознании накапливается множество идей, самых различных чувств, правил, не стоящих ни в каком отношении к его органическим потребностям. Искусство, мораль, религия, политика, сама наука — вовсе не имеют своей целью ни правильного функционирования, ни восстановления физических органов человека. Вся сверхфизическая жизнь образовалась вовсе не под влиянием космической среды, но проснулась и развилась под действием социальной среды. Происхождением чувств симпатии к ближним и солидарностью с ними мы обязаны влиянию общечеловечности. Именно общество, создавая нас по своему образцу, внушило нам те религиозные и политические убеждения, которые управляют нашими поступка-

ми. Мы развиваем наш интеллект ради того, чтобы исполнить наше социальное предназначение, и само общество, как сокровищница знания, снабжает нас орудиями для нашего умственного развития.

Уже в силу того, что высшие формы человеческой деятельности имеют коллективное происхождение, они преследуют коллективную же цель, поскольку они зарождаются под влиянием общественности, постольку к ней же относятся и все их стремления, можно сказать, что эти формы являются самим обществом, воплощенным и индивидуализированным в каждом из нас. Но для того, чтобы подобная деятельность имела в наших глазах разумное основание, самый объект, которому она служит, не должен быть для нас безразличным. Мы можем быть привязаны к первой лишь в той мере, в какой мы привязаны и ко второму, т.е. к обществу. Наоборот, чем сильнее мы оторвались от общества, тем более мы удалились от той жизни, для которой оно одновременно является и источником и целью. К чему эти правила морали, нормы права, принуждающие нас ко всякого рода жертвам, эти стесняющие нас догмы, если вне нас нет существа, которому все это служит и с которым мы были бы солидарны? Зачем тогда существует наука? Если она не приносит никакой другой пользы, кроме той, что увеличивает наши шансы в борьбе за жизнь, то она не стоит затрачиваемого на нее труда. Инстинкт лучше исполняет эту роль; доказательством служат животные. Какая была надобность заменять инстинкт размышлением, менее уверенным в себе и более подверженным ошибкам? И в особенности, чем оправдать переносимые нами страдания? Испытываемое индивидуумом зло ничем не может быть оправдано и становится совершенно бессмысленным, раз ценность всего существующего определяется с точки зрения отдельного человека. Для человека твердо религиозного, для того, кто тесными узами связан с семьей или определенным политическим обществом, подобная проблема даже не существует. Добровольно и свободно, без всякого размышления, такие люди отдают все свое существо, все свои силы: один — своей церкви, или своему Богу, живому символу той же церкви, другой — своей семье, третий — своей родине или партии. В самых своих страданиях эти люди видят только средство послужить прославлению группы, к которой они принадлежат и которой этим они выражают свое благоговение. Таким образом христианин достигает того, что преклоняется перед страданием и ищет его, чтобы лучше доказать свое презрение к плоти и приблизиться к своему божественному образцу. Но поскольку верующий начинает сомневаться, т.е. поскольку он эмансипируется и чувствует себя менее солидарным с той вероисповедной средой, к которой он принадлежит, поскольку семья и общество становятся для индивида чужими, постольку он сам для себя делается тайной и никуда не может уйти от назойливого вопроса: "Зачем все это нужно?"

Другими словами, если, как часто говорят, человек по натуре своей двойствен, то это значит, что к человеку физическому присоединяется человек социальный, а последний неизбежно предполагает существование общества, выражением которого он является и которому он предназначен служить. И как только оно разбивается на части, как только мы перестаем чувствовать над собой его животворную силу, тотчас же социальное, начало, заложенное внутри нас, как бы теряет свое объективное существование. Остается только искусственная комбинация призрачных образов, фантазмагория, рассеивающаяся от первого легкого прикосновения мысли; нет ничего такого, что бы могло дать смысл нашим действиям, а между тем в социальном человеке заключается весь культурный человек; только он дает цену нашему существованию. Вместе с тем мы утрачиваем всякое основание дорожить своей жизнью; та жизнь, которая могла бы нас удовлетворить, не соответствует более ничему в действительности, а та, которая соответствует действительности,

не удовлетворяет больше нашим потребностям. Так как мы были приобщены к высшим формам существования, то жизнь, которая удовлетворяет требованиям ребенка и животного, уже не в силах больше удовлетворить нас. Но раз эти высшие формы ускользают от нас, мы остаемся в совершенно беспомощном состоянии; нас охватывает ощущение трагической пустоты и нам не к чему больше применить свои силы. В этом отношении совершенно справедливо говорят, что для полного развития нашей деятельности необходимо, чтобы объект ее превосходил нас. Не для того нужен нам этот объект, чтобы он поддерживал в нас иллюзию невозможного бессмертия; но он как таковой подразумевается самой нашей моральной природой; и если он исчезает, хотя бы только отчасти, то в той же мере и наша моральная жизнь теряет некий смысл. Совершенно лишне доказывать, что при таком состоянии психической дисгармонии незначительные неудачи легко приводят к отчаянным решениям. Если жизнь теряет всякий смысл, то в любой момент можно найти предлог покончить с нею счеты.

Но это еще не все. Подобное чувство оторванности от жизни наблюдается не только у отдельных индивидов. В число составных элементов всякого национального темперамента надо включить и способ оценки значения жизни. Подобно индивидуальному настроению существует коллективное настроение духа, которое склоняет народ либо в сторону веселья, либо печали, которое заставляет видеть предметы или в радужных, или в мрачных красках. Мало того, только одно общество в состоянии дать оценку жизни в целом; отдельный индивид здесь не компетентен. Отдельный человек знает только самого себя и свой узкий горизонт; его опыт слишком ограничен для того, чтобы служить основанием для общей оценки. Человек может думать, что его собственная жизнь бесцельна, но он не может ничего сказать относительно других людей. Напротив, общество может, не прибегая к софизмам, обобщить свое самочувствие, свое состояние здоровья или хилости. Отдельные индивиды настолько тесно связаны с жизнью целого общества, что последнее не может стать больным, не заразив их; страдания общества неизбежно передаются и его членам; ощущения целого неизбежно передаются его составным частям. Поэтому общество не может ослабить свои внутренние связи, не сознавая, что правильные устои общей жизни в той же мере поколеблены. Общество есть цель, которой мы отдаем лучшие силы нашего существа, и поэтому оно не может не сознать, что, отрываясь от него, мы в то же время утрачиваем смысл нашей деятельности. Так как мы являемся созданием общества, оно не может сознать своего упадка, не ощущая при этом, что создание его отныне не служит более ни к чему. Таким путем обыкновенно образуются общественные настроения уныния и разочарования, которые не происходят, в частности, от одного только индивида, но выражают собою состояние разложения, в котором находится общество. Они свидетельствуют об ослаблении специальных уз, о своеобразном коллективном бесчувствии, о социальной тоске, которая, подобно индивидуальной грусти, когда она становится хронической, свидетельствует на свой манер о болезненном органическом состоянии индивидов. Тогда появляются на сцену те метафизические и религиозные системы, которые, формулируя эти смутные чувства, стараются доказать человеку, что жизнь не имеет смысла и что верить в существование этого смысла значит обманывать самого себя. Новая мораль заступает место старой и, возвышая факт в право, если не советует и не предписывает самоубийство, то по крайней мере направляет в его сторону человеческую волю, внушая человеку, что жить надо возможно меньше. В момент своего появления мораль эта кажется изобретенной всевозможными авторами, и их иногда даже обвиняют в распространении духа упадка и отчаяния. В действительности же эта мораль является следствием, а не причиной; новые учения о нравственности только

символизируют на абстрактном языке и в систематической форме физиологическую слабость социального тела. И поскольку эти течения носят коллективный характер, постольку, в силу самого своего происхождения, они носят на себе отпечаток особенного авторитета в глазах индивида и толкают его с еще большей силой по тому направлению, по которому влечет его состояние морального распада, вызванного в нем общественной дезорганизацией. Итак, в тот момент, когда индивид резко отделяется от общества, он все еще ощущает на себе следы его влияния. Как бы ни был индивидуален каждый человек, внутри него всегда остается нечто коллективное: это уныние и меланхолия, являющиеся последствием крайнего индивидуализма. Обобщается тоска, когда нет ничего другого для обобщения.

Рассмотренный выше тип самоубийств вполне оправдывает данное ему нами название: эгоизм является здесь не вспомогательным фактором, а производящей причиной. Если разрываются узы, соединяющие человека с жизнью, то это происходит потому, что ослабла связь его с обществом. Что же касается фактов частной жизни, кажущихся непосредственной и решающей причиной самоубийства, — то в действительности они могут быть признаны только случайными. Если индивид так легко склоняется под ударами жизненных обстоятельств, то это происходит потому, что состояние того общества, к которому он принадлежит, сделало из него добычу, уже совершенно готовую для самоубийства.

Несколько примеров подтверждают наше положение. Мы знаем, что самоубийство среди детей — факт совершенно исключительный и что с приближением глубокой старости склонность к самоубийству ослабевает; в обоих случаях физический человек захватывает все существо индивида. Для детей общества еще нет, так как оно еще не успело сформировать их по образу своему и подобию; от старика общество уже отошло, или — что сводится к тому же — он отошел от общества. В результате, и ребенок и старик более чем другие люди могут удовлетворяться самими собою; они меньше других людей нуждаются в том, чтобы пополнять себя извне, и, следовательно, скорее других, могут найти все то, без чего нельзя жить. Отсутствие самоубийства у животных имеет такое же объяснение. Если общества низшего порядка практикуют особую, только им свойственную форму самоубийства, то тот тип, о котором мы только что говорили, им совершенно неизвестен. При несложности общественной жизни социальные склонности всех людей имеют одинаковый характер и в силу этого нуждаются для своего удовлетворения в очень немногом; а кроме того, такие люди легко находят вне себя объект, к которому они могут прилепиться. Если первобытный человек, отправляясь в путешествие, мог унести с собою своих богов и свою семью, то он уже тем самым имел все, чего требовала его социальная природа.

Здесь мы находим также объяснение тому обстоятельству, почему женщина легче, чем мужчина, переносит одиночество. Когда мы видим, что вдова скорее, чем вдовец, мирится со своею участью и с меньшею охотой ищет возможности второго брака, то можно подумать, что эта способность обходиться без семьи может быть отнесена на счет превосходства ее над мужчиной; говорят, что аффективные данные женщины, будучи по природе своей очень интенсивными, легко находят себе применение вне круга домашней жизни, тогда как мужчине необходима женская преданность для того, чтобы помочь ему переносить жизненные затруднения. В действительности если женщина и обладает подобной привилегией, то скорее в силу того, что чувствительность у нее недоразвита, чем в силу того, что она развита чрезмерно. Поскольку она больше, чем мужчина, живет в стороне от общественной жизни, постольку она меньше проникнута интересами этой жизни. Общество ей менее необходимо, так как она менее проникнута общественностью; потребности ее почти не обращены в эту сторону, и она с меньшей, чем мужчина,



затратой сил удовлетворяет им. Невышедшая замуж женщина считает свою жизнь наполненной выполнением религиозных обрядов и уходом за домашними животными. Если такая женщина остается верной религиозным традициям и вследствие этого имеет надежное убежище от самоубийства, — это значит, что очень несложных социальных форм достаточно для удовлетворения всех ее требований. Наоборот, мужчина нашего времени чувствует себя стесненным религиозной традицией; по мере своего развития мысль его, воля и энергия выступают из этих архаических рамок; но на место их ему нужны другие; как социальное существо более сложного типа, он только тогда сохраняет равновесие, когда вне себя находит много точек опоры; и так как моральная устойчивость его зависит от множества внешних условий, то вследствие этого она легче и нарушается.

\*\*\*

Ничто чрезмерное не может считаться хорошим в общем порядке жизни. Та или иная биологическая способность может выполнять предназначенные ей функции только при условии соблюдения известных пределов. То же самое следует сказать и о социальных явлениях. Если, как мы только что видели, крайний индивидуализм приводит человека к самоубийству, то недостаточно развитая индивидуальность должна приводить к тем же результатам. Когда человек отделился от общества, то в нем легко зарождается мысль покончить с собой; то же самое происходит с ним и в том случае, когда общественность вполне и без остатка поглощает его индивидуальность.

Часто можно встретиться с мнением, что самоубийство незнакомо обществам низшего порядка; правда, только что рассмотренный нами эгоистический тип самоубийства может быть частным явлением в этой среде, но зато мы встречаемся здесь с другим, эндемическим видом самоубийства.

Bartholin в своей книге "De causis contemptae mortis a Danis" говорит, что датские воины считали позором для себя умереть на своей постели или покончить свои дни от болезни и в глубокой старости, и для того, чтобы избегнуть такого позора, сами кончали с собой. Точно также готы думали, что люди, умирающие естественной смертью, обречены вечно гнить в пещерах, наполненных ядовитыми животными. На границе вестготских владений возвышалась высокая скала, носившая название "Скала предков", с которой старики бросались вниз и умирали, когда жизнь становилась им в тягость. У фракийцев и герулов можно найти тот же обычай. Silvius Stalicus говорит следующее об испанских кельтах: "Это народ, обильно проливающий свою кровь и как бы ищущий смерти. Как только кельт вступает в возраст, следующий за полным физическим расцветом, он с большой нетерпеливостью переносит свое существование и, презирая старость, не хочет дожидаться естественной смерти; своими руками кладет он конец своему существованию". По их мнению, людей, добровольно обретающих смерть, ожидает блаженная жизнь, и наоборот, для того, кто умер от болезни или старческой дряхлости, уготована ужасная преисподняя. В Индии долгое время существовал такой же обычай. Благосклонного отношения к самоубийству, может быть, еще нельзя найти в книге Вед, но во всяком случае оно имеет очень древнее происхождение. Плутарх говорит следующее по поводу самоубийства брамина Калана: "Он принес сам себя в жертву согласно существовавшему среди мудрецов той страны обычаю". Квинт Курций пишет: "Среди них существует особый род грубых и диких людей, которым дается имя мудрецов; в их глазах считается заслугой предупредить день своей смерти, и они сжигают

себя заживо, как только наступает старость или приходит болезнь. Ожидать спокойно своей смерти считается бесчестьем жизни; тела людей, умерших от старости, не удостоиваются никаких почестей, огонь считается оскверненным, если жертва его бездыханна". Аналогичные факты наблюдались на островах Фиджи, Новых Гебридах, у мангов и т.д. В Кеосе люди, переступившие известный возраст, собирались на торжественном празднестве с головами, украшенными цветами, и весело пили цикуту. Те же самые обычаи существовали у троглодитов и у сиропэонов, прославивших себя своей высокой нравственностью.

Известно, что помимо стариков у этих же народов подобная участь ожидала вдов. Этот варварский обычай настолько внедрился в практику индусов, что никакие усилия англичан не могут уничтожить его. В 1817 году в одной только бенгальской провинции покончили с собой 716 вдов, в 1821 году на всю Индию приходилось 2366 таких случаев. Кроме того, если умирает принц крови или вождь, то за ним обязаны последовать его слуги. Так бывало и в Галлии. Анри Мартен говорит, что похороны вождей представляли собой кровавые гетакобины; вся одежда их, оружие, лошади, любимые рабы следовали за умершим господином, к ним присоединялись преданные воины, в нашедшие себе смерти в последнем бою, — и все они предавались торжественному сожжению. Ни один преданный воин не должен был пережить своего вождя. У ашантиев после смерти короля его приближенные должны были покончить с собою. Наблюдатели встречались с подобными же обычаями на островах Гаваи.

Итак, мы видим, что у первобытных народов самоубийство — явление очень частое, но имеет свои характерные особенности.

В самом деле, все вышеизложенные нами факты могут быть отнесены к одной из трех нижеследующих категорий:

- 1) самоубийство людей престарелых или больных;
- 2) самоубийство жен после смерти мужей;
- 3) самоубийство рабов, слуг и т.д. после смерти хозяина или начальника.

Во всех этих случаях человек лишает себя жизни не потому, что он сам хотел этого, а в силу того, что он должен был так сделать. Если он уклоняется от исполнения этого долга, то его ожидает бесчестье и, чаще всего, религиозная кара. Вполне естественно, что когда нам говорят о стариках, которые кончают с собою, то по первому впечатлению можно думать, что мы имеем здесь дело с человеком, уставшим от жизни, от невыносимых страданий, свойственных этому возрасту. Но если бы действительно самоубийство в данном случае не имело другого объяснения, если бы индивид убивал себя исключительно для того, чтобы избавиться от тяжелой жизни, то нельзя было бы сказать, что он обязан делать это. Нельзя человека заставлять пользоваться привилегией. Однако мы видим, что если он продолжает жить, то тем самым он лишается общего уважения; ему отказывают в установленных погребальных почестях и, по общему верованию, его ожидают за гробом ужасные мучения. Общество оказывает на индивида в данном случае определенное психическое давление для того, чтобы он непременно покончил с собой. Конечно, общество играет некоторую роль и в эгоистическом самоубийстве, но влияние его далеко неодинаково в этих двух случаях. В первом случае роль его исчерпывается тем, что оно теряет связь с индивидом и делает его существование беспочвенным; во втором — оно формально предписывает человеку покончить с жизнью. В первом случае оно внушает и, самое большее, советует, во втором — оно обязывает и самоопределяет условия и обстоятельства, при которых обязательство это должно быть выполнено.

И общество требует подобного самопожертвования в социальных интересах. Если клиент не должен пережить своего патрона, а слуга — своего господина, зна-

чит, общественное устройство устанавливает между покровительствуемым и покровителем, между королем и его приближенными настолько тесную связь, что не может быть и речи об отделении одних от других, и участь, ожидающая их всех, должна быть одинакова. Подданные должны всюду следовать за своим господином, даже в загробной жизни, точно так же, как его одежда и его оружие; если бы был допустим иной порядок, социальная иерархия не была бы вполне тем, чем она должна быть. Тот же характер носит отношение жены к мужу. Что касается стариков, которые обязаны не дожидаться естественной смерти, то, по всей вероятности, этот обычай, по крайней мере в большинстве случаев, покоится на мотивах религиозного порядка. В самом деле, дух, покровительствующий семье, поселяется в ее главе; с другой стороны, принято думать, что бог, обитающий в чужом теле, участвует в жизни этого тела, болеет и стареет вместе с ним. Время не может расшатать силы одного без того, чтобы этим не был ослаблен и другой, без того, чтобы целая группа не оказалась в положении, угрожающем ее существованию, раз охраняющее ее божество лишилось всякой силы. Поэтому в общих интересах отец не должен ожидать крайнего срока своей земной жизни, чтобы вовремя передать своим наследникам тот драгоценный дар, который он хранит в себе.

Такого объяснения вполне достаточно для того, чтобы понять, чем вызывается этот вид самоубийств. Если общество может принуждать некоторых своих членов к самоубийству, то это обстоятельство означает, что индивидуальная личность в данной среде ценится очень низко. Первый признак самоопределения личности — это признание за собою права на жизнь, права, которое нарушается только в исключительных случаях, как, например, во время войны. Но эта слабая степень индивидуализации может, в свою очередь, иметь только одно объяснение. Для того чтобы индивид занимал такое незначительное место на фоне коллективной жизни, необходимо почти полное поглощение его личности той группой, к которой он принадлежит, и, следовательно, эта последняя должна являться очень крепко сплоченною. Но составные части могут в такой ничтожной степени пользоваться самостоятельным существованием лишь в том случае, если целое представляет собою компактную и сплошную массу. И действительно, в обществе, где наблюдаются подобные обычаи, имеется налицо такая крепкая спаянность его отдельных частей. В силу немногочисленности составных элементов общества они все живут однородною жизнью и имеют общие идеи, чувства, занятия. В то же время, опять-таки в силу той же незначительности самой группы, она близка к каждому своему члену и легко может не терять его из виду; в результате коллективное наблюдение не прекращается ни на минуту, касается всех сторон жизни индивида и сравнительно легко предупреждается всякого рода расхождение его с группой. В распоряжении индивида не имеется, таким образом, средств создать себе особую среду, под защитой которой он мог бы развить все свои индивидуальные качества, выработать свою собственную физиономию. Ничем не отличаясь от других членов группы, индивид является только, так сказать, *некоторою частью* целого, не представляя сам по себе никакой ценности. При таких условиях личность ценится так дешево, что покушения против нее со стороны частных лиц вызывают только очень слабую репрессию. Вполне естественно, что личность еще менее защищена от коллективных требований; и общество, нисколько не колеблясь, — требует от нее по самому ничтожному поводу прекращения жизни, которая так мало им ценится.

Можно считать вполне установленным, что здесь мы имеем дело с типом самоубийства, резко отличающимся от рассмотренного выше. В то время как последний объясняется крайним развитием индивидуализма, первый имеет своей причиной недостаточное развитие индивидуализма. Один тип самоубийства вытекает из

того обстоятельства, что общество, разложившееся в известных своих частях или даже в целом, дает индивиду возможность ускользнуть из-под своего влияния; другой же тип есть продукт абсолютной зависимости личности от общества. Если мы называли "эгоизмом" то состояние, когда человеческое "я" живет только личной жизнью и следует только своей личной воле, то слово — "альтруизм" так же точно выражает обратное состояние, когда "я" не принадлежит самому человеку, когда оно смешивается с чем-то другим, чем оно само, и когда центр его деятельности находится вне его существа, во внутри той группы, к которой данный индивид относится. Поэтому то самоубийство, которое вызывается чрезмерным альтруизмом, мы и называем **альтруистическим**. Но так как характерным для данного типа самоубийства является то обстоятельство, что оно совершается во имя долга, то и в самой терминологии должна быть оттенена эта его особенность; ввиду этого охарактеризованный нами сейчас тип самоубийства мы будем называть **обязательным альтруистическим типом самоубийства**.

Наличность этих двух прилагательных необходима для полного определения данного типа, потому что не каждое альтруистическое самоубийство является обязательным. Существует целый ряд самоубийств, где властная рука общества чувствуется не в такой исключительной степени и поэтому самоубийство носит более факультативный характер. Иначе говоря, альтруистическое самоубийство представляет собою некоторый вид, обнимающий различные разновидности. Одну из таких разновидностей мы уже рассмотрели, теперь обратимся к другим.

В тех обществах, о которых мы только что говорили, или в других, однородных с ними, часто наблюдается самоубийство, имеющее своим непосредственным и наглядным мотивом какое-нибудь совершенно ничтожное обстоятельство. Тит Ливий, Цезарь, Валерий Максим говорят нам с удивлением, граничащим с восторгом, о том величавом спокойствии, с которым галльские и германские варвары кончали с собой. Некоторые кельты готовы были умереть ради денег или вина. Были среди них люди, не считавшие достойным отступать перед пламенем пожара или морским прибоем. Современные путешественники могли наблюдать подобные случаи в массе у диких народов. В Полинезии было достаточно самой легкой обиды для того, чтобы толкнуть человека на самоубийство; то же самое наблюдалось среди индейцев Северной Америки; достаточно супружеской ссоры или вспышки ревности, для того чтобы мужчина или женщина кончали с собой. У племен Дакота и Криксы малейшее огорчение вызывает самое отчаянное решение. Известна та легкость, с которою японцы вспарывают себе живот по самому незначительному поводу; передают, что существует даже особый вид дуэли, при котором состязаются не в искусстве нанесения ударов противнику, а в проворстве вспарывания себе живота своими собственными руками. Аналогичные факты наблюдаются в Китае, Кохинхине, Тибете и Сиамском королевстве.

Во всех этих случаях человек лишает себя жизни без явно выраженного к тому принуждения. Однако этот вид самоубийства, по природе своей, ничем не отличается от обязательного. Если общественное мнение формально не предписывает здесь покончить с собой, то относится к этому благосклонно. Если считается добродетелью, и даже добродетелью *par excellence*, не дорожить своею жизнью, то наибольшие похвалы вызывает тот, кто уходит из жизни под влиянием самого легкого побуждения или даже просто ради бравады. Самоубийство как бы удостоверяется общественной премией, которая действует на человека воодушевляющим образом, и лишение этой награды имеет те же последствия, хотя и в меньшей степени, как само наказание. То, что делается в одном случае для избежания позора — повторяется в другом с целью завоевания большего уважения. Если с самого детства человек привыкает дешево ценить свою жизнь и презирать людей, слишком

к ней привязанных, то вполне понятно и неизбежно, что он кончает с собой под влиянием самого незначительного предложения. Вполне естественно, что человек без всякого труда решает на жертву, которая для него так мало стоит. Так же как и обязательное самоубийство, явление это составляет самую основную черту морали обществ, принадлежащих к низшему порядку. Так как такие общества могут существовать лишь при отсутствии у индивида всяких личных интересов, то необходимо, чтобы этот последний был воспитан в духе полного самоотречения и самоотвержения; отсюда вытекают этого рода самоубийства, в значительной своей части добровольные.

Точно так же, как и в том случае, когда общество более определенно предписывает индивиду покончить с собой, рассматриваемые самоубийства вызываются тем состоянием безличности или, как мы называли его выше, "альтруизма", которым характеризуется вообще мораль первобытного человека. Поэтому эту разновидность самоубийств мы также называем альтруистической, и если, с целью сильнее оттенить ее специальный признак, мы прибавляем определение "**факультативный**", то это надо понимать в том смысле, что данный вид самоубийства менее настоятельно диктуется обществом, чем те самоубийства, которые являются результатом безусловного обязательства. Эти две разновидности настолько тесно сливаются между собой, что невозможно даже определить, где начинается одна и где кончается другая.

Существует, наконец, целый ряд других случаев, когда альтруизм более непосредственно и с большей силой побуждает человека к самоубийству. В предыдущих примерах он влечет индивида к самоубийству только при наличии известных обстоятельств: или человеку требование умереть внушалось как долг, или, каким бы то ни было образом, затрагивалась его честь, или в силу какого-нибудь постигшего его несчастья жизнь совершенно теряла в его глазах всякую ценность. Но бывает и так, что человек убивает себя, упоенный исключительно самою радостью принесения себя в жертву, т.е. отречение от жизни само по себе и без всякой особой причины считается похвальным.

Индия — классическая страна для подобных самоубийств; уже под влиянием одного браманизма индусу легко покончить с собою. Правда, законы Ману говорят о самоубийстве с известным ограничением; человек должен достигнуть известного возраста или оставить после себя по крайней мере одного сына. Но удовлетворив этим условиям, индус уже ничем не связан с жизнью. "Браман, освободившийся от своего тела, при помощи одного из способов, завещанных нам великими святыми, без страха и горя, считается достойным быть допущенным в место-пребывание Брамь" ("Законы Ману" VI.22). Хотя буддизму часто предьявляют обвинение в том, что он довел этот принцип до его крайних пределов и возвел самоубийство до степени религиозного обряда, но в действительности он, скорее, его осуждает. Конечно, согласно учению буддийской религии, нет высшего блаженства, как уничтожиться в нирване; но такое отречение от бытия может и должно быть осуществимо уже в земной жизни и для его реализации нет надобности в насильственных средствах. Во всяком случае, идея о том, что человек должен бежать от жизни, настолько совпадает с мировоззрением индусов, что ее можно найти в различных видах во всех главных сектах, произошедших от буддизма или образованных одновременно с ним; таков, например, джайнизм. Хотя одна из канонических книг этой секты осуждает самоубийство, обвиняя его в том, что оно преувеличивает цену жизни, надписи, собранные в очень большом количестве храмов, свидетельствуют, что, в особенности среди южных последователей этой секты, самоубийство на религиозной почве — явление очень распространенное; так, например, здесь люди часто обрекают себя на голодную смерть.

Среди индусов очень распространен обычай искать смерти в водах Ганга и других священных реках. Найденные надписи говорят нам о королях и министрах, которые готовились кончить свои дни таким образом, и нас уверяют, что еще в начале XIX века этот суеверный обычай был в полной своей силе.

У племени биль есть скала, с вершины которой люди бросались в знак религиозной преданности божеству Шива; в 1822 году один офицер присутствовал при жертвоприношении такого рода. Существует поистине классический рассказ о фанатиках, которые массами раздавливались колесами идола Джаггернаута. Шарлевуа наблюдал такого же рода ритуал в Японии. "Очень часто можно видеть, — говорит он, — вдоль берегов моря целый ряд лодок, наполненных фанатиками, которые или бросаются в воду, предварительно привязав к себе камни, или просверливают свои лодки и постепенно погружаются в море, распевая гимны в честь своих идолов. Громадная толпа зрителей следит глазами за ними, возносит до небес их добродетели и просит их благословить себя, прежде чем они исчезнут под водой. Последователи секты амида заставляют замуровывать себя в пещерах, где едва можно поместиться в сидячем положении и куда воздух проходит только через отдушину, и затем спокойно умирают голодной смертью. Другие взбираются на вершины высочайших скал, под которыми покоятся залежи серы и по временам вылетает пламя. Стоя на вершине, фанатики громко взывают к богам, прося принять в жертву их жизнь и послать на них пламя. Как только появляется огненный язык, они приветствуют его как знак согласия богов и головой вниз бросаются в пропасть. Память этих так называемых мучеников пользуется большим почетом".

Нет другого вида самоубийств, где бы сильнее был выражен альтруистический характер. Во всех этих случаях мы видим, как субъект стремится освободиться от своей личности, для того чтобы погрузиться во что-то другое, что он считает своею настоящей сущностью. Как бы ни называлась эта последняя, индивид верит, что он существует в ней и только в ней, и стремясь к утверждению своего бытия, он, вместе с тем, стремится слиться воедино с этой сущностью. В этом случае человек не считает своего теперешнего существования действительным. Безличность достигает здесь своего максимума и альтруизм выражен с полной ясностью. Но, возражат нам, не объясняется ли этот вид самоубийства только пессимистическим взглядом человека на жизнь? Ведь если человек с такой охотой убивает себя, он, очевидно, не дорожит жизнью и, следовательно, представляет ее себе в более или менее безотрадных тонах. При такой точке зрения все самоубийства оказались бы похожими друг на друга. Между тем было бы большой ошибкой не делать между ними никакого различия; рассматриваемое отношение к жизни не всегда зависит от одной и той же причины, и потому, несмотря на кажущееся совпадение, оно является неодинаковым в различных случаях. Если эгоист, не признающий ничего реального в мире, кроме своей личности, не знает в жизни радости, то его нельзя ставить на одну доску с крайним альтруистом, неудержимая скорбь которого происходит от того, что существование индивидов ему кажется лишенным всякой реальности. Один отрывается от жизни потому, что не видит в ней для себя никакой цели и считает свое существование бессмысленным и бесполезным, другой — убивает себя потому, что его желанная цель лежит вне этой жизни и последняя служит для него как бы препятствием. Различие мотивов сказывается, конечно, на последствиях, и меланхолия одного по природе своей глубоко разнится от меланхолии другого. Меланхолия первого создана чувством неизлечимой усталости и психической подавленности; она знаменует полный упадок деятельности, которая, не имея для себя никакого полезного применения, терпит окончательное крушение. Меланхолия альтруиста полна надежды; он верит, что по ту сторону этой жизни открываются самые радужные перспективы; подобное чувство вызывает даже энту-

низм, нетерпеливая вера стремится сделать свое дело и проявляет себя актом величайшей энергии.

В конце концов, одного более или менее мрачного взгляда на жизнь недостаточно для объяснения интенсивной склонности к самоубийству у определенного народа. Так, например, пребывание на земле вовсе не рисуется христианину в более приветливом свете, чем последователю секты джайнов. Жизнь представляется христианину в виде цепи тяжелых испытаний, христианская душа надеется обрести свою настоящую обитель тоже не на этой земле, но тем не менее мы знаем, какое отвращение к акту самоубийства проповедует и внушает христианство. Это обстоятельство объясняется тем, что христианские общества уделяют индивиду гораздо больше места, чем общества, о которых мы только что говорили. На каждом христианине лежат определенные обязанности, от исполнения которых он не может уклониться; только в зависимости от того, насколько хорошо верующий исполнит свой долг здесь на земле, ему приурочены высшие радости и награды на небе, и эти радости — только личные, как и дела, которые дали на них право. Таким образом, умеренный индивидуализм, присущий духу христианства, помешал ему отнестись благосклонно к самоубийству, наперекор его теориям о человеке и его судьбе.

Системы метафизические и религиозные, служащие как бы логической рамкой для этих моральных обычаев, доказывают нам, что именно таково и есть их происхождение и значение. Уже давно замечено, что подобные системы существуют обыкновенно наряду с пантеистическими верованиями. Без сомнения, джайнизм, так же как и буддизм, атеистичен; но пантеизм безусловно еще теистичен. Главной характерной чертой пантеизма является идея о том, что все реальное в индивиду не относится к его природе, что душа, одухотворяющая его, не есть его душа, и что в силу этого нет и не может быть индивидуального бытия. Именно эта догма и легла в основание учения индусов, она встречается уже в браманизме. Наоборот, там, где начало существ не сливается с ними, но само мыслится в индивидуальной форме, т.е. у монотеистических народов, к которым принадлежат евреи, христиане, магометане, или у политеистов-греков, латинян — данная форма самоубийства является исключительной, и нигде нельзя встретиться с нею в качестве религиозного обычая. Следовательно, можно думать, что между этой формой самоубийства и пантеизмом действительно существует причинная связь. Так ли это?

Допущение, что именно пантеизм вызвал этот род самоубийства, не может быть принято; людьми управляют не абстрактные идеи, и исторический ход событий нельзя объяснить игрой чистых метафизических понятий. У народов, так же как и у индивидов, представления имеют раньше своей задачей выразить ту реальность, которая не ими создана, но от которой, наоборот, сами они истекают, и если затем могут видоизменить ее, то только в очень ограниченной степени. Религиозные концепции создаются социальной средой, а отнюдь не создают ее, и если, вполне сформировавшись, они реагируют в свою очередь на породившие их причины, то эта реакция не может быть особенно глубокой. Поэтому, если основой пантеизма является более или менее коренное отрицание индивидуальности, то понятно, что подобная религия может образоваться только среди такого общества, где человеческая индивидуальность совсем не ценится, т.е. там, где она поглощена без остатка самим обществом. Человек не может представить себе мир иначе как по образцу того небольшого социального мирка, в котором он живет. Религиозный пантеизм поэтому есть только следствие и отражение пантеистической организации общества. Следовательно, этой последней и определяется тот особый вид самоубийств, который везде находится в связи с пантеистическим миропониманием.

Таким образом, мы установили и второй тип самоубийств, состоящий в свою очередь из трех разновидностей: обязательное альтруистическое самоубийство, факультативное альтруистическое самоубийство и чисто альтруистическое самоубийство, совершеннейшим образцом которого служит самоубийство мистическое. Во всех этих формах альтруистическое самоубийство представляет поразительный контраст с эгоистическим. Первое связано с той жестокою моралью, которая не признает ничего, что интересует только одного индивида, второе — с тою утонченной этикой, которая настолько высоко ставит человеческую личность, что эта личность не может уже более ничему подчиняться.

Между этими двумя типами лежит все то расстояние, которое разделяет первобытные народы от народов, достигших вершин цивилизации.

Однако если общества низшего порядка являются *par excellence* средой для альтруистического самоубийства, то это последнее встречается также и во времена более развитой цивилизации. Под эту рубрику, например, можно подвести известное число христианских мучеников. Многие из них, были, в сущности, самоубийцами, и если не кончались с собой добровольно, то охотно позволяли убивать себя. Если они не сами умерщвляли себя, то всеми силами искали смерти и вели себя так, что неизбежно навлекали ее на себя. Для того чтобы признать в известном факте самоубийство, совершенно достаточно того, что действие, неминуемо влекущее за собой смерть, было совершено в сознании этого последствия. С другой стороны, тот страстный энтузиазм, с которым первые христиане шли на смерть, показывает нам, что в этот момент они совершенно отрекались от своей личности ради той великой идеи, которой хотели быть носителями. Весьма вероятно, что эпидемические самоубийства, которые несколько раз опустошали средневековые монастыри и которые, по-видимому, создавались религиозным рвением, — по характеру своему принадлежали к той же группе.

В наших современных обществах, где индивидуальная личность все более и более эмансипируется от коллективной, подобный вид самоубийства не может быть частым явлением. Конечно, будет вполне правильно сказать, что и солдаты, предпочитающие смерть позору поражения, подобно коменданту Боренэру или адмиралу Вильневу, и несчастные, убивающие себя, чтобы избавить свою семью от бесчестия, поступают так в силу альтруистических мотивов. И те и другие отказываются от жизни в силу того, что у них есть нечто такое, что они любят сильнее самих себя. Но вышеприведенные случаи носят исключительный характер. Однако и в настоящее время существует социальная среда, где альтруистический тип самоубийств может считаться явлением обыденным, — это армия. [ ... ]

Специфический для этой профессии коэффициент увеличения самоубийств имеет своей причиной не отвращение к службе, а наоборот, совокупность навыков, приобретенных привычек или природных предрасположений, составляющих так называемый военный дух. Первым качеством солдата является особого рода безличие, какового в гражданской жизни в такой степени нигде не встречается. Нужно, чтобы солдат низко ценил свою личность, если он обязан быть готовым принести ее в жертву по первому требованию начальства. Даже вне этих исключительных обстоятельств, в мирное время и в обыденной практике военного ремесла, дисциплина требует, чтобы солдат повиновался не рассуждая и иногда даже не понимая. Но для этого необходимо духовное самоотрицание, что, конечно, несовместимо с индивидуализмом. Надо очень слабое сознание своей индивидуальности, чтобы так спокойно и покорно следовать внешним импульсам. Одним словом, правила поведения солдата лежат вне его личности; а это и есть характеристическая черта альтруизма. Из всех элементов, составляющих наше современное общество, армия больше всего напоминает собою структуру обществ низшего по-



рядка. Подобно им, армия состоит из компактной массивной группы, поглощающей индивида и лишаящей его всякой свободы движения. Так как подобное моральное состояние является естественной почвой для альтруистического самоубийства, то есть полное основание предполагать, что самоубийство среди военных носит такой же характер и имеет такое же происхождение.

Таким путем можно объяснить себе, почему коэффициент увеличения самоубийств возрастает вместе с продолжительностью военной службы; это — оттого, что способность к самоотречению, обезличению развиваются как результат продолжительной дрессировки. Точно так же, поскольку военный дух развит сильнее среди сверхсрочных и среди офицеров, чем среди простых рядовых, постольку вполне естественно, что первые два класса обладают более сильно выраженной склонностью к самоубийству, чем третий. Эта гипотеза дает нам даже возможность понять странное на первый взгляд превосходство в этом отношении унтер-офицеров над офицерами. Если они чаще лишают себя жизни, то это происходит потому, что не существует другой должности, которая требовала бы от субъекта в такой степени привычки к пассивному повиновению. Как бы ни был дисциплинирован офицер, но в известной мере он должен быть способен к проявлению инициативы; поле его деятельности более широко и в силу этого индивидуальность его более развита. Условия, благоприятные для альтруистического самоубийства, менее реализованы в офицерской корпорации, чем среди унтер-офицеров; первые живее чувствуют ценность жизни и им поэтому труднее отказаться от нее.

...Причины частых самоубийств в армии не только различны, но и диаметрально противоположны тем, которые вызывают самоубийство среди гражданского населения. В современных сложных европейских обществах самоубийства граждан обаяны своим существованием крайне развитому индивидуализму, неизбежно сопровождающему нашу цивилизацию. Самоубийство в армии должно зависеть от противоположного психического предрасположения, от слабого развития индивидуальности, т.е. от того, что мы называли альтруизмом. И действительно, те народы, у которых особенно часто случаются самоубийства в армии, являлись в то же время наименее цивилизованными и нравы их ближе всего подходят к обществам низшего порядка...

Все убеждает нас в том, что самоубийство в армии представляет собой только известную форму альтруистического самоубийства. Конечно, мы не желаем сказать этим, что все частные случаи самоубийств в полках носят этот определенный характер или имеют только такое происхождение.

Солдат, надевший военную форму, не делается совершенно новым человеком; следы его предыдущей жизни, влияние полученного им воспитания — все это не может исчезнуть как бы по мановению волшебного жезла; и кроме того, он не настолько отделен от остального общества, чтобы совершенно не участвовать в общественной жизни. Самоубийство солдата по своим мотивам и по своей природе может иногда не иметь ничего военного. Но если устранить эти отдельные случаи, не имеющие между собой никакой связи, то остается сплоченная однородная группа, обнимающая собой большинство самоубийств в армии; и здесь определяющую роль играет то состояние альтруизма, вне которого не может быть военного духа. В лице этой группы мы имеем как бы пережиток самоубийств, свойственных обществам низшего порядка; ведь и сама военная мораль некоторыми своими сторонами составляет как бы пережиток морали первобытного человечества. Под влиянием этого предрасположения солдат лишает себя жизни при первом столкновении с жизнью, по самому ничтожному поводу: вследствие отказа в разрешении отпуска, вследствие выговора, незаслуженного наказания или неудачи по службе; убивает себя по причине ничтожного оскорбления, мимолетной вспышки

ревности или даже просто потому, что на его глазах кто-нибудь покончил с собой. Здесь мы находим объяснение тех явлений заражения, которые так часто наблюдаются в армии.

Подобные факты были бы необъяснимы, если бы самоубийство в корне своем зависело от индивидуальных причин. Нельзя же допустить, чтобы простой случай собрал именно в одном полку, на одной территории такое большое число лиц, по своему органическому сложению предрасположенных к самоубийству. С другой стороны, еще менее допустимо предположение, чтобы была возможна такая эпидемия подражания со стороны индивидов, несколько не предрасположенных к самоубийству; но все легко объясняется, если согласиться с тем, что военная карьера развивает в человеке такой строй души, который непреодолимо тянет его расстаться с жизнью. Вполне естественно, что этот душевный строй встречается в той или другой степени у большинства людей, отбывающих военную службу, а так как именно он представляет почву, наиболее благоприятную для самоубийств, то нужен очень небольшой толчок для того, чтобы претворить в действие готовность убить себя, скрытую в человеке рассматриваемого морального склада. Для этого достаточно простого приема, и поэтому-то поступок одного лица с силою взрыва распространяется среди людей, заранее подготовленных следовать ему.

Теперь читателю будет более понятно наше желание дать объективное определение факту самоубийства и неизменно придерживаться его в ходе изложения. Хотя альтруистическое самоубийство и содержит в себе все характерные черты самоубийства вообще, но в своих наиболее ярких и поразительных проявлениях приближается к той категории человеческих поступков, к которым мы привыкли относиться с полным уважением и даже восторгом; поэтому мы очень часто отказываемся даже признать в нем факт самоубийства.

В глазах Эскироля и Фальрэ смерть Катона и жирондистов не была самоубийством. Но если те самоубийства, которые своею видимой и непосредственной причиной имеют дух отречения и самоотвержения, не заслуживают такой квалификации, то последняя не может быть применена и к тем самоубийствам, которые происходят от того же морального расположения, хотя и менее очевидного; ибо вторые отличаются от первых только некоторыми оттенками. Если житель Канарских островов, бросающийся в пропасть в честь своего бога, — не самоубийца, то нельзя дать этого названия и последователю секты Джина, если он убивает себя для того, чтобы войти в Ничто; точно так же дикарь, отказывающийся под влиянием аналогичного умственного состояния от жизни после какого-нибудь незначительного оскорбления или даже просто для того, чтобы доказать свое презрение к жизни, в свою очередь не может быть назван самоубийцей, равно как и разорившийся человек, не желающий пережить свой позор, и, наконец, те многочисленные солдаты, которые ежегодно увеличивают сумму добровольных смертей. Все эти явления имеют своим общим корнем начало альтруизма, которое в равной степени является и причиной того, что можно было бы назвать героическим самоубийством. Быть может, все эти факты надо отнести к категории самоубийств и исключить из нее только те случаи, в которых имеется налицо совершенно чистый мотив самоубийства? Но, раньше всего, что может нам послужить критерием для такого разделения? С какого момента мотив перестает быть достаточно похвальным, чтобы руководимый им поступок мог быть квалифицирован как самоубийство? Разделяя коренным образом эти две категории фактов, мы тем самым лишаем себя возможности разобраться в их природе, потому что характерные для этого типа черты всего резко выступают в обязательном альтруистическом самоубийстве; все остальные разновидности составляют только производные формы. Итак,

нам приходится или признать недействительной обширную группу весьма поучительных фактов, или же, если не отбрасывать их целиком, то — помимо того, что мы можем сделать между ними только самый правильный выбор, — мы поставим себя в полную невозможность распознать общий ствол, к которому относятся те факты, которые мы сохраним. Таковы те опасности, которым подвергается человек, если он определяет самоубийство в зависимости от внушаемых ему субъективных чувств.

Кроме того, те доводы и те чувства, которыми оправдывается подобное исключение, и сами-то по себе не имеют никакого основания. Обыкновенно опираются на тот факт, что мотивы, вызывающие некоторые самоубийства альтруистического характера, повторяются, в слегка только измененном виде, в основе тех актов, на которые весь мир смотрит как на глубоко нравственные. Но разве дело обстоит иначе относительно эгоистического самоубийства? Разве чувство индивидуальной автономии не имеет нравственного достоинства, так же как и чувство обратного порядка? Если альтруистическое чувство есть предпосылка известного мужества, если оно закаляет сердца и даже, при дальнейшем развитии, очерствляет их, — то чувство индивидуалистическое размягчает сердца и открывает к ним доступ для милосердия. В той среде, где властвует альтруистическое самоубийство, человек всегда готов пожертвовать своею жизнью, но зато он так же мало дорожит и жизнью других людей. Наоборот, там, где человек настолько высоко ставит свою индивидуальность, что вне ее не видит никакой цели в жизни, он с таким же уважением относится и к чужой жизни. Культ личности заставляет его страдать от всего того, что может ее умалить даже у себе подобных. Более широкая способность симпатически переживать человеческое страдание заступает место фанатического самоотвержения первобытных времен. Итак, и тот и другой тип самоубийства является только преувеличенной или уклонившейся от правильного развития формой какой-либо добродетели. Но в таком случае пути их воздействия на моральное сознание не настолько разнятся между собой, чтобы дать нам право создавать так много зависящих от этого отдельных видов.

(Окончание следует)

## РУССКОЕ СЛОВО В ЛАТВИИ

Четыре объемистых тома, более четырехсот страниц каждый, изданы в уже известной научной серии Стэнфордского университета (Калифорния, США). Как сказано в предвещающем первый том тексте одного из ее издателей Лазаря Флейшмана, этот "...плод подвижнического, кропотливого многолетнего труда литератора и переводчика Юрия Ивановича Абызова, представляет собой исключительное явление в богатейшей библиографии русской литературы". Сказано совершенно справедливо.

Вообще всякий библиографический труд требует самоотвержения. Эта в известной степени механическая работа, не всегда дающая возможность изучить тексты, расписываемые для библиографии, заставляющая неустанно и всегда с напряженным вниманием листать и листать газетную или журнальную страницу, не поддаваясь ужасу перед объемом еще предстоящего труда, — все это элементы специфической работы библиографа, не часто дающей ему простор для аналитического углубления в какую-либо из тем, насыщающих его библиографию. Юрий

Абызов удивительным образом сумел совместить замечательный труд по составлению редкого по объему и содержательности библиографического справочника с работой литератора и переводчика, которая уже сама по себе достойна библиографического указателя, — широко известные его публикации в рижском журнале "Даугава" и в других многочисленных популярных журналах.

В кратком предисловии "От составителя" Юрий Абызов всего одной фразой обозначил масштаб своего труда: "Справочник составлен на основании сплошного просмотра всех русскоязычных материалов, опубликованных в Латвии, включая книги, журналы, газеты и мелкопечатную продукцию, которыми располагают книгохранилища Риги и Таллинна".

Что за этим стоит?

Это библиографирование более 170 газет, журналов, издательских предприятий и — особенно важно — двух самых содержательных русских рижских газет: "Сегодня" и "Слово". Результат такого труда поразителен по насыщенности ценнейшей информацией.

---

Юрий Абызов. Русское печатное слово в Латвии. 1917-1944 гг. Библиографический справочник. Части I-IV. В серии: Stanford Slavic Studies; Vol.3:1-3:4. Stanford, 1990-1991.

Это, в сущности, несколько персональных минибиблиографий: А.Аверченко, Ю.Айхенвальда, А.Амфитеатрова, К.Бальмонта, В.Клоповского (более 1000 №№), А.Перфильева, П.Пильского (более 2000 №№) и многих, многих других популярных писателей и публицистов.

Это неучтенная до сих пор литература, например, об А.Блоке (около 60 №№), об интереснейшем философе К.Жакове, впечатляющее количество выявленных некрологов, которые, как известно всякому источниковеду или биографу, — бесценный материал для исследователя.

Труд Юрия Абызова — биобиблиографический. Первая часть названия не менее существенна, хоть и значительно скромнее объемом. Кропотливо воссозданные по различным данным (в том числе по домовым книгам) биографические справки об авторах — всякий раз собственное открытие Юрия Абызова. Хочется привести несколько примеров, чтобы читатель представил себе, как из мелких деталей Юрий Абызов складывает, если так можно выразиться, биографию.

Вот одна из них:

**Беннинггаузең-Будберг Мария Бурхардовна, баронесса.** Род. в 1905 г. в СПб. Отец служил в Глуховском драгунском полку. Отец расстрелян в 1919 г. в Проскурове. Окончила Смольный институт. С 1922 г. в Эстонии, работала машинисткой.

Приведу еще одну из многочисленных — по неизбежности кратких — биографических справок:

**Булыгин Павел Петрович (1895, Владимир — 1936, Парагвай).** Сын писателя П.Булыгина, сотрудничавшего в "Русском богатстве". Закончил Александровское военное училище. Служил в Лейб-гвардии Петроградском полку. Участвовал в мировой войне и в "Ледовом походе". Ушел с Колчаком. Вел с Соколовым расследование убийства Романовых. Проживал

в Литве и провел в Абиссинии 12 лет, где был инструктором в армии негуса. В 1934 году получил предложение организовать в Парагвае старобрядческое поселение. Там и скончался от кровоизлияния в мозг. Был женат на сестре художника Р.Шишко.

Читателям журнала "Даугава" должна быть известна также воссозданная Юрием Абызовым (в журнале — совместно с Романом Тименчиком) интереснейшая биография А.Перфильева.

Примеры можно множить, но, думаю, всякий, кто занимается отечественной культурой (и политической историей России) непременно убедится в высокой ценности этой стороны труда Юрия Абызова.

Хочется поратовать в пользу чтения библиографий. Это увлекательное и исключительно полезное занятие. Действительно, читая рецензируемый справочник, вы обнаружите, например, статью А.Перфильева о К.Арабаджине с характерным заглавием: "Доносных дел почетный мастер". Или статью Н.Бержанского (псевдоним, настоящая фамилия — Козырев): "Тригорий Зиновьев. (Вместо некролога)" — статья 1920(!) года. В другом случае сам автор справочника в скобках после статьи Татьяны Варшавер "В Кемпи на Соловках" (1921) отметит: "Одно из первых свидетельств очевидца". Так что неспешное чтение книги дает немало пищи уму.

Читатель должен обязательно знать, что Юрий Абызов сам позаботился об исправлении выявившихся неточностей и о пополнении труда новыми данными: к четвертой части сделана вкладка "Дополнения и поправки". Дополнения, естественно, еще возникнут, это неизбежно. Но созданное — исключительно профессионально и делает честь автору и Стэнфордскому университету, взявшему на себя труд издания прекрасного четырехтомного справочника.

("Русская мысль"

№3891 - 9 августа 1991 г.)

# ЯЗЫК И РЕЛИГИЯ

Предмет новой книги Я.Я.Вейша (автора исследований "Религия и церковь в Англии" (М., 1976); "Лингвистическая философия" (Р., 1981) на первый взгляд может показаться парадоксальным. Что общего между философией лингвистического анализа, наследницей логического позитивизма, объявившего все традиционные философские проблемы псевдопроблемами, и христианской апологетикой, одной из наиболее традиционных областей европейской философии, насчитывающей более полутора тысячелетий своего развития? И тем не менее связи между этими столь непохожими направлениями мысли существуют и вполне непосредственные.

Как известно, Людвиг Витгенштейн в своем основополагающем труде — "Логико-философском трактате" принципиально отказался рассматривать этические и тем более религиозные проблемы, отнеся их к области невыразимого мистического опыта, что он выразил в знаменитом последнем тезисе "Трактата": "О чем невозможно говорить, о том следует молчать".

Однако в 1930-е годы Витгенштейн в корне переменяет свои взгляды на роль и задачи философии. Теперь, по его мнению, задача философии состоит не в конструировании идеального языка, а во внимательном рассмотрении естественной речевой действительности. В своих поздних "Философских исследованиях" он формулирует теорию значения как употребления, в соответствии с которой значение слова целиком определяется контекстом его конкретного употребления в речи, а также теорию языковых игр, в соответствии с которой каждая сфера употребления языка, речевой жанр, как бы сказал М.М.Бахтин (отдача команд, чтение лекции, разговор с врачом, молитва), представляет собой особую форму жизни языка, языковую игру, разыгрывающуюся по определенным правилам, во многом

самостоятельным и различным в различных языковых играх. Сознание носителя языка, по Витгенштейну, "закаровано" самим языком, и задача философа состоит в том, чтобы снять эти языковые чары, выявить те ошибки, которые возникают при некритическом употреблении слов и предложений (при "злоупотреблении языком").

В конце 1950-х годов христианская религиозная философия в поисках научного обоснования своих доктрин, обратилась к лингвофилософии и прежде всего к позднему Витгенштейну. Так, Д.Филлипс подчеркивал, что "философия призвана не апологизировать религию, не защищать веру, а всего-навсего описать их, анализировать "грамматику" религиозного языка, прояснить всякого рода несуразицы, связанные с употреблением слова "бог", снять необоснованные и фальшивые претензии предшествующей религиозной апологетики" (с.119).

На вопрос, является ли Бог реальностью, другой религиозный философ У.Хадсон отвечает советом каждый раз определять, что именно понимается под словом реальность, ибо в различных языковых играх это слово будет приобретать различные значения.

Наконец, и самый религиозный язык рассматривается как своего рода языковая игра, с достаточно условными, но необходимыми для верующих правилами. "Теология, — говорит Хадсон, — является языковой игрой (или совокупностью языковых игр), посредством которой мы говорим о Боге или о боге. Правила этой игры определяют, что собой представляет Бог или бог как объект. Для религиозной философии жизненно важно иметь полную ясность на этот счет, и единственная возможность приобретения такой ясности — это наблюдение и описание того, как о Боге или боге говорят верующие" (с.40—41).

Наука и религия, утверждал один из поздних представителей логического позитивизма Альфред Айер, это две соперничающие теории. Поэтому спор

Вейш Я.Я. Аналитическая философия и религиозная апологетика. — Р.: Зинатне, 1989. — 204 с.

между теистами и атеистами — это скорее юридический диспут (Дж. Уисдом). "Святой и атеист не интерпретируют один и тот же мир различным образом. Они видят разные миры" (Д. Филлипс).

Значительную роль на формирование лингвотеологии сыграло возникновение "теории речевых актов" Дж. Остина. Остин, анализируя язык, пришел к выводу, что некоторые высказывания в нем, те, в которых употребляются особые (перформативные) глаголы типа заявлять, обещать, дарить, не описывают реальность, а сами производят действия с реальностью: "Я заявляю свой протест. Обещаю прийти к семи часам. Дарю вам эту вещь от всего сердца". Произносив эти слова, человек тем самым производит некоторые действия в реальности: заявляет, обещает, дарит. Поэтому, заключает Остин, в подобных высказываниях важно не их значение, а сила воздействия на мир (иллокутивная сила), а также успешность или неуспешность воздействия данного высказывания на мир. Например, если мать говорит ребенку: "Я запрещаю тебе делать это", а он и не думает ее слушаться, то этот речевой акт является неуспешным и его иллокутивная сила равна нулю.

Теория речевых актов явилась чрезвычайно плодотворной для развития лингвотеологической мысли. Сила воздействия религиозного языка на верующего, иллокутивная сила проповеди, литургии, молитвы стала подвергаться философскому анализу. Следуя Остину, Д. Филлипс писал, что религиозный язык не описывает факты, а творит действия в реальности.

С этими и многими другими проблемами сложного взаимодействия и взаимоотталкивания между лингвистической философией и современной теологией читатель встретится на страницах книги Я. Я. Вейша.

Следует, однако, указать и на ряд серьезных несовершенств этого труда. Советские читатели давно привыкли к тому, что книги о западной философии писались у нас с презумпцией резко критической позиции к "буржуазным" мыслителям. В зависимости от того, как далеко они ушли от марксизма, их либо журили и укоряли, либо снисходительно поглаживали по головке.

Сегодня уже ни для кого не секрет, что марксизм-ленинизм не является философией в строгом смысле слова, а есть лишь идеология, уже лопнувшая

как мыльный пузырь.

Между тем книга Я. Я. Вейша отчасти написана в традиционной манере высокомерия по отношению и к логическим позитивистам, и к религиозным апологетам. Время от времени автор уличает тех или иных мыслителей в неискренности, говорит о крахе, который потерпела та или иная теория, сетует на "софистическую манеру аргументации", обвиняет в "скольжении по субьективно-идеалистическому склону" (с. 43), в "заигрывании с секулярным мировоззрением" (с. 119) и т. д.

Слова о том, что "религия (...) стала устаревшей, отставшей от требований современности аномалией общественного сознания", звучат комично во времена подъема религиозного сознания в СССР, массового крещения, восстановления храмов.

При этом не вполне понятно, какая позиция автора книги. Если он атеист, то для чего ему понадобилось заканчивать факультет теологии в Оксфорде (как говорится о нем на обложке книги), а если он верующий, то, значит, книга написана неискренне.

Нельзя согласиться со многими частными интерпретациями автора. Так, приводя на с. 34 знаменитую метафору Витгенштейна о том, что язык напоминает древний город, где наряду с кривыми улочками и переулками есть прямые проспекты, Вейш называет ее загадочной. Между тем смысл ее, на наш взгляд, вполне прозрачен. Продуктивные фонологические чередования, словообразовательные парадигмы, синтаксические конструкции — это прямые проспекты, а то огромное число грамматических исключений, непродуктивных явлений в словообразовании и т. д., которое существует в каждом языке, — это и есть кривые улочки и переулки.

Из всей литературы о Витгенштейне Вейш цитирует отнюдь не лучшую книжку советского исследователя Ф. Грязнова, между тем как библиография работ о Витгенштейне насчитывает тысячи единиц.

Несмотря на эти замечания, которые во многом ставят под сомнение методологическую ценность книги, мы тем не менее рекомендуем ее читателю, так как материал, содержащийся в ней, интересен и в каком-то смысле уникален для русскоязычной советской литературы по истории философии.

## О РОМАНАХ ИЛЬФА И ПЕТРОВА

Едва ли многие возьмутся сегодня отрицать очевидное: классический характер романов И.Ильфа и Е.Петрова "Двенадцать стульев" и "Золотой теленок" и их право занимать место в том звездном ряду ценностей национальной культуры, где находятся "Горе от ума", "Мелкий бес", "Тихий Дон"... Отвлекаясь на время от критериев внутреннего порядка, можно указать на факт долготелней читаемости и популярности этих двух романов (далее называемых сокращенно ДС/ЗТ), которая редко выпадает на долю обычных произведений и является типичным признаком подлинной классики.

Парадоксально, что романы Ильфа и Петрова, столь широко известные и никогда не подвергавшиеся запрету и забвению, пока что остаются несомненным (и весьма крупным) "белым пятном" на карте советской литературы, разрабатываемой профессиональной славистикой в СССР и за его пределами. Беспрецедентная популярность у нескольких поколений читателей, хрестоматийность и нарицательность образов ДС/ЗТ отнюдь не сделала соавторов модными фигурами в академических кругах. Скорее наоборот. В не столь уж давнюю эпоху определенная часть гуманитарного истеблишмента в СССР (а по её примеру, и на Западе) избегала упоминания — имен Ильфа и Петрова в сколько-нибудь позитивном контексте, молчаливо относилась к их творчеству то ли к полупрофизической, то ли к массовой, плебейской культуре (в явном расхождении с такими критиками, как О.Мандельштам, В.Набоков или Д.Мирский, оценивавшими ДС/ЗТ как литературу высокого класса). Характерно, однако, что и в исследованиях по массовой культуре, пропаганде и т.п., появившихся в рамках тех же научных течений, об Ильфе и Петрове никогда не говорилось ни слова.

С другой стороны, собственно литературная критика, для которой соавторы ДС/ЗТ не были "неприкасаемыми", часто приходила к ним без должной теоретической оснащенности. Две "фирменные" черты этих работ об Ильфе и Петрове — нескончаемое обсуждение схоластического вопроса о том, положительный или отрицательный герой Остап Бендер, и стремление видеть в этом насквозь литературном и полуфантастическом персонаже реалистический портрет "рыцаря наживы" эпохи нэпа.

В последние годы положение в области критической литературы об Ильфе и Петрове заметно изменилось к лучшему. Появление таких солидных работ, как монографии У.-М.Церер (1971) и А.А.Курдюмова (1983), равно как и ярко, стимулирующего мысль, хотя во многом спорного эссе М.Каганской и З.Барселлы (1984), а также ряда статей и диссертаций, позволяет думать, что славистика займется Ильфом и Петровым с такой же серьезностью, которую она до сих пор уделяла Бабелю или Олеше, и что эта большая лакуна в критической картине советской литературы будет быстро заполняться.

Предлагаемые ниже заметки — часть книги "Романы Ильфа и Петрова",



## 1. СОВЕТСКИЙ МИР В "ДВЕНАДЦАТИ СТУЛЬЯХ" И "ЗОЛОТОМ ТЕЛЕНКЕ": ГЕРОИКА И САТИРА

1.1. Амбивалентность. Несмотря на свою карикатурную и фарсовую поэтику, романы Ильфа и Петрова дают глобальный образ своей эпохи, в известном смысле более полный и эпически объективный, чем многие произведения "серьезной" литературы 20–30-х гг. Авторская точка зрения в ДС/ЗТ сложна: романы прочитываются одновременно и как документ идеализирующих, героико-романтических настроений тех лет, и как одна из наиболее едких сатир на миропорядок, явившийся следствием революции. Они в равной мере тяготеют к утопии и к антиутопии, хотя и не достигают законченных форм того и другого. Какой бы скепсис ни вызывала у Ильфа и Петрова и многих их коллег (вроде Олеси, Пильняка, Маяковского) наблюдаемая эмпирика советской жизни, им и в голову не приходило пересматривать свою оценку революции или сомневаться в идее светлого будущего, возводимого вдохновенными усилиями масс. Миф о великой перестройке мира со всей сопутствовавшей ему романтикой самоотверженного труда, арктических полетов, освоения космоса, строительства нового быта и т.п., был неотъемлемой частью духовного воздуха эпохи: им жили, в него верили, о нем пели в песнях. Отмахиваться от отсутствия этого мифа в ДС/ЗТ значило бы изымать эти романы из исторического контекста и произвольно сужать их художественный горизонт.

Не менее справедливо, однако, и то, что эти годы (в особенности 1928–1931, т.е. промежуток между двумя романами) входят в историю как начало решительного вступления страны на сталинский тоталитарный путь. О двойственном облике данного момента истории упоминает, среди многих других его свидетелей, О.М. Фрейденберг: "Начиналась эра советского фашизма, но мы пока что принимали его в виде продолжающейся революции с ее жадной разрушительностью"<sup>1</sup>. Диссонанс между неподдельным энтузиазмом и устремленностью в будущее, с одной стороны, и усилением идеологического нажима и ханжества, с другой, бросался в глаза непредубежденным наблюдателям. Постепенно тоталитарная практика ассимилирует революционную романтику, фальсифицирует ее, превращает в свое орудие. Реальность и легенда вступают во все более тесный симбиоз, достигая совместного апогея в марте 1938, когда средства информации на одном и том же радостном дыхании сообщили о расправе с участниками "правотроцкистского блока" и об успешном завершении папининского дрейфа на льдине.

Романы Ильфа и Петрова ценны тем, что в яркой — и, в определенных пределах, объективной — форме запечатлевают это противоречивое видение мира, не сводя картину советской России ни к безоговорочной романтической идеализации (типа "Время, вперед!" В. Катаева) ни к полному осуждению (типа "Мастера и Маргариты" М. Булгакова). Как удалось соавторам достигнуть органичного компромисса между двумя столь противоположными началами и сделать роман приемлемым как для читателей, так и для цензуров?

1.2. Социализм: идеальный план. Как справедливо указал А.А. Курдюмов, Ильф и Петров верили в социализм, хотя их представление об этой формации, по-видимому, "всерьез отличалось от той реальности, которая сложилась в 1933–1934 гг."<sup>2</sup>. Не вдаваясь в анализ общественно-политических взглядов соавторов, которые должны быть предметом специального, биографического исследования, мы все же можем констатировать, что данное определение вполне совместимо с архитектурной романной мира ДС/ЗТ. В построенной Ильфом и Петровым модели советского общества положительная ипостась социализма наделена важной структурной ролью, образуя особый план и придавая всему происходящему эпический масштаб. Возвышенно-романтический элемент не служит соавторам чем-то вроде формальной отписки для цензуры и критики, но вводится систематически, закрепляясь в качестве необходимой составляющей художественного целого. Отступления и панорамы, посвященные социализму и его стройкам, размещены в важных компо-

зиционных зонах романа: в началах и концах, в кульминациях, в паузах перед крупными поворотами сюжета. Отблеск "прекрасного нового мира" падает на некоторые из наиболее комичных бытовых эпизодов, напр., сколку в коммунальной квартире, даваемую в параллельном монтаже с полярной эпопеей летчика Севрюгова. Последняя часть ЗТ, где Бендер едет в литерном поезде на Турксиб, вся построена на ироническом контрапункте торжественной эпике социализма и его будничной прозы.

В отличие от утопий и антиутопий, где будущее конструируется в твердых и осязаемых чертах, у Ильфа и Петрова идеальный план его чистом видении где не показывается с близкого расстояния. Нет сомнения, что именно это обеспечивает ему привлекательность и предотвращает такие читательские реакции, как ироническая снисходительность (ср. стерилизованный рай второй части "Клопа"), скука (ср. произведения соцреализма) или ужас (ср. фантастику типа "Мы"). В качестве максимального, наиболее детального приближения к показу реальных дел социализма у Ильфа и Петрова выступает Турксиб, т.е. мотив по преимуществу символический, выражающий движение вперед. В то же время, напр., коллективизация упоминается лишь мимоходом, глухо и иронично. Основная форма, в которой высокий аспект социализма существует в романах Ильфа и Петрова, влияя на их масштаб и эмоциональный тонус, — это его постоянное присутствие на горизонте, наподобие величественной цепи горных вершин. Стоит "положительному" социализму Ильфа и Петрова хоть немного придвинуться к нам, одеться в конкретные человеческие формы, как он тотчас же лишается возвышенной ауры и размывается на ряд более или менее комических бытовых положений (турксибские строители и журналисты, наделенные всевозможными человеческими слабостями; герой Севрюгов, рискующий превратиться в "потерпевшую сторону" в квартирном конфликте и т.п.). То, что монументальные контуры нового всегда вырисовываются лишь в отдалении и ускользают от анализирующего взгляда, призвано внушать к ним ностальгическое отношение чисто романтического свойства. Напротив, в реальном, "земном" мире ДС/ЗТ ничто не вызывает безоговорочной хвалы. Все здесь несовершенно, относительно, открыто для критики, и оценка конкретных явлений и фигур, авторская симпатия к ним определяется не их индивидуальными качествами, а в первую очередь степенью касательства к социалистическому Абсолюту, "вхожестью" светлый храм будущего.

Это возвышение идеального над реальным подчеркнуто тем, что индустриальные панорамы строящегося социализма часто смыкаются у соавторов с выходами на природу и космос, типичными для их "сказочно-мифической" поэтики (см. ниже, раздел 4): "Ночь, ночь, ночь лежала над всей страной... Розовый кометный огонь рвался из высоких труб силикатных заводов... На севере взошла Краснопутиловская звезда, а за нею зажглось великое множество звезд первой величины... Светилась вся пятилетка, затмевая старое, примелькавшееся еще египтянам небо..." [ЗТ 14]. Аналогичным образом соавторы ставят настоящие и будущие социалистические завоевания в один ряд с высшими достижениями человеческого духа, разума, цивилизации: "В большом мире изобретен дизель-мотор, написаны "Мертвые души", построена Днепровская гидростанция и совершен перелет вокруг света" [ЗТ 9]. В таком контексте не приходится говорить о каких-то злободневных политических и бытовых проблемах социализма, о его человеческих, экологических и иных издержках: он предстает в виде сияющей абстракции, огоренный от всего мелкого и временного, в перспективе "веков, истории и мироздания". Реальная советская жизнь, рассматриваемая с близкого расстояния, может иметь не вполне удачные и даже непримечательные формы, но это, по Ильфу и Петрову, никак не может скомпрометировать идеальную модель социализма, умалить ее значение как великого мирового ориентира и источника вдохновения для миллионов масс.

**1.3. Социализм: реальный план.** Наряду с этими манящими, хотя и несколько туманными очертаниями нового мира мы встречаем в ДС/ЗТ сцены из жизни советской России в тех реальных чертах, которые сложились к концу 20-х гг.

Читатель, хотьнемногознакомыйс советскимиидеологическимистрогостями, всегдаостанавливалсяв некоторомизумлениипередтойвеселойнепринужденностью, с которойИльфиПетровкасаютсяряда острыхищекотливыхаспектов "реальногосоциализма". В романахразвернутаипонынеактуальнаясатира на бюрократическийаппарат, для которогоувекочение собственногоблагополучияважнееинтересовнародаигосударства; выставленынасмех неэффективностьи хаос в хозяйственной сфере, отсутствие товарови удобств (известныезначения "реконструктивногопериода", которымтоже сужденабыла долгаяисторическая жизнь); вскупых, но остроумных зарисовкахотражены господство фразы, лозунгаи штампа, идиотизмидеологии, приспособленчество, стадностьпропагандныхи проработочных кампаний. Над вторым романом с начала до конца нависает тень чистки — массового мероприятия 1929-1930 гг., которое послужило для немалой части общества школой лицемерия, взаимной травли, предательстваи доноса. Среди выведенных соавторами представителей нового мира нет и в помине так называемых "положительных героев": все достаточно заурадно и подвержено как общечеловеческим, так и специфически советским слабостям (как, напр., трамвайный инженер Треухов в ДС 13, сверхдоверчивый председатель горисполкома в ЗТ 1, глуповатые журналисты в турксібских главах ЗТ 31, тщеславные руководители строительства там же, молодой энтузиаст музейного дела в ЗТ 31, студенты в ЗТ 34 и др.). Все эти "лучшие люди" романа, пусть занятые прекрасными делами, в персональном плане проявляют ограниченность, малокультурность, неравновесность, примитивизм. В наиболее благоприятном варианте они похожи на симпатичных детей, которым еще предстоит долгий путь к уму и зрелости. О том, как Ильфи Петров с лихвой компенсируют эти недостатки своих людей, мы скажем немного ниже.

Соавторамудается довольно адекватно воспроизвести ряд черт тоталитарного стиля жизни и мышления и, более того, дать им двусмысленно-ироническое освещение. В лице Бендера и ряда других героев в ДС/ЗТ постоянно присутствует критическая точка зрения на эти явления, позиция их неприятия, отстранения и высмеивания. Авторы хотиногда дают слово персонажам, не любящим советский образ жизни, и их реакции и высказывания отнюдь не лишены интереса. Есть, напр., действующее лицо, на которое аппарат советской массовой культуры и идеологии обрушивается лавиной, превращая его жизнь в сущий ад: это Хворобьев, сначала наяву, а затем во сне преследуемый членами правления, друзьями кремации, профсоюзными книжками, примкамерами и проч. Сходной фигурой является старик Синицкий, жертва идеологизации "ребусного дела". Помимо банального старческого шипенья на все новое (к чему часто сводится роль "бывших людей" в неинтересных советских повестях и пьесах), в трагикомическом возмущении этих лиц слышится и весьма существенная правда. Верно, что эта правда в какой-то мере приглушается и заслоняется от инквизиторской критики заведомо внеобщественным, шутовским или (в случае Бендера) плутовским статусом этих персонажей. Однако, сколь бы ни были данные лица лишены авторитетности в социальном и персональном плане, в их реакции на тоталитарные неудобства неизбежно звучит стихийный здравый смысл "каждого человека", который нельзя полностью сбросить со счетов. Представленный в их жалобах уровень интерпретации и оценки последствий революции, идущий из глубин "косной" человеческой природы, сохраняет свою элементарную притягательность<sup>3</sup>. Его невозможно устранить, а можно лишь вытеснить и перекрыть другим, более высоким и сознательным взглядом на вещи. Это и делают соавторы, однако возможность видеть в советской системе вызов естеству и разуму все же остается. Этот критический аккомпанемент, представленный Остапом Бендером и другими неортодоксальными персонажами, упрямо продолжает звучать до самого конца, включая последние главы ЗТ с их апофеозом движения в будущее (ср., напр., ту сцену, где Остапу, как члену профсоюза, не удается получить тарелкушей в столовой).

Помимо этого, субверсивный потенциал ДС/ЗТ поддерживается уже самим калибром средств, выбранных соавторами для критики "неполадок" советской жизни. Инструментом их сатиры является Остап Бендер — персонаж, не выдуманный специально для этих

романов, но сконструированный в рамках определенной литературной типологии. Он принадлежит к классу героев, которые обычно действуют в литературе высокого ранга, исследующей фундаментальные проблемы свободы и морального выживания человека в условиях разного рода принудительных систем (подробнее см. ниже, раздел 3). Поставив подобный тип персонажа в центр романа, дав его традиционной схеме новое и актуальное применение, писатели в значительной мере предопределили философский уровень своего подхода к советской действительности и угол зрения на нее. К этому следует добавить, что "мировые" обертоны бендерской позиции, равно как и авторской речи, помещают бюрократизм и обывательщину в своего рода космическую перспективу, способствуя тем самым их издательской релятивизации (см. ниже, раздел 4).

**1.4. Компромиссная тактика соавторов.** Отметим все это, необходимо признать и тот очевидный факт, что в своем насмешливом отношении к "священным коровам" советского тоталитаризма соавторы не выходят за определенные границы. Осторожность и умеренность требовались не просто в силу цензурных соображений, но и ради сохранения того хрупкого баланса между критикой социализма и его героизацией, который, как мы сказали, специфичен для замысла романов (особенно второго). Смягчение рискованных моментов достигается в ДС/ЗТ рядом способов, к которым Ильф и Петров прибегают с немалым тактом, успешно избегая фальши и не нарушая ограниченности своего художественного мира.

**1.4.1. Во-первых, весьма знаменателен самоотбор тех манифестаций советской эпохи, которые соавторы включают в свой эпос.** Многие "горячие" темы дна старательно обойдены молчанием: напр., нигде прямо не затрагиваются такие события, как борьба с оппозициями, "вредительские" процессы 1928-1930 гг., эксцессы чистки, насильственная коллективизация деревни. Лишь внимательное чтение позволяет обнаружить намеки, иногда довольно едкие, на некоторые из этих обстоятельств или неприятие соавторами официальных оценок событий и лиц.

Можно утверждать, что подобная сдержанность, независимо от ее мотивов, пошла на пользу романам. Некоторая размытость критического аспекта гармонирует с уже обсуждавшейся выше абстрактностью аспекта идеализирующего, не дает последнему резко выпасть из художественного единства. Кроме того, акцент на политической злобе дня, не говоря уже о его рискованности, понизил бы универсализм картины. Соавторы изображают не столько конкретные события и контрверсы своей далеко не идеальной эпохи, сколько их наиболее релевантные и неизменные общие признаки. Эти последние к тому же демонстрируются на периферийном, относительно безобидном материале. Фантастическая и сказочная деформация придает этим явлениям еще более обобщенные формы, скрадывает их связь с непосредственной газетной актуальностью. В результате, несмотря на огромное количество бытовых и исторических подробностей, романы Ильфа и Петрова никогда не требовали от отечественного читателя каких-либо специальных историко-культурных познаний для понимания изображенной в них ситуации. Каждое новое поколение читателей без труда соотносит образы и мотивы ДС/ЗТ с советской реальностью своего времени.

**1.4.2. Во-вторых, возможность опасных социально-политических обобщений предотвращается "сказочно-мифологическими" свойствами вселенной ДС/ЗТ.** Как будет показано далее (см. §4.3.1), пространство романов не является однородным, а состоит из дискретных "островов", или "анклавов", между которыми лежат широкие и малоисследованные территории. В подобных анклавах — в Васюках, в "Геркулесе", на кинофабрике и т.п. — главным образом и локализуются идеологическо-бюрократические и иные уродства, в то время как в промежутках между этими заповедниками глупости и безумия читателю предоставляется угадывать контуры новой России, устремленной к длинному социализму, — контуры того таинственного "большого мира", откуда появля-

ются и куда уносятся, "радостно трубя и сверкая лаковыми крыльями", машины настоящего автопробега [ЗТ7].

1.4.3. В-третьих, мажорную и в конечном итоге оптимистическую тональность романов обеспечивает уже упоминавшееся "двухъярусное" строение мира ДС/ЗТ. Идеальные сущности истинного социализма занимают в нем иерархически доминирующее положение, образуя уровень, на котором многие из несовершенств советского образа жизни снимаются или обесцениваются. Оказывается, что детали "земного" социализма, представляющие собой столь неутешительную картину, не могут считаться главной или окончательной реальностью, и что точка зрения раздраженных им людей, хотя по-своему и понятная, не есть последняя инстанция в суждении о грандиозном историческом эксперименте, совершающемся в России. Над этой точкой зрения, в разреженных сферах истинного социализма, открывается возможность иного, более широкого взгляда на вещи, более высоких требований к жизни, более интересных представлений о счастье. В их свете многие привычные аксиомы, касающиеся качества жизни и личных прав индивидуума, отпадают как малосущественные и бедные. Эти новые критерии, как и вообще черты нового мира у Ильфа и Петрова, прочерчены как бы пунктиром и не имеют твердо сложившихся форм; но, как и новый мир в целом, они окружены романтической аурой и оказывают решающее влияние на идейно-эмоциональный баланс диалогии.

Преодоление негативных сторон реального социализма становится возможным под знаком причастности "большому миру", веры в его идеальные ценности, принадлежности к коллективу, работающему над его воплощением в жизнь. Категория причастности/непричастности оказывается ключевой в определении ценности и судьбы личности. Чтобы жизнь стала осмысленна и увлекательна, нужно одно — влиться в семью трудящихся и идти вместе с нею к общей цели. Коллектив строителей будущего наделен в эпопею Ильфа и Петрова чертами доброты, великодушия, гуманности, доверия к человеку. В нем есть место для игры, юмора, личных интересов, чувств, слабостей и ошибок. В нем и в помине нет ни фанатической индоктринации, ни принуждения, ни нивелирования индивидуальности. Именно в изображении советского коллектива более всего дается основание утопическая, идеализирующая структура поэтики Ильфа и Петрова.

1.4.4. Остроантитоталитарной критикой ДС/ЗТ значительно умеряется тем, какую направленность и как и точки приложения получают негативные стороны земного социализма. Выясняется, что неприятные стороны советского образа жизни причиняют реальное беспокойство прежде всего "непосвященным", тогда как герои, приобщившиеся к строительству нового мира, принявшие его устав, вверившие ему свою судьбу, оказываются в основном вне сферы досягаемости этих досадных обстоятельств. Во-первых, как мы уже сказали, их мысль устремлена к более высоким целям, нежели личное удобство и свободы; и во-вторых, как соавторы не устают показывать, советская власть защищает их от многих неудобств и глупостей, отравляющих жизнь "профанов". Участие в великом целом гарантирует в ДС/ЗТ получение номера в гостинице, покупку брюк в магазине, порцию борща на фабрике-кухне, безопасность от чистки и. Роль жертв, мучеников абсурдного советского миропорядка отводится не столько представителям здоровой части общества, честным труженикам, сколько отщепенцам, жуликам, бюрократам, дуракам, невеждам, лодырям, лицемерам, т.е. лицам несочувствующим, уклоняющимся и неискренним в отношении к строительству социализма. Именно они стоят в очередях, воюют на коммунальной кухне, вычищаются по первой категории, выпивают полную чашу назойливой индоктринации и испытывают танталовы чувства перед тарелкой борща, "отпускаемого только членам профсоюза". Все, что ни есть глупого, иррационального и злокачественного в реальной практике социализма, обрушивается в первую очередь на этих "отрицательных" персонажей, и притом в тем более концентрированном виде, чем дальше они стоят от коллектива. "Перегибы", за которые в реальной жизни платит все общество, в утопии Ильфа и Петрова проявляются главным образом как комические неудобства его отсталых, ущербных, не

заслуживающих сочувствия членов; из их-то жалоб читатель и узнает об идиотическом и репрессивном характере целого ряда советских порядков.

Таким образом, аппарат земного социализма, не будучи потребным ни на что лучшее и не имея шансов пройти в "царство небесное" истинного социализма, получает у соавторов по крайней мере одну полезную функцию — служит инструментом комического наказания дурных, отсталых граждан. Подобное канализирование отрицательных явлений в огород плохих людей способствует, конечно, частичному обезвреживанию саатиры в глазах проработочной критики, но оно же может рассматриваться как дополнительная насмешка над аксессуарами социализма. Ведь перевод бюрократическо-идеологического реквизита с престижной роли на сугубо служебную и тривиальную, каковой является роль розги для дураков и жуликов, представляет собой еще один способ его издевательской "рецикликации" (обэтом понятиимс. ниже, § 2.5).

Яркий пример — новелла об отшельнике-монархисте Хворобьеве, которого пролеткульты, примкамеры и профсоюзы лишают сна и покоя, словно какие-то мифологические гарпии, отнимающие пищу у несчастного старца на необитаемом острове. Стенгазеты, пятилетки и прочие новшества "советских антихристов" действуют на него не столько идейным своим содержанием ("онникогда не мог расшифровать слово «Пролеткульт»"), сколько чисто физиологически, подобно клопам (советским клопам!), преследующим пустытника Евпла в рассказе о гусаре-схимнике, который образует историей Хворобьева несомненную параллель. Насмешка над советской идеологизированной культурой здесь очевидна. Однако официальная критика прицепиться не к чему, поскольку субверсия завернута в несколько слоев ортодоксии: антиобщественный тип, пытавшийся отгородиться от современности, наказан по заслугам, кара иронически соответствует вине, в то время как отстранение и обесмысливание Хворобьевым советских понятий ("Вывести! Из состава! Примкамера! В четыре года!..") предстает как побочный эффект, мотивированный склеротическими и полубезумным сознанием героя.

Другой случай аналогичного рода — страдания ребусника Синицкого. Принцип тот же: негативные черты реального социализма приносят больше всего неприятностей людям отсталым, неспособным понять цели "большого мира". Общеизвестно, что массовое внедрение идеологии и производственной темы сделало невыносимо скучным и серым советский культурный пейзаж начала пятилеток. Однако точка зрения массового потребителя культуры, читателя газет, журналов и романов, иначе говоря, самой первой и очевидной жертвы идеологизации, в романе не представлена. Трагедия поднадзорной культуры проиллюстрирована на карликовой драме персонажа сосемшной профессии (такие чудачки, посвятившие себя редкому и странному делу, встречаются у Диккенса), человека сугубо маргинального, плохо ориентирующегося в современности.

Указанная закономерность проявляется и в малых эпизодах вроде автопробега [ЗТ 6-7] или учебной газовой тревоги [ЗТ 23]. В первом из них характерно советское мероприятие — организованная манифестация трудящихся с лозунгами, трибунами, речами побуждающей и другими знаковыми атрибутами — при посредстве Бендера поднято насмех, что, конечно, большая редкость в советской литературе. Оказывается, однако, что участвующие в этом действе толпы народа — не передовые пролетарии, смеяться над которыми было бы неудобно, а политически малограмотные деревенские жители, представлявшие собой (особенно в 1929-1930 гг.) законную мишень критики и карикатуры. Таким образом, проблема разрешена склеиванием двух комических амплуа, "участников идиотской кампании" и "отсталых селян". Настоящий же автопробег, как и другие элементы подлинного социализма, далеко отодвинул от этих сатирических сцен и проносится светлой полосой на горизонте.

В эпизоде учебной тревоги [ЗТ 23] незадачливые граждане, насильно водворяемые в газоубежище, почти все принадлежат к категории "непосвященных". Среди пленников мы видим Бендера, Паниковского с Балагановым, старых биржевиков в пикейных жиле-

тах, летуна-инженера Талмудовского... Все остальные, предположительно ценные члены общества даны туманным пятном где-то на заднем плане.

Одна из самых наглядных иллюстраций рассматриваемого принципа — способ, каким в ЗТ представлена чистка партийных и государственных кадров в 1929–1930 гг. Известно, что чистка была одним из проявлений классовой нетерпимости, жертвами которой сплошь и рядом становились ничем не провинившиеся, а часто и весьма полезные граждане, чья беда состояла в "неправильном" социальном происхождении, родственных связях и деривационных занятиях. В ЗТ этот политический аспект чистки отражен достаточно четко. Все сотрудники "Геркулеса" неблагодарны по родственникам и прошлому: один имел аптеку, другой служил в банкирской конторе или канцелярии градоначальника, третий был "Скумбриевичем и сыном" и проч., и именно эти пункты грозят им наибольшими неприятностями. Чистка, как она вырисовывается в ЗТ, это прежде всего анкетное дело, это та погоня за "делопроизводителями — племянниками попов", от которой даже высокопоставленные инициаторы чистки отмежевывались как от опасного перегиба. Здесь для читателя таится возможное сомнение в праведности чистки и сочувствия к вычищаемым. Но она нейтрализована тем, что всем репресслируемым в ЗТ "бывшим", помимо основного, спорного дефекта — связи с старым строем, — приписаны и другие, уже абсолютной бесспорно дикие качества. Геркулесовцы — это не только вчерашние чиновники и собственники, шарлатаны. Как довольно прозрачно показывают соавторы, комиссию по чистке эти актуальные качества сотрудников интересуют куда меньше, чем их социальное происхождение. Скумбриевичу, напр., "первая категория обеспечена" не за бюрократизм и не за липовую общественную работу (не вызывающую со стороны комиссии никаких нареканий, см. ЗТ 35), а за нечаянно всплывшего из Леты "Скумбриевича и сына". Мы видим, таким образом, что чистка освещена компромиссным светом: с одной стороны, она фактически выполняет полезную роль, выметающей чиновничью нечисть, с другой — она достигает этого эффекта как бы случайно, по счастливому совпадению, в ходе розыска совсем иных преступников. Читатель вправе умозаключить, что по своей сути чистка малочем отличается от других бестолковых поветрий и идеологических кампаний, этих "судорог" (по выражению Достоевского), периодически пропускаемых через тоталитарные общества. (Делая несколько более смелый интерпретаторский шаг, можно было бы усмотреть в лейтмотиве чистки намек на другую столь же иррациональную кампанию тех лет, еще более роковую для страны, но в романе поминаемую лишь глухими намеками, — коллективизацию и раскулачивание. Ильфу и Петрову отнюдь не чужда такой прием эзопова языка, как подстановкана место табуированных "центральных" тем их более периферийных и открытых для дискуссии аналогов).

1. 4.5. Наконец, следует сказать и о том, как соавторы ретушируют или нейтрализуют личные недостатки "новых людей" советской эпохи. Как уже было отмечено, никто из них не хватает звезд с неба. Председатель горисполкома в Арбатовы слышит штампами и легко одурачивается Бендером; энтузиаст трамвайного дела инженер Треухов говорит суконым газетным языком; юный заведующий музеем в Средней Азии равнодушен к истории культуры своего народа. Эти персонажи вызывают лишь улыбку, но вот политехническая молодежь в поезде [ЗТ 34] заставляет нассторожиться. Отношение студентов к пригласившему их в свое купе Бендеру ("в них чувствовалось превосходство зрителей над конференсье") вызывает в памяти знакомую породу белокурых молодых пролетариев 20-х гг., выраставших в высокомерном презрении к интеллигентности и культуре (ср. Володо из "Зависти"); и не эти ли симпатичные комсомольцы чистили товарищеза есенинщину, судили за галстуки и подвергали позору за шелковые чулки? А уж журналисты, едущие на Турксиб, совсем лишены привлекательности. Налагая задним числом романых студентов и литераторов на их теперь уже достаточно изученные прототипы, следовало бы сказать про первых: дикари, про вторых: собрание бездарностей и пошляков. Но Ильфу и Петровнического подобного неговарят и не подразумевают.

Нельзя упрекнуть соавторов в создании фиктивной действительности или несуществующих героев, что впоследствии стало специализацией социалистического реализма. Достоверные культурно-исторические черты — грубость и ограниченный прагматизм молодежи, конформизм и низкая профессиональная культура пишущей братии и т. д. — намечены вполне ясно, что в широком плане обеспечивает картину советской жизни ДС/ЗТ достаточное соответствие с реальностью. Но черты эти сглажены, потенциально неприятное и опасное в них нейтрализовано и смягчено добродушным юмором, а главное — все это осмыслено в перспективе, принципиально отличной не только от нашей, но и от современной Ильфу и Петрову в произведениях хотя бы таких коллег, как Булгаков, Олеша или Пильняк. Внешнему наблюдателю эти персонажи могут не нравиться, но соавторы ДС/ЗТ приглашают смотреть на них прежде всего как на "инсайдеров": о них свои, они члены великой и дружной советской семьи, и в этом качестве получают гарантированные послабления: — одни — за молодость (это дети, у них все впереди, они вырастут и поумнеют вместе со страной), другие — за добросовестную, пусть иной раз и бестолковую, приверженность революционному делу. Не закрывая глаза на недостатки советских людей, которые соавторы отражают в достаточной мере, но все же "дружеских шаржах", Ильфу и Петровы предоставляют им "benefit of the doubt" в их антагонизме со сторонниками культуры и традиции.

Признак причастности/непричастности, как уже говорилось, решающим образом отделяет в мире Ильфа и Петрова "чистых" от "нечистых", из которых первые, дав обет верности истинному социализму, не должны ни бояться тоталитарно-бюрократических болезней, разъедающих его несовершенно земное воплощение, ни опасаться за собственные грехи и несовершенства. Эти людям вовсе не обязательно поражать умом, силой или оригинальностью. От них ожидается немного: элементарное приличие, искренняя вера, а об остальном позаботится то грандиозное целое, к которому они служат. Новый человек первых пятилеток — это не то, что новый человек Чернышевского с акцентом на эмансипированной личности. Его сила не в индивидуальных талантах, не в независимости, а, напротив, в безраздельной принадлежности к Коллективу, одушевленному возвышенной мечтой. Он может ошибаться, делать пошлости, разделять сомнительную по ценностям массу культуру реального социализма и даже сам участвовать в ее размножении, как это делают турксибские журналисты, — но в последней инстанции его суть определяется не этим, а его преданностью миру строек, научных открытий, преобразования природы, новой морали. Соучастие в этих делах перекрывает личные недостатки людей и придает их жизни высший смысл. Включаясь в общий поток, человек получает право на многое: на заботу, уважение, прощение слабостей, удобное место под солнцем. В нарочито приземленной, негероической трактовке советских персонажей следует видеть умный авторский замысел, благодаря которому принцип причастности проступает более явно, чем если бы каждый из них был ярким и героичен сам по себе. Идея могучего коллектива, обеспечивающего счастье и благополучие индивида, идея великой страны, заботливо опекающей каждого своего гражданина, подчеркивается с особенной силой именно там, где последний представлен слабым, инфантильным, заблудшим, т. е. особо нуждающимся в покровительстве и в твердой ведущей руке (см., напр., рассказ "Турист-единоличник", повесть "Тоня" и др.).

Двойственность этих героев, отражающая дуализм всей социалистической космогонии Ильфа и Петрова, наглядно проявляется в их взаимоотношениях с Остапом Бендером. В той мере, в какой они принадлежат обыкновенному миру с его несовершенствами, великий комбинатор с успехом применяет к ним свою привычную технику пародии и обмана. Но причастность к ценностям высшего порядка дает им, даже обманутым, превосходство над Бендером, и он это понимает лучше, чем они сами. Ухудшанский, напр., с радостью покупает у него "Торжественный комплект" для механического сочинения стихов и прозы, чем и выставляет себя на смех, демобилируя профессиональную



некомпетентность. Но кончается дело тем, что Бендера изгоняют из литерного поезда за безбилетную езду, а Ухудшанский с остальными журналистами едет дальше, чтобы присутствовать при многих замечательных событиях. (Отметим попутно символику поезда как надличной силы, организующей всю эту достаточно ограниченную и бестолковую публику, направляющей её к правильной цели.) Эта неудача Остапа предвосхищена в начале романа, где антилоповцы, выброшенные из автопробега, наблюдают его с обочины дороги. Остап, перед этим с таким блеском пародировавший митинги и лозунги, признает свое поражение: "Вам не завидно, Балаганов? Мне завидно" [ЗТ 7]<sup>4</sup>.

Одним словом, хотя царство бюрократии, фразы, идеологии, конформизма, некомпетентности имеет устрашающие размеры, на нем, согласно Ильфу и Петрову, мир не замыкается. Рост этих феноменов не является фатальной необходимостью и не подрывает веры в социализм как торжество разума, справедливости и свободы. Уже сейчас советские люди располагают верными способами выходить из сферы действия этих уродств на простор настоящей жизни.

Такова конструкция мира в романах Ильфа и Петрова, и в настоящее время нет никакого смысла упрекать авторов в создании конформистских утопий и вредных мифов. Полезнее задумываться над тем, каким образом талант писателя способен придавать даже самым неправдоподобным утопиям привлекательность и органичность. Ведь, напр., густая идеализация Августа и Мецената ничуть не портит для нас оды и сатиры Горация или эклоги Виргилия; финал "Тартюфа" с прославлением всевидящего и справедливого короля и сегодня вызывает слезы; иода к Фелице продолжает оставаться великой поэзией, хотя нам хорошо известен облик настоящей Екатерины. Описанная выше модель советского мира в ДС/ЗТ по целому ряду линий согласована с другими аспектами их поэтики и не может быть устранена без разрушения всего художественного здания романов. Помимо всего прочего, она делает возможной праздничную мажорную тональность, столь парадоксально выделяющую эпос Ильфа и Петрова на фоне той критической и сатирической традиции в литературе 20-х годов, к которой он несомненно принадлежит.

## 2. СОВЕТСКИЙ МИР В ДС/ЗТ: СУДЬБЫ ЛЮДЕЙ, ВЕЩЕЙ И СЛОВ.

2.0. Некоторые особенности модели социалистического мира в ДС/ЗТ играют роль своего рода тематических доминант, которые формируют жанровый облик романов и пронизывают многие стороны их фабулы, стиля, системы персонажей, техники комического. В настоящем разделе, как и в предыдущем, речь будет идти от образа сопереживания системы, который предстает на страницах романа. Однако в той мере, в какой художественная модель в ДС/ЗТ отражает реальность советской системы, ниже следующие замечания неизбежно применимы и к самой этой реальности.

2.1. Вовлечение. К чертам, играющим в ДС/ЗТ доминантную роль, относится, в первых, требование политической вовлеченности, которое предъявляет гражданам бюрократическо-идеологическая система. Обязанность участвовать в учрежденных государством формах жизни, определять, "с кем ты", принудительность сопереживания массовых чувств составляют тему многих произведений советской литературы, от "Тихого Дона" и "Хождения по мукам" до "Зависти" и "Доктора Живаго".

2.2. Претензии на универсальность. Другая черта мира, определяющая многое в романах Ильфа и Петрова, — это претензия бюрократическо-идеологических обычаев на универсальность, стремление их к полному охвату действительности. Свои аксиомы, стиль мышления, классификацию и оценку вещей система стремится представить как общезначимые и единственные. Сплетаясь с различными формами жизни, бюрократическо-идеологическое образует разветвленную лжекультуру, способную приобретать

устрашающий облик. Проявления этого процесса, в эпоху Ильфа и Петрова еще далеко не завершеного, многообразны, от сравнительно безобидных (как, напр., неспособность в общем-то хороших людей, вроде трамвайного инженера Треухова в ДС 12, отделаться от газетных клише) до злокачественных, ведущих к удушению живого (напр., в известных фельетонах о Робинзоне и о говорящей собаке).

**2.2.1. Манипулирование языком.** Эта тенденция господствующих установок к проникновению во все поры и уголки жизни находит одно из наиболее характерных выражений в сфере языка. Язык — цемент тоталитаризма, важнейший фронт идеологического овладения жизнью. Перекройка действительности начинается с операций по переработке языка в "новоречь" (орвелловский *newspeak*). Последняя состоит из идеологически нагруженных штампов и перелицованных понятий и базируется на разветвленном лингвистическом этикете, на строгом режиме языковых запретов и предписаний. Аксиоматика официальной веры хитрыми путями преломляется в стилистике и интонации, морфологии и синтаксисе, словоупотреблении и пунктуации. Вмешательство в процесс мышления начинается, таким образом, уже на уровне кода, т.е. орудий и элементарных единиц мысли, какие местосостроенной в них идеологией должны усваиваться санносителями языка непроизвольно, западая в автоматизированную, "нерассуждающую" область сознания.

Романы Ильфа и Петрова представляют собой раннюю и развернутую ироническую реакцию на тоталитарное манипулирование языком. В этом качестве они сыграли роль основоположной книги, своего рода базовой грамматики для советского юмора последующих десятилетий. Несомненно, напр., зависимость от традиции Ильфа и Петрова таких сатириков, как Аксенов, Войнович, Искандер, а также никогда не прерывавшаяся "бендеровская" струя в повседневном юморе<sup>5</sup>. Авторская речь и речь Остапа Бендера в ДС/ЗТ — это, среди прочего, веселая игра с бюрократическо-идеологической новоречью, чья экспансия в различные сферы жизни передраживается путем "примерки" ее клише и сакральных формул к наименее подходящим для того материалам ("дьякон Самообложенский", "Иван Грозный отмежевывается от сына" и т.п.). Подобные эксперименты с авторитетной терминологией обнажают ее условность, несостоятельность ее претензий на охват всего бытия.

Здесь следует указать на то, с чем еще не раз придется иметь дело: что профанация подвергается не только советский мир, но и дореволюционный. Соавторы и их герои с одинаковой непринужденностью жонглируют языковыми клише того и другого. Это довольно естественно, если учесть, что засилье штампа, лозунга и других форм "патетической лжи и условности" (Бахтин) началось в России задолго до революции. И монархия и ее враги в одинаковой мере полагались на гипноз слов. "Нельзя понять ту эпоху, если позабыть повальную, безграничную веру в политические формулы, забыть тот энтузиазм, с которым их все повторяли, как повторяют колдовские заговор", — пишет, напр., А.Тыркова-Вильямс об эпохе 1-й Думы (1906 г.). "Когда извержение кончилось, когда лава остыла, многие сами себе удивлялись — как я мог так думать, так говорить, так действовать?"<sup>6</sup>. Лара в "Докторе Живаго" считает приметой века "владычество фразы, сначала монархической, потом революционной" [XIII.14].

Несомненно, однако, что в мире Ильфа и Петрова старые и новые стереотипы сосуществуют на качественно разных началах. Если дореволюционные формулы, как правило, фигурируют в виде безвредных и издевательски попираемых окаменелостей, то советские, напротив, предстают как активные, живущие интенсивной паразитической жизнью, бесцеремонно присасывающиеся к живым тканям культуры и языка, всегда готовые "освоить" даже самый неподатливый объект (Робинзона, ученую собаку, мифологию, старух в богадельне, природу, имена собственные...).

Ради точности следует заметить, что отнюдь не все штампы, захлестывающие речь 20-х гг., непосредственно связаны с идеологией. Тогдашний суконный язык имел более широкую базу в культуре (или, скорее, антикультуре) эпохи. В его выработке сыг-

рала свою роль не только экспансия тоталитарного мышления как такового, но и "плебейзация" всех сторон культуры, установление некоего опресненного демократического стандарта в области одежды, быта, эстетических вкусов, развлечений и т.п. Упрощается, среди прочего, и язык, превращаясь из высокообразованного элитарного средства выражения в несложный в обращении, "доступный бедным" рабочий инструмент, состоящий из расхожих клише, стертых метафор и цитат, — тот жаргон, о котором Юрий Живаго скажет: «Юритер», «не поддаваться панике», «кто сказал а, должен сказать бе», «Моор сделал свое дело, Моор может уйти» — все эти пошлости, все эти выражения не для меня» [XI.5]. В выработке этого "мусорного" стиля русской речи не последнюю роль сыграл В.И. Ленин, в совершенстве владевший хлесткой, но выхолощенной образностью штампов и пригодных на все случаи жизни "крылатых слов": такие, напр., выражения, как "три кита", "фиговый листок", "гвоздь вопроса", "поднести на тарелочке", "сидеть между двух стульев", "паки и паки", "связать по рукам и ногам" и т.п. постоянно повторяются им по самым разным поводам. Ленинский стиль красноречия повлиял на речь других большевистских ораторов и вождей, а от них, как зорко заметил в свое время А.М. Селищев, перешел в средства информации и в повседневную речь. И, конечно, стиль этот еще скорее, чем язык литературы и интеллигенции, поддавался влиянию канцелярско-идеологической новоречи, с которой он и так уже находился в родственных отношениях.

Этот напористый плебейский язык 20-х гг. и основанный на нем журнализм не могли не отразиться и на стилистической ткани романов Ильфа и Петрова, где они присутствуют и становятся объектом игры наряду с другими речевыми пластинами. Ни для кого не секрет, напр., обилие в тексте ДС/ЗТ заведомо известных и расхожих цитат ("памятник нерукотворный", "взыскательный художник", "среди шумного бала", "я пришел к тебе с приветом", "а поворотись-ка, сынку" и т.п., включая и "мавра, который может уйти") и невзыскательных, если не просто затертых журналистских шуток (сравнение пассажиров "Антилопы" с тремя богатырями; картина "Большевики пишут письмо Чемберлену"; "индийский гость" о Р. Тагоре и т.п.) — и это наряду с эрудированными и порой хорошо замаскированными отсылками к самому широкому спектру литературных жанров и мотивов, с виртуозным построением сюжета и образа, с меткой метафорикой, с действительно первоклассными остротами! Какими бы историко-культурными или биографическими причинами ни объяснять присутствие в ДС/ЗТ этой разменной монеты массовой риторики и газетного юмора, художественно они вполне выписываются в контекст той безудержной цитатно-стилизационной стихии, которая царит на страницах романов, втягивая в них, притом далеко не всегда с чисто пародийной целью самые различные стили литературы и речи.

2.3. Мимикрия. Ответ людей на давление государства — мимикрия, одно из наиболее универсальных явлений в мире ДС/ЗТ, неиссякаемый источник комических положений и острот. Следует сразу же сказать, что мотив мимикрии в полную силу развертывается лишь во втором романе, что вполне естественно объясняется ужесточением идеологического климата в 1929-1930. В условиях нэпа несочувствующие советской власти элементы еще могли делать ставку на эскапизм, заботиться о приписании себе столько лояльной маски, сколько просто уютного уголка в стороне от политики. Таков отец Федор, рассчитывающий "зажить по-хорошему возле своего свечного заводика". Другие, как Чарушиновы и компания, мечтают о падении большевиков и также не прикидываются марксистами, а пережидают в стороне, приторговывая кто баранками, кто мануфактурой. В ДС их существование еще не отмечено, как в ЗТ, печатью эфемерности. Мир, поделенный между государственной и частной сферами, представляется достаточно устойчивым. Советскую терминологию герои первого романа пускают в ход не на каждом шагу, а лишь при крайней нужде, как неверующий в иную отчаянную мину-ту вызывает к Богу. Так, о Федор в пылу схватки с Воробьяниновым из-за стула ссылает-

ся на "власть трудящихся"; провинившийся Ипполит Матвеевич бормочет что-то об аукционерах, которые "дерут с трудящихся втридорога" [ДС 9,21] и т.п. Мимикрия в ДС — лишь прозрачная косметическая уловка подхалимов и халтурщиков, как псевдоним "Маховик", под которым работает бывший "Принц Датский" [ДС 13] или как "многоликий Гаврила" Никифора Ляписа. Напротив, во втором романе, действие которого с самого начала проходит под грозным знаком чистки, персонажи мимикрируют ради выживания, и делают они это со страхом (геркулесовцы), со слезами и мукой (Синицкий), в суете и суматохе (художники, гонящиеся за ответственными работниками [ЗТ 8]), с ляпсусами и проговариваниями (Синицкий в шарадах делает идеологические промахи, Скумбриевич заявляет комиссии по чистке "я не Скумбриевич, я сын" [ЗТ 35]). И мимикрия носит здесь уже не индивидуальный и спорадический, а перманентный и массовый характер ("Геркулес"). Наиболее дальновидные применяют хорошо продуманную технику притворства, рассчитанную на длительное подпольное выживание (Корейко, мнимосумасшедшие), но и они в конце концов лишь отсрочивают этим свое разоблачение и провал.

Один из типичных результатов мимикрии в культурной сфере — курьезные гибриды, в которых старые формы и модели наскоро переделаны в соответствующие советские и проглядывают из-под них, напр., статуэтка "Купающаяся колхозница", новогодние рассказы о "замерзающей пионерке" и т.п. Новолетовский критик издевается над песней "Привет тебе, Октябрь великий", скроенной по образцу фаустовского "Привет тебе, прият невинный" [см. примечание 16 к ДС 5]. Рецензент эпохи ЗТ отмечает, что "Нагородская и Вербицкая, прикрывшись защитным цветом громких фраз о колхозном строительстве, о новом человеке, продолжают поставлять читателю мещанское обывательское чтиво"<sup>7</sup>. Любопытно, однако, что в то время как советская критика клеймит приспособляющихся деятелей искусств, советский агитпроп совершенно открыто и демонстративно настраивает свою продукцию на популярнейшие старые мотивы: ср., напр., революционные варианты песен "Стенька Разин" "Вдоль по речке", "Так громче музыка, играй победу", пресловутые новые частушки и т.п.

**2.4. Лоскутный облик культуры.** Все эти явления способствуют другому бросающемуся в глаза свойству мира ДС/ЗТ. Мы имеем в виду лоскутность представленной в романах культуры, ее до причудливости гетерогенный и дисгармонический облик, словно издевающийся над установкой на единообразие, которую тоталитарная идеология сохранила в своей программе, но пока что бессильна полностью осуществить на практике. Новому быту не хватает единого стиля, на многих своих участках он наскоро сметан из взаимно диссонирующих элементов разного происхождения, как, напр., пестрый набор советской и дореволюционной мебели в кабинете председателя горисполкома [ЗТ 1] или "восемь экспонатов" краеведческого музея, среди которых зубамонта, макет обелиска, жестяной венок с лентами и проч. [ЗТ 31].

Пестрота эта обусловлена рядом причин, самая простая из которых — элементарная бедность, всеобщий дефицит, вынужденный аскетизм быта в начинающуюся эру пятилеток. Нехватка простейших благ ведет к их расхвату и разрозниванию, к разрушению всяческой комплектности. В этом смысле сюжет первого романа, основанный на разрознивании гарнитура стульев, подчеркнуто символически. Показательна и та сцена, где Остап пытается обманудировать антилоповцев сообразно своим представлениям о характере каждого: Балаганов подошли бы "клетчатая ковбойская рубашка и кожаные краги", Паниковскому — "черный сюртук и касторовая шляпа", самому Бендеру "нужен смокинг" и т.п. Подобные требования были бы вполне удовлетворимы в рамках высоко-развитой и тонко дифференцированной культуры, напр., дореволюционной или даже нэповской. Но в советской России 1930 года, где "штанов нет", не приходится мечтать о гармоничных ансамблях, о скоординированном подборе костюма к личности, и на Пани-

ковского вместо сюртука напяливают мундир пожарного, из-под которого, как всегда у этого персонажа, болтаются кальсонные тесемки.

Не менее важный фактор, придающий лоскутный облик советской культуре, — это бесчисленные вкрапления в нее старого, вдребезги разбитого быта. Протоколы с "лиловыми «слушали-постановили»" вырываются из папок с тисненой надписью "Musique" (одна из вводных деталей романа, символично предваряющая множество манифестаций того же явления на дальнейших его страницах); советское учреждение размещается в бывшей гостинице с дриадами и наядами; метрдотель "от Мартьяныча" пытается оформить в лучшем старорежимном стиле банкет в честь строителей Турксиба и т.п. [ЗТ 1, 11, 29]. Атрибуты, эмблемы, формулы, представители прежней культуры выбиты со своих традиционных мест, вырваны из приличествующего им окружения, хаотично разбросаны по ландшафту новой действительности, варварски втиснуты в чуждые им, остраняющие, а порой и оскверняющие контексты. Бакенбарды Хворобьева, напр., "кажутся ненатуральными", когда под ними нет "ни синего вицмундира, ни штатского орденка с муаровой ленточкой, ни петлиц со звездами тайного советника" [ЗТ 8]. Вместо чинов министерства народного просвещения бакенбардиста окружают Пролеткульт, совслужащие, стенгазеты, непрерывка... Старый мир до основания разрушен, полузасыпан, перестал существовать как единый ансамбль, и на поверхности можно наблюдать лишь разрозненные его осколки в самых разнообразных комбинациях с элементами нового быта и друг с другом.

Подобный угол зрения связан с определенной преемственностью с поэтикой начала столетия. Эмоциональная приверженность к индивидуальной детали, к малой бытовой вещи была ярко выражена в культуре серебряного века, славившего и одухотворявшего хрупкую фактуру жизни, учившего бережно лелеять каждый отдельный ее фрагмент и каждый миг ввиду трагической эфемерности человека и культуры (такой оттенок имеет любовь к вещи в поэзии акмеистов, у Розанова и др.). Поэтика предметности поддерживалась и чутьем к символическому измерению мира, свойственным культуре раннего ХХ в. Этот интерес к отдельной вещи передался послеволюционной литературе, хотя, конечно, с заметной сдвинутой акцентами. Калейдоскоп полузабытых аксессуаров эпохи, отрывочных фраз, выхваченных из потока времени деталей, коллекции реалий, "поминальные списки вещей" — таков обычай после 1917 способ воссоздания образа прошлого как в советской, так и в эмигрантской литературе (ср. хотя бы описание одного и того же предмета — серебряного пресс-папье с медвежонком — у эмигранта-сатириковца С. Горного и в ЗТ [примечание 6 к ЗТ 20]). При этом у разных авторов в разных пропорциях сочетаются идущее от серебряного века ностальгически-бережное отношение к фрагментам "милой жизни" (теперь уже ставшим фрагментами в буквальном, этимологическом смысле слова) и новое, в циническом духе времени, глумление над их беспомощной оголенностью, оторванностью от родной среды. Сам выбор предметов, разумеется, также бывает разным в зависимости от позиции автора. Со шепчущим лиризмом рассыпает перед читателем подробности ушедшего быта уже упомянутый С. Горный (напр., в книге с характерным названием "Только о вещах"). То же у поэтов: Принесла случайная молва / Милые, ненужные слова: / "Летний сад", "Фонтанка" и "Нева"... (Вертинский); И в памяти черной, пошарив, найдешь / До самого локтя перчатки, и т.д. (Ахматова) и мн. др. Напротив, Ильф и Петров, в широком смысле находящиеся в той же струе, примыкают к ее левому (т.е. ироническому и десакрализирующему) флангу. Соавторы часто и с насмешливой подробностью описывают разрозненные коллекции обломков прошлого: то пеструю мебель в кабинете председателя [ЗТ 1], то предметы аукционного торга [ДС 21], то приобретения Остапа, решившего превратить миллион в ценные вещи [ЗТ 36]. Обе линии, ностальгичная и ироническая, сходятся в поздних меуарных произведениях В. Катаева (одно из которых — в сущности, целая энциклопедия воспоминаний о вещах — так и называется: "Разбитая жизнь...").

2.5. Рециклизация. Новая цивилизация, как и разрушенная старая, далека от желаемого единообразия — не в последнюю очередь именно благодаря засоряющим ее пестрым *disjuncta* старого быта. Эти последние не могут немедленно исчезнуть со сцены, да и молодой советский истеблишмент, по своей бедности и неустроенности, продолжает в них нуждаться. Но использует он их в смещенных, периферийных функциях, нисколько не считаясь с тем, насколько престижная роль отводилась тому или иному объекту в иерархии старого мира. Предводитель дворянства служит регистратором загса, в альковах бывшей гостиницы развешиваются учрежденческие диаграммы и схемы. Старое, как утиль-сырье, подвергается массовой переработке, или, говоря по-современному, рециклизации (*recycling*). Новая культура утилизирует обломки старой, подобно тому как в средние века победители вдевали в кладку своих домов детали, гербы, украшения из снесенных дворцов и башен поверженного врага...

Рециклизация, захватывающая как материальные, так и духовные аспекты дореволюционной культуры, дающая себя знать в большом и малом, является одной из главных доминант мира и стилистики романов Ильфа и Петрова. Она налицо и в розыгрышах Остапа Бендера, и в трактовке множества персонажей и предметов, и в фабульных мотивах вроде "рогов и копыт", и в самой фактуре романов, демонстративно построенных из элементов старой литературы<sup>8</sup>. Перед лицом этой нигилистически-иронической стихии, беззащитно перемалывающей культурный и человеческий материал, можно если не безоговорочно принять, то понять точку зрения Д.Мирского, который в рецензии 1931 г., отдавая должное комическому таланту Ильфа и Петрова, усматривал в ДС (как и в ряде произведений Л.Леонова, В.Катаева и др.) "сто процентный цинизм и презрение к человеческой природе" и находил, что в конечном счете роман производит мрачное впечатление<sup>9</sup>. Следует заметить, однако, что в отношении девальвации человеческих слов, намерений и претензий ближайшим предшественникам авангардных писателей был скорей всего Чехов, которого меньше всего можно заподозрить в цинизме<sup>10</sup>.

Принцип рециклизации, действующий на всех уровнях романной структуры ДС/ЗТ, отражает хорошо известные тенденции времени. Общеизвестна, напр., установка на то, чтобы использовать все то из старой культуры, что может пригодиться пролетариату (напр., мастерство классиков, знания интеллигенции и т.п.), остальное же, включая и "выжатых", как лимоны, носителей этой культуры, отбросить за ненадобностью. Это положение дел весьма ясно сформулировал Иван Бабичев, герой "Зависти" Ю.Олеши: "Они жрут нас, как пищу, — девятнадцатый век втягивает они в себя, как удав втягивает кролика... Жуют и переваривают. Что на пользу — то впитывают, что вредит — выбрасывают... Наши чувства выбрасывают они, нашу технику — впитывают!" (II.6). Иногда этой операции придавался демонстративно-символический характер, напр., когда колокола публично снимались для переплавки на нужды пятилеток, или когда всем известные старые песни и лозунги переиначивались, как это уже было отмечено, на советский лад. Однако наряду с подобной сознательной, методичной и вызывающей рециклизацией происходили и массово-стихийные процессы того же направления, приводившие к хаотическим результатам.

Все этой придатой культуре 20-х гг. пестрота, которая в романах Ильфа и Петрова нарочито сгущена и непрерывно эксплуатируется в сатирических целях. Полупереваренный дореволюционный материал то и дело проглядывает в ДС/ЗТ из-под форм новой действительности, комично с ними контрастируя: "Как захвозы ["Геркулеса"] ни замазывали старые надписи, они все-таки выглядывали отовсюду. То выскакивало в торговом отделе слово «Кабинетъ», то вдруг на матово-стеклянной двери машинного бюро замечались водяные знаки «Дежурная горничная...» (отметим одновременную рециклизацию в стилистическом плане — использование начальных слов "Воскресения" Толстого и других литературных мотивов).

Эта стилистическая разногласица не распространяется на "положительную" часть

социалистического мира: рабочие, строители, журналисты "Станка", комсомольцы туркисбских глав ее почти не знают. Растущие целиком на новой почве, не связанные с прошлым, эти слои обладают примитивной, но свежей, цельной и по-своему притягательной культурой. Комичные вкрапления осколков старого характерны прежде всего для бюрократической, идеологической, административной, культурной сфер советского мира. Здесь они могут образовывать довольно значительный и жизнестойкий субстрат, под влиянием которого формы нового перерождаются и начинают походить на старое; так, народное гулянье в пользу узников капитала есть, в сущности, травестия масленичного гулянья [ЗТ 14]. В унисон с этими тенденциями работает и мимикрия в сфере литературы, искусства, агитпропа (см. выше).

### 3. ЛИТЕРАТУРНАЯ ГЕНЕАЛОГИЯ ОСТАПА БЕНДЕРА И ЕГО ФУНКЦИИ В РОМАНЕ

3.0. Вводные замечания. Лишь выявив эти главные силовые линии художественной модели мира в ДС/ЗТ, можно перейти к релевантным чертам образа Остапа Бендера, а также архитектоники и стилистики романов о нем. Бендер — фигура достаточно традиционная, имеющая за своей спиной солидную генеалогию (в том числе и в русской литературе), но вместе с тем и обладающая оригинальностью, которую можно вполне оценить лишь на фоне традиции. Оригинальность эта состоит, во-первых, в новой комбинации известных признаков и типов литературного героя, и, во-вторых, в том, что эти традиционные признаки и типы оказываются спроецированы в советскую действительность, на фоне которой они неожиданно приходятся "ко двору", получают парадоксальные применения и начинают жить новой жизнью.

В критических работах об Ильфе и Петрове не раз отмечались как социальная несolidность Бендера, сугубо жульнический характер его деятельности, так и присущие ему черты интеллектуализма, духовного аристократизма, остроумия, превосходства над массой. Подобные наблюдения, очевидно, правильны, но они не могут в полной мере передать своеобразие фигуры Бендера, поскольку определяют данного героя с помощью чисто житейских понятий, а не в терминах систем и конструкций, из которых складывается литература. Мы сможем лучше оценить изобретательность создателей Бендера, если будем рассматривать этого героя в перспективе литературной типологии, как пересечение и модификацию некоторых уже известных классов персонажей. Понимание того, каким из существующих "семейств" героев принадлежит Бендер, позволит успешнее опознать в его фигуре релевантные элементы и аспекты, присущие данному семейству, и предсказать или разглядеть другие, которыми он в силу принадлежности к этому семейству мог бы обладать или даже обладать, но в недоиспользованном или размытом виде.

3.1. Бендер в типологической перспективе: "демонизм" и "плутовство". В самом общем плане следует, по-видимому, указать два главных ряда литературных типов, в которые одновременно входит Остап Бендер: а) "плутовской" и б) "демонической".

С одной стороны, герой ДС/ЗТ очевидным образом относится к типу деклассированных авантюристов, чьи интересы располагаются в тривиальной, "низменной" сфере, заведомо отключенной от каких-либо идеалистических или престижных устремлений. В словаре культуры фигура плута помечена признаком "низ", его цели откровенно эгоистичны и безыдеальны, что, естественно, создает богатые возможности для подрыва с его помощью чьих-то претензий на значительность, для высмеивания неумных и вредных страстей, для развенчания "чужой патетической лжи и условности" (Бахтин). Примеры плутов или бродяг, чья деятельность бросает вызов чужой солидности, известны: это, напр., находчивые слуги сумасбродов-хозяев у Мольера, "король" и "герцог", дурачащие провинциальных обывателей, у М.Твена (Приключения Гекельберри Финна), жулики

О. Генри, ряд вариантов чаплиновского героя; в реальной жизни это аферисты вроде знаменитого корнета Савина и др.

С другой стороны, как уже отмечали наиболее внимательные критики<sup>11</sup>, Бендер входит в разветвленную семью интеллектуально изощренных героев, стоящих высоко над "толпой" и одиноких в этом своем олимпийстве, героев, с иронией и своего рода научным любопытством взирающих на человеческую комедию, и по праву превосходства позволяющих себе всякого рода опыты над неразумными существами, манипулирование ими, передразнивание и провоцирование. "Я невропатолог, я психиатр", — говорит о себе Бендер, — "я изучаю души своих пациентов. Им не почему-то всегда попадают очень глупые души" [ЗТ 6]. Когда абсолютные мерки и "телескопическое" зрение такого существа вдруг обращаются на возню мелких и пошлых людей, эффект оказывается комическим, особенно если подобным образом посрамляются целые сообщества пигмеев в вместе с их "идеологией", "общественным мнением", "авторитетными" институтами и т. п. Этих героев, мощную поросль которых породила эпоха романтизма, принято объединять под условным названием "демонических". В их ряд входят столь различные фигуры, как Печорин, Воланд, Хулио Хуренито<sup>12</sup>, а до известной степени также тургеневский Базаров, Маяковский как художественная личность и "я" собственных произведений, и др. Демонический персонаж способен на благородные поступки ради рядовых людей, к которым испытывает благожелательность, — вспомним хотя бы самопожертвование Базарова ради мужиков, на чей счет у него нет никаких иллюзий, или Воланда, протягивающего руку смелым и независимым людям, или заботу Остапа обывших компаньонов в конце ЗТ. В то же время подобный герой нередко присваивает себе наполеоновское право распоряжаться маленькими людьми и их жизнью как дешевым материалам для своих титанических экспериментов. В высокой своей разновидности данный тип может обладать подлинным обаянием, "харисмой". В менее приятных вариантах могут выступать на первый план такие черты, как пустота, цинизм, издевательство над всем и вся, а также такое известное свойство дьявола, как отсутствие устойчивого характера, бесконечная множественность масок и обликов. Тогда, в зависимости от степени "злокачественности", мы получаем или мелких бесов и перемешников, как спутники Воланда, или монстров типа Петра Степановича Верховенского.

"Плутовская" и "демоническая" ипостаси совпадают в одном: обе они предполагают принципиальную невовлеченность героя в дела и страсти "отдельных лиц и целых коллективов", свободу от идеологий, повинностей и подразделений, осложняющих жизнь рядовой массы, дистанцированное и нередко насмешливо-острашающее отношение к тому, что для нее составляет предмет интереса, вожделения или страха. Можно рассматривать плутовство и демонизм Бендера как два контрастных регистра, через которые проводится единая тема "невовлеченности" и которые затем неразрывно совмещаются в характерной модели бендерского поведения, в знакомом всем читателям рисунке бендерского речевого и практического остроумия. Участвуя в автопробеге или разговаривая с монархистом Хворобьевым, Остап как легковесный деклассированный плут дурачит и эпатирует своих партнеров "снизу", как мудрец-экспериментатор манипулирует ими и обнажает их смешную сторону "сверху", и в обоих качествах остается вне "вне" сферы страстей, принуждений и условностей, довлеющих над их жизнью<sup>13</sup>.

Этот контракт "невовлеченности" Бендера с "вовлеченностью" всех остальных делается особенно выпуклым благодаря формуле, по которой неизменно строятся встречи Бендера с другими персонажами. Как правило, он застаёт их не в спокойных и нейтральных ситуациях, а в состоянии повышенной эмоциональной напряженности. Мир, с которым имеет дело Бендер, — это всегда мир патетичный, спешащий, беспокоящийся, терпящий бедствие. Человеческие коллективы охвачены массовыми поветриями, их кружат водовороты и бьет лихорадка. Некоторые из этих страстей пребывают в латентном состоянии, пока их не пробудит к жизни Бендер: так, он расшевеливает монархические чувства старгородских обывателей и вызывает приступ шахматной горячки в Ва-



сюках. В других случаях он подстраивается к уже быющим ключам массовой энергии, как автопробег, шабаш на кинофабрике, борьба в коммунальной квартире, кампания по подписке на заем, чистка в учреждении, бурная художественная жизнь в провинциальном городке, журналистский ажиотаж вокруг Турксиба. То же относится к индивидам: в момент, когда в их жизни появляется Бендер, все они переживают тот или иной личный кризис, нуждаются в сочувствии и помощи<sup>14</sup>. Эллочка проигрывает состязание с дочерью миллионера; инженер Шукин стоит голый на лестнице перед зашелкнувшейся дверью; Изнуренков ждет увоза описанной мебели; Алхен, расхитивший казенное имущество, мучается стыдом и боится милиции; Лоханкина бросила жена и высекли соседи; Ухудшанский не находит подходящих слов для репортажа о стройке, и т.п. В аналогичных положениях застает Бендер своих будущих компаньонов: Паниковский спасается от преследователей, Козлевич переживает депрессию в автомобильном деле, над Балагановым вот-вот блеснет "длинный неприятный меч Немезиды". На фоне всех этих лиц и коллективов, в разной степени озабоченных, хмурых, согнутых под ярмом необходимости, свобода и беспечность Бендера производят освежающее действие. Его реакция на бедствия других выражает отрешенную юмористическую заинтересованность: "Паниковского бьют! — закричал Балаганов, картинно появляясь в дверях. — Уже? — деловито спросил Бендер. — Что-то очень быстро" [ЗТ 12].

Острота романов Ильфа и Петрова выразилась, среди прочего, в том, что персонаж с такой комбинацией свойств оказался помещен в советскую действительность, законом которой было как раз вовлечение индивида в массовые формы жизни, притом вовлечение, мягко говоря, весьма настойчивое, оставляющее очень мало места для уклонения. В подобных условиях происхождения героя типа Бендера неизбежно выглядели как рискованная дерзость. Будь он только плутом, это еще было бы терпимо: ведь шуту и жулику, которые с социальной точки зрения являются "никем", многое сходит с рук. Именно эту сторону в фигуре Бендера выделял В.Набоков, говоря: "Ильф и Петров, два замечательно одаренных писателя, решили, что если сделать героем проходимца, то никакие его приключения не смогут подвергнуться политической критике, поскольку жулик, уголовник, сумасшедший и вообще любой персонаж, стоящий вне советского общества, — иначе говоря, любой персонаж плутовского (picaresque) плана, — не может быть обвинен в том, что он недостаточно хороший коммунист или даже просто плохой коммунист. Так Ильфу и Петрову, Зощенке и Олеше удалось создать образцы абсолютно первоклассной литературы под знаком полной независимости, поскольку выбранные ими темы, персонажи и сюжеты не могли рассматриваться как политические. До начала 30-х гг., они еще могли это себе позволять"<sup>15</sup>.

Советская критика, по-видимому, в основном поддалась на эту уловку, и возобладавший в ней взгляд на Бендера как на жулика раг excellence уберег этого героя от анафемы, запрета и забвения, каким подверглись, напр., персонажи Булгакова, от ученых Персикова и Преображенского до демона Воланда, в которых олимпийское превосходство, свобода, невовлеченность в советские политизированные дрязги воплотились в незамаскированном и вызывающем виде. Главным амплуа героя Ильфа и Петрова критики более или менее единодушно признали плутовство, да и исконно-субверсивное значение плутовства было во многом скрадено социологическими мотивировками (сколько понаписано в советской критике о Бендере как типичном продукте эпохи нэпа, о его пресловутых "собственных" устремлениях!). Интеллектуализму же, остроумию, наблюдательности и другим "высоким" аспектам отводилась роль и вовсе второстепенных черт, которые, правда, придают этому жулику своеобразное обаяние, но сами по себе не складываются в какую-либо отдельную натуру. Плуту статус, таким образом, помог провести через цензурно-идеологические фильтры не только сагиру на советскую жизнь (тот побочный эффект бендеровских проделок, о котором говорит Набоков), но и второе лицо самого этого героя, лицо "холодного философа" и "психиатра глупых душ", лицо опасное, которое без такой ка-

муфлирующей завесы оказалось бы в советских условиях совершенно неприемлемым, как показывает судьба соответствующих персонажей Булгакова.

Этому, конечно, во многом способствовала неполная "зрелость" Бендера в первый период его литературного существования. В первом романе его "демонизм" еще только начинал кое-где прорезываться в недрах "плутства". Между тем именно "Двенадцать стульев", и поныне оцениваемые многими как более "классический" из двух романов, задала инерцию восприятия Бендера в советской и зарубежной критике. В ДС этот герой еще отчасти наделен чертами босяка, позволяет себе "обыкновенную кражу", унося чайное ситечко вдовы, не делает программных высказываний, не испытывает мировой тоски, — словом, ни в чем, кроме вкладываемого в его уста первоклассного авторского юмора, не выходит из собственно жульнического амплуа. Лишь в ЗТ, и притом уже с самых первых страниц, он предстает как существо иного, высшего порядка: имеет внешность атлета с медальным профилем, перед которым Балаганов испытывает "непреодолимое желание вытянуть руки по швам", как перед "кем-либо из вышестоящих товарищей"; отмежевывается от уголовщины ("я чту Уголовный кодекс"); заявляет себя как человек идеи и принципа ("меня корячат идеи", "мне скучно строить социализм"); не чужд демоническому одиночеству и томлению по "общим путям" (шатобриановским *voies communes*, гарантирующим счастье); наконец, подобно романтическим гигантам, не раз проявляет благородство и великодушие по отношению к бедным смертным. Само плутство предстает здесь интеллектуализированным, выглядит как высокое искусство; Бендер уже не жулик, а "великий комбинатор" (явный отголосок "великого провокатора" Хулио Хуренито из романа И.Эренбурга). Переход от Бендера ДС к Бендеру ЗТ, несмотря на исподволь накапливавшиеся симптомы, весьма резок. Погибнув в конце первого романа, он во втором романе восстает из мертвых новым человеком. Это первая, но не последняя большая переориентация его образа. Отметим попутно, что операцию его "оживления" Ильф и Петров проводят типичным для них способом — через аппарат архетипов и литературных ассоциаций. Новое явление зарезанного было Бендера — это, во-первых, еще одна реминисценция из Конан Дойла (погибший и воскресший Шерлок Холмс), а во-вторых, древний мотив "смерти и возрождения", которым обычно оформляются радикальные личностные перемены<sup>16</sup>. Несмотря на эту почти подмену Бендера в ЗТ, инерция "Двенадцати стульев" долго (и, вероятно, счастливо для судьбы более глубокого и опасного для истеблишмента "Золотого теленка") продолжала оказывать влияние на критические интерпретации.

3.1.1. Современные применения "демонизма" и "плутства". У каждой из двух классических составляющих образа Бендера обнаруживаются созвучия с современностью, благодаря которым этот персонаж органичным, хотя порой и довольно неожиданным образом вписывается в нарицательную соавторами картину советской действительности. "Плутство", например, имеет такую известную форму, как выдавание себя за кого-то другого. В атмосфере всеобщей мимикрии такое поведение плута может приобретать оттенок пародии на притворство всего общества.

Советские предлечения получает и ряд сторон "демонизма". Бюрократическое мироустройство, претендующее на всезнание и всемогущество, сидиотская серьезность навязывающей жизни свои пигмейские категории, буквально напрашивается на "провокационную" поверку категориями универсальными, мировыми, на отстраняющий показ с некой высшей точки зрения, откуда вся эта система принуждений представляется необязательной и смехотворной. Фигура, в которой воплощены философское превосходство, ирония, неподвластность мелочному контролю, умение превращать громоздкие приспособления деспотии в объект изящных игр и экспериментов, способна давать субверсивный эффект большой силы. Разновидности ее встречаются почти в каждом произведении М.Булгакова. Сюда примыкает в своей "высокой" ипостаси и Остап Бендер. Позиция иронической снисходительности, релятивизирующая мир самодовольных диллипутов, при-

нимает у него разные формы, не в последнюю очередь проявляясь в знаменитом остроумии. Последнее в большой мере отстраняет приукрашивания мелких явлений переводом их в крупный, в частности, мировой план ("Гомер, Мильтон и Паниковский" ит.п.)<sup>17</sup>.

С другой стороны, в выборе "демонической" маски для Бендера нашли отражение такие отмеченные выше черты послереволюционной ментальности, как пренебрежение к традиционной иерархии ценностей и с горечью констатированная Иваном Бабичевым готовность использовать, "перерабатывать" сколь угодно уникальную человеческую личность и плоды ее деятельности для сколь угодно прозаических нужд нового общества. Герой-сверхчеловек, манипулирующий обыкновенными смертными, оказался в советских условиях фигурой актуальной, допускающей — со значительным сдвигом в сторону цинизма — вполне современные применения. Отразился он и в образе Остапа Бендера, получив в его лице свободное развитие, далеко выходящее за рамки романтического архетипа. Обращение Бендера с людьми и культурно-языковыми штампами отвечает общему духу времени, бесцеремонно перетасовывающего элементы разнородного и происхождения, наделяющего все, включая человека и его заботы, новыми неожиданными функциями.

Рециклизация применительно к человеку состоит, говоря общими словами, в том, что его воспринимают не на том уровне, на котором он сам себя мыслит, отказываются видеть его в том фокусе, в котором он сам пригласает других рассматривать свою личность, и как бы перечеркивает внутреннюю сложность, самостоятельность, взрослость, на которые он претендует. Вместо этого его суммарно заносит в рубрику, о которой он может даже не иметь понятия, причем в этой чужой перспективе может вводиться какая-то второстепенная, несерьезная или служебная роль (напр., роль ребенка, невменяемого, орудия или, наоборот, досадной помехи в достижении чьих-то целей, комического явления, научно-гок урвеза и т.п.). Остап Бендер берет из воздуха эпохи это переквалифицирующее отношение к человеку, обобщает его и претворяет в каскад шуток и розыгрышей, распостраняемых на любые объекты "глупые души". Бесспорно, в таком поведении в полной мере запечатлен дух цинической непочтительности, способный в иных ситуациях давать весьма уродливые плоды, однако в случае Бендера он не вызывает возмущения, поскольку реализуется в легком, артистическом ключе. При этом, с одной стороны, нет речи сколь-нибудь реальном вреде для объектов его розыгрышей и шуток, а с другой — сами они своей заведомой карикатурностью, как правило, парализуют всякое читательское сочувствие.

Применительно к духовно-интеллектуальной продукции — идеям, стилям, знакам, именам, штампам, лозунгам, идеологиям — рециклизация проявляется как отказ принимать эти элементы в их исконном патетическом смысле, как игнорирование их "высокого" назначения и пересадка в иные, профанные семантические ряды. Санкционированная прежней культурой иерархия слов и ценностей более не уважается и не соблюдается, — это понятие. Но примечательная черта поэтики Ильфа и Петрова в том, что это неуважение совершенно непринужденно распространяется и на новую культуру, и рециклизация приобретает всеохватывающий характер. Как предметы быта в перетряхнутой революцией советской России предстают в причудливых сочетаниях, так в речи Ильфа и Петрова и их героя гетерогенные формулы и клише склеиваются друг с другом в шокирующие гибриды ("Афина — покровительница общих собраний", "спасение утопающих — дело рук самих утопающих" и т.п.). Как представители старого режима и объектам старого быта выпадают новые места и роли (папка "Musique" с протоколами заседаний, предводитель дворянства под плакатом "Сделал свое дело и уходи"), так и словесные стереотипы используются в новых функциях ("милостиво повелеть соизволил"), "учитесь торговать" и др. как разменная монета в жульнических розыгрышах Бендера).

**3.2. Типы "сатирических операций" Бендера.** Издательская и десакрализаторская функция Остапа Бендера осуществляется в виде трех главных типов его взаимодействия с "глупыми душами", опирающихся на "низкий" (плутовской) и/или на "высокий"

(демонический) статус героя. Все эти три типа бендеровских операций в большей или меньшей мере содержат элемент рециклизации человека и его деятельности. Обозначим их как "Распознавание", "Копирование" и "Использование".

**3.2.1. Распознавание** — линия поведения, принадлежащая в основном к "высокой" (демонической) ипостаси Бендера: здесь в полной мере сказывается его интеллектуальное превосходство над окружающими обитателями советского мира и умение манипулировать их душами. Как правило, Остапу достаточно самого облегого знакомства с партнером, чтобы вывести формулу его личности и поведения, какими бы изряда вон выходящими они ни представлялись. То, что человека стакой легкостью расшифровывают, подводят под известную рубрику и немедленно подбирают для обращения с ним нужный ключ, подрывает любые претензии и на сложности и уникальность. Бендер владеет этим даром идентификации в высокой степени. Еще не дослушав партнера, он подхватывает его мысль и стиль и возвращает ему их, часто в пародийной обработке: "Ах, — сказал Лоханкин проникновенно, — ведь в конце концов кто знает? Может быть, именно в этом сермяжная правда. — Сермяжная? — задумчиво повторил Бендер. — Она же посконная, домотканая и кондовая? Так, так. Вобщем, скажите, из какого класса гимназии вас вытурили за неуспешность? Из шестого? — Из пятого, — ответил Лоханкин" [ЗТ 13]. Бендер мало чему удивляется, ибо обо всем осведомлен, и на любой курьез всегда находитеще более сногшибательный факт из собственной практики; напр., неповторимому Феофану Мухину, пишущему картины овсом, он рассказывает о виденной в Москве картине из волос [ЗТ 8].

Когда "Распознавание" не сопровождается, как в последнем примере, подстраиванием под стиль и интересы партнера, оно часто находит выражение в холодной мине всезнающего наблюдателя, для которого человеческая глупость не таит никаких сюрпризов. Эта поза Бендера напоминает булгаковского Воланда, то выражение рассеянной любознательности, с которым профессор черной магии разглядывает советскую жизнь. "Он двигался по улице Арбата пешком, со снисходительным любопытством озираясь по сторонам... Город, видимо, ничем не поразил пешехода в артистической фуражке... — Нет, это не Рио-де-Жанейро" [ЗТ 1]; ср. заинтересованное выражение и снисходительную усмешку Воланда при его первом появлении в Москве, его эксперименты над москвичами и комментарии о них во время сеанса черной магии и т.п. Это поза научного наблюдения особенно часто применяется Бендером к собственным спутникам: "вторая стадия кражи гуся", "оригинальная конструкция, заря автомобилизма" [о Паниковском, Козлевиче, ЗТ 3]. Чем более патетичное положение предстает его взору (а спутники Бендера особенно часто попадают в такие положения), тем нежнее тон, с которым происходящее заносится в ту или иную наукообразную рубрику, как если бы речь шла о чем-то давно изученном и заранее предсказанном. В этом нарочитом движении интереса с человеческого драматизма ситуации на ее якобы научные параметры рециклирующее начало бендеровской сатиры проявляется весьма наглядно.

**3.2.2. Копирование** — пародийная имитация чужой заинтересованности, вовлеченности, а вместе с нею и языка, на котором она себя выражает. В этой линии сатирического поведения ключевую роль играет "низкая", плутовская ипостась Бендера, образующая контраст с симулируемой патетичностью. Впрочем, в той мере, в какой имитация эта опирается на знание людей и облекается в блестящую артистическую форму, можно говорить и о проявлении "высокой" ипостаси героя. Относясь совершенно несерьезно к проблемам, волнующим его партнеров, Бендер разыгрывает горячую солидарность с ними и с готовностью пускает в ход соответствующий каждому случаю язык: "в каком полку служили", "ударим автопробегом по безделью и разгильдяйству", "майн готт, дорогой Васисуялий, может быть, именно в этом великая сермяжная правда" и т.п.

Как пародист, Бендер делает наибольший упор именно на языковую сторону, на затвердевшие от долгого употребления формулы, в которых каждая из высмеиваемых им культур запечатлела свое средо и специфическое лицо. Человеческая глупость предстает

для Бендера впервую очередь как набор словесных штампов, смысла связность которых, и без того уже достаточно выветренные, он подвергает дальнейшему выхолощиванию. Пародии Бендера принадлежат веку, когда более чем когда-либо осознается роль языка в формировании социального порядка, с неизбежным выводом, что и подорвать этот порядок можно, манипулируя с тем же языком: нарушая табу, обнажая условности словоупотреблений, ослабляя связь означаемого с означающим<sup>18</sup>. Копирование сопровождается обильной рециклизацией, при которой сакраментальное становится объектом веселого жонглирования, переносится из круга "почтенных", апробированных ассоциаций в область свободной семантической игры, приравнивается к стилистически чуждым контекстам и к тривиальным, безыдейным обстоятельствам. Характерные выражения советской и имперской эпох, равно как и словечки, выхваченные из разного рода субкультуры из языка индивидуальных лиц, сыплется из Бендера как из рога изобилия, склеиваясь друг с другом и с инородными стилистическими телами, образуя причудливые и издевательские гибриды. Применяются разнообразные способы оглушения этих формул, вышибания из них последних остатков смысла; напр., Бендер наскоросколачивает из нескольких наугад выловленных фраз попури, нахально подделывающих под связную речь: "Автомобиль не роскошь, а средство передвижения. Железный конь идет на смену крестьянской лошадке... Я кончаю, товарищи. Предварительно закусив, мы продолжим наш далекий путь" [ЗТ6] или: "Я беспартийный монархист. Слуга царю, отец солдатам. В общем, взвейтесь, соколы, орлами полногоре горевать..." [ЗТ8].

Общая сливающая перетасовка штампов, вообще говоря, представляет собой характерный прием сатиры Ильфа и Петрова, независимый от Остапа Бендера и не обязательно мотивируемый его остроумием. Он налицо, напр., в стенаниях монархиста Хворобьева, когда тот валит в одну ненавистную кучу засевшие в мозгу обрывки советского жаргона: "Вывести! Из состава! Прикамера! В четыре года! Хамская власть!" [ЗТ8], а также во множестве авторских острот. Бендер, однако, является тем героем, в котором этот и другие виды десакрализирующего поведения сходятся воедино и подвергаются разнообразному варьированию, составляя главный "нервный центр" его образа.

Особая артистичность бендеровских пародий и имитаций состоит в том, что они во многом отражают характерные тенденции советской (и, в меньшей степени, имперской) эпохи. О том, что Бендер — плоть от плоти своего времени, уже говорилось достаточно. К уже сказанному можно добавить, что операция "Копирования" — в той мере, в какой она применяется к советскому материалу, — воспроизводит не только жаргон данной системы, но и порождаемое ею явление мимикрии, эту едва ли не главную болезнь времени. Свободный человек, Остап Бендер проделывает в легком, игровом ключе в сущности те же движения по приспособлению, защитному перекрашиванию, которые большинство граждан совершает в полный серьез, в беспокоействе и муке, впадая в смешные ляпсусы (старик Синицкий, на каждом шагу "дающий маху", и др.). Применение Бендером советской терминологии к несоответственным объектам ("По случаю наступления темноты объявляю вечер открытым" [ЗТ6] и др.) — комический аналог экспансии бюрократическо-идеологических понятий во все сферы жизни. Наконец, несуразные гибриды, в изобилии создаваемые Бендером из разностерстных штампов ("Все учтено могучим ураганом" [ДС34] и др.), вполне соответствуют лоскутному характеру окружающей действительности. Обладая стилем речи и поведения, в котором карикатурно фокусируются, сливаются, переходят друг в друга столь многие характерные явления конца нэпа и начала сталинщины, Остап Бендер во многих отношениях может рассматриваться как хотя и косвенное, но необычайно емкое, многогранное "кривое зеркало" своей великой и чудовищной эпохи.

3.2.3. Использование — третий тип сатирического обращения с людьми и объектами, основывающийся преимущественно на "низкой" испостаси героя. Он состоит в том, что чья-то заинтересованность, озабоченность, "лучшие чувства" и т.п. канализируются

на обслуживание плутовских нужд, имеющих, по определению, материалистический и тривиальный характер. Так, Остап ради карманных денег подогревает реставрационные мечтания старгородских монархистов; включается ради обеда и бочки бензина в агитационный автопробег и проч. Использование — наиболее очевидный и глумливый вид рециклизации, при котором человек, мнящий себя самоценной личностью и независимым агентом, в действительности выступает как пешка в чужой игре, ведущейся на совершенно ином уровне, нежели его собственные интересы. Он весьма распространен в мольеровских комедиях, где достигает фарсовых форм и служит главным способом комического развенчания дураков и деспотов. Конечно, у Ильфа и Петрова насмешка более цинична, поскольку цель плута здесь гораздо эгоистичнее и ниже по рангу, нежели у мольеровских слуг, разыгрывающих глупца-родителя ради счастья молодой пары.

Следует заметить, что наше разделение бендеровской сатирической деятельности на три типа до некоторой степени условно. Все они имеют важный общий знаменатель, разоблачая "патетическую ложь и условность" путем ее упрощения и оглушения, хотя и подходят к этой задаче по-разному. Еще более существенно, что они почти всегда предстают в совмещенном виде, т.е. Остап одновременно и "распознает", и "копирует", и "использует" своих клиентов, или соединяет какие-либо две из этих функций.

**3.3. Неразличающий подход к объектам сатиры.** Важно подчеркнуть, что указанные операции Бендер применяет (как уже отмечалось) к любым лицам и коллективам, тем самым уравнивая их между собой. Не следует видеть в высмеивании советских обычаев главную суть образа Бендера. Эпизоды, в которых он имеет дело с представителями советской бюрократии и общественности, не занимают в ДС/ЗТ больше места и не несут большего акцента, чем любые другие. Бюрократизм, лозунги, идеологические кампании, хозяйственный хаос сегодняшней России для Остапа суть лишь различные формы многоликой мировой глупости в одном ряду с монархическими прожектами, раздорами в коммунальной квартире или личными чудачествами, вроде соревнования Элочки с модной зарубежной львицей. Новое и старое осмеиваются "на равных", часто в один прием, в рамках одной фразы или игры слов. Как в житейской, так и в знаковой сфере герой Ильфа и Петрова обобщает заданную ему революционной эпохой циническую модель, пренебрегая различием между царскими и советскими, частными и официальными объектами, имея одинаковые способы обращения с идиотизмом всех цветов и рангов. Возможно, именно это невыделение советского из всего остального представляет собой наиболее обидный по отношению к социализму элемент бендеровского смеха. Такой обобщенный и беспристрастный подход к "реальному социализму" повышает ранг сатиры, делает ее более философичной и в конечном счете более разрушительной. Но он же и изымает из сатиры жало политической злободневности и памфлетной прямоты, делая роман менее уязвимым для проработочной критики.

Заметим, что универсальность издевательской техники Бендера делает, в сущности, излишним ее эксплицитное систематическое применение ко всем аспектам тоталитарного мира. Не было не только цензурной возможности, но и необходимости запускать в бендеровский сатирический "миксер" всю российскую действительность 1927-1930 гг. (напр., всю тогдашнюю новоречь в полном ее объеме: достаточно нескольких беглых намеков и демонстраций того, как это можно делать, вроде "Учитесь торговать" или "Вырву руки с корнем"). Знакомство с "грамматикой" бендеровской сатиры позволяет предвидеть, каким образом при соответствующих условиях она может быть распространена на гораздо более широкие пласты современности, на еще более сакральные объекты (что и делалось позднейшими авторами; ср., напр., сатирический эпос В.Войновича). Для проницательного читателя всегда было ясно, что уже само присутствие такого наблюдателя, комментатора и экспериментатора, как Бендер, делает любые части советского мира потенциально уязвимыми, бросает на них крамольную тень абсурда и относитель-

ности, даже если его фактически показанные действия достаточно невинны и обращены на второстепенные объекты.

**3.4. Поражение Бендера.** Авторы, впрочем, позаботились о том, чтобы создать и более солидный заслон исходящему от Бендера субверсивному "излучению", посвятив этой задаче всю последнюю часть второго романа. Здесь происходит вторая крупная метаморфоза героя (первой, напомним, было превращение босяка "Двенадцати стульев" в принца "Золотого теленка"). Выехав на Турксиб, Бендер выходит из привычной ему сферы несовершенного земного социализма, над которой он, по собственным словам, парил, как "свободный горный орел-стервятник" [ЗТ 15], соприкасается с социализмом идеальным, с романтическим миром строителей будущего, и отторгается им, как чужеродное тело. Демоническое превосходство над толпой "непуганых идиотов", дававшее столь великолепный эффект в Арбатове и Черноморске, здесь теряет свою силу. Мы не узнаем вчерашнего "холодного философа", аристократа и атлета с гордым бронзовым профилем в человеке, готовом в панике "бежать за комсомолом", сравниваемом соавторами с выдохшимся конферанسه [ЗТ 34]. Конечно, и в этом позднем Бендере можно усмотреть косвенное отражение романтического прототипа в той его грани, которая тоскует, тяготится своей отверженной исключительностью, тайно тянется к людям и к их обыкновенной жизни. Однако если эта модель и присутствует в заключительной части ЗТ, то во всяком случае предстает з резко сниженным, дегероизированным виде. Невовлеченность превращается в заключительной части диалоги из самого сильного в самом слабом месте Бендера и, вступая в конфликт с принципом благодатной причастности к великим делам, закрывает ему доступ в настоящую жизнь.

Эту нарастающую к концу ЗТ грустную тему одним из первых уловил и оценил В. Шкловский, писавший в газетной рецензии: "«Золотой теленок» совсем грустная книга... Люди на автомобиле совсем живые, очень несчастливые... А в литерном поезде у журналистов весело. Весело и у вузовцев... Дело не в деньгах, не в них тут несчастье, дело в невключенности в жизнь. Остап Бендер слабее даже тех непервоклассных людей, с которыми он встречается"<sup>19</sup>.

**3.5. Бендер в типологической перспективе (окончание).** В заключение этого раздела о Бендере немного расширим типологическую перспективу, включив в нее еще одну категорию литературных героев, с которой рассмотренные выше "плутовской" и "демонический" типы могут пересекаться, имея с ними один важный общий элемент — "невовлеченность". Отличительным признаком этого класса персонажей является "возмутительное" уклонение от всякого рода узкой ангажированности и конформизма, навязываемых господствующим порядком; нестижимое сохранение свободы и индивидуальности в условиях, когда мало кто может их себе позволить, когда мощные силы нуждаются к единообразию, ритуализму, принятию одной или другой стороны в разделенном мире и т.п. Существенная черта ситуации — непроницаемость и иррациональность системы, с которой герои этого типа имеют дело, в связи с чем неконформизм принимает у них специфические косвенные формы, избегающие конфронтации и выражаясь, с одной стороны, в иносказании, иронии, поддакивании, пародийном усердии и т.п., а с другой — в тенденции действовать в обход системы, не понимать правил игры, вести себя невинно и естественно, общаться со всеми, включая представителей силы, на чисто человеческом уровне. В той мере, в какой Остап Бендер взаимодействует не с индивидуумами, а с официальными инстанциями, прежде всего советскими, у него обнаруживаются явные черты родства с этим семейством персонажей.

Герои данного класса представлены в нескольких разновидностях:

а) Простодушные и искренние (напр., Кандид, князь Мышкин, Чарли Чаплин в не-

которых своих фильмах, Лазик Ройтшванец в романе И.Эренбурга, Цинциннат из "Приглашения на казнь" Набокова, булгаковские Иешуа и Мастер и т.п.);

б) Демонические, гениальные, стоящие интеллектуально выше истблишмента, способные его передразнивать и водить за нос, иногда обладающие тем или иным тайным оружием, обеспечивающим торжество над ним (Хулио Хуренито, Бендер в "высокой" ипостаси, Воланд и его спутники; сюда относится и Иван Бабичев из "Зависти" Ю.Олеши, которого автор, однако, снижает и приводит к поражению);

в) Шуты, плуты и мнимые простаки (Бендер в "низкой" ипостаси, Швейк, Симплициссимус); наконец,

г) Трагические герои, не желающие отказаться от того, что говорят им мысль и совесть, и в результате выталакиваемые из жизни (напр., герой "Тихого Дона" Григорий Мелехов<sup>20</sup>, доктор Живаго).

Конфликт с системой реализуется у этих персонажей по-разному, но некоторые совпадающие фабульные положения выдают их глубинную общность. Таков, напр., мотив, который можно назвать "Завербовыванием". Он состоит в том, что неангажированный, чуждый партиям и идеологиям, занятый лишь личными делами индивидуум попадает "в ряды" (иногда буквальные) какого-то сугубо целевого объединения, политического движения, шествия и т.п. Кандида рекрутируют в армию болгарского короля; Чаплин, сам того не зная, шагает во главе демонстрации и машет флагом ("Новые времена"); Бендер, также невольно, оказывается во главе автопробега; Швейк в инвалидной коляске едет впереди толпы, скандирующей за ним шовинистические лозунги; Григория Мелехова помимо его воли прибывает то к белым, то к красным; Юрия Живаго мобилизуют партизаны и т.п.

Близко к "Завербовыванию" стоит мотив "Обвинения". Герою инкриминируются деяния, предполагающие такую степень вовлеченности в текущие дела, какой у него нет и быть не может, как-то: ересь, шпионаж, террористический заговор, оскорбление величества и др. Примеры: Кандид и его спутники в руках инквизиции; процесс Иешуа; обвинения Мастера в "пилатчине" и других смертных грехах; Хуренито и его ученики в Чека; попытка видеть в Воланде белоэмигранта; арест Швейка за шпионаж и подрывную деятельность; недоверие красных и белых к Мелехову; Живаго, задерживаемый солдатами Антипова-Стрельникова и т.п.

Реакция героя на натиск вербовщиков и обвинителей варьируется в зависимости от его разновидности: у простодушных — забвение жестоких реальностей мира и попытки естественного поведения (Кандид отлучается из войска, чтобы полюбоваться природой; Иешуа называет своего истязателя "добрый человек"; любопытный Живаго спрашивает у часовых название реки и местности, за что едва не попадает под расстрел; Чаплин в "Великом диктаторе" фамильярничают со штурмовиками, пришедшими его арестовывать, и проч.); у демонических — философское спокойствие, ирония, парадоксы (беседы Хуренито с чекистами); у плутов и мнимых дураков — пародийно разыгрываемая преданность делу (Швейк в армии, Бендер на трибуне в сценах автопробега); у трагических героев — отращение и горечь (Мелехов, Живаго, отворачивающиеся от назойливой индокринации).

Мы хотели бы заранее отвести упреки в "притягивании за уши" литературных параллелей, имеющих к Ильфу и Петрову малоотношения. Ясно, что у героя ДС/ЗТ принадлежность к этой галерее обескураживающе-независимых, завербовываемых, преследуемых и эскапирующих персонажей выражена достаточно мягко и лишена ряда мотивов, характерных для подобных личностей. В линии Бендера отсутствуют, напр., какие-либо прямые конфронтации с носителями власти и принуждения. Знаменательно, что, в отличие от большинства героев данного класса, Остап ни разу не арестовывается и не навлекает на себя каких-либо политических подозрений. Это вполне понятно, учитывая ту осторожность и умеренность с какой Ильф и Петров вообще касаются щекотли-



вых проблем тоталитаризма и используют подрывающие его архетипы. Тем не менее, такие эпизоды, как автопробег или газовая тревога, равно как и ряд высказываний Бендера (напр., его замечания о социализме в ЗТ 2 и 36) приближают его к названной группе героев, и игнорировать эти точки типологического схождения не следует. Необходимо помнить, что применительно к литературным персонажам и ситуациям занесение в классы и категории часто имеет не абсолютный, а количественный и градуальный характер. Бендер, Швейк, Воланд, Живаго и др. — это весьма различные образы, но ни одна из соединяющих их художественных "изоглос" не должна быть упущена. Только при этом условии мы можем прийти к пониманию литературы XX в. как многоликого целого, имеющего на самом глубинном уровне единое ситуативно-философское ядро, как ансамбля, полифонически откликающегося на один и тот же комплекс фундаментальных вопросов эпохи.

#### 4. СКАЗОЧНО-МИФОЛОГИЧЕСКИЕ ЧЕРТЫ МИРА В ДС/ЗТ

4.1. Разъяснение термина. Структура мира в романах Ильфа и Петрова обладает рядом черт, которые, за отсутствием более адекватного термина, можно назвать "сказочно-мифологическими". Чтобы слова "сказка", "миф", мифологизм" и т.п., применяемые к литературе в довольно разных значениях, не вызывало у читателя ненужных для нашего исследования ассоциаций, поясним, что именно мы хотели бы обозначить с его помощью. Мы имеем в виду несколько идеализированное и собранное представление о сказочно-мифологическом мироустройстве, включая в него следующие черты:

а) Мир населяют уникальные, "больше натуральной величины" герои, соотносимые с крупными аспектами и подразделениями действительности: частями света, стихиями, родами деятельности и т.п.<sup>21</sup>.

б) Герои эти расселены по свету, причем каждый занимает в нем особую территорию, образно говоря, имеет свой собственный "остров" или "анклав". Пространство, разделенное на подобные участки, является дискретным и неоднородным: промежуток между "островами" не обладает полной определенностью (малозаселены, малоисследованы и т.п.)<sup>22</sup>. В то же время герои способны действовать в масштабе и на фоне всего наличного пространства; вся земля оказывается им по плечу. Персонажи сказки<sup>23</sup> и мифа<sup>24</sup> без труда преодолевают земные и небесные просторы. Пространство может ощущаться как весьма обширное, но в то же время оно моделируется как конечное, замкнутое и соизмерное деятельности героев<sup>25</sup>.

в) Аналогичным образом персонажи помещаются в расширенную временную перспективу, проецируются на "вечность", а иногда и сами наделяются вечной жизнью.

г) Они оказываются также помещенными в широкую философскую перспективу, соотносимыми с некоторыми центральными категориями бытия.

Эти и подобные характеристики относительно явственно выражены в ДС/ЗТ и, подобно другим параметрам этих романов, выполняют функции одновременно "позитивные", романтико-идеализирующие, и "негативные", субверсивно-иронические. Нет сомнения, что постоянное подключение глобального измерения в небольшой степени способствует специфическому для атмосферы ДС/ЗТ ощущению свободы, свежего воздуха, увлекательного движения в открытую даль. Не менее очевидно, что мировой и философский фон романов созвучен установке на участие героев в истории своей страны и своего века, столь характерной для романтико-героической струи в советской литературе тех лет. С другой же стороны, эти сказочно-мифологические черты воспринимаются как откровенно ироничные и пародийные. Ведь когда походжениям плутов придается подобный резонанс, это служит постоянным напоминанием об их низком статусе (который необходимо поддерживать, чтобы плуты могли выполнять свою субверсивную роль). Кроме того, это реализует установку соавторов на пародирование старой культу-

ры, на отмежевание от отживших свой век жанров, форм и типов речи. В частности, мировое измерение ДС/ЗТ может прочитываться как передразнивание таких черт большого романа XIX в., как историзм, универсализм, философичность...

Иронические обертоны мировых мотивов в ДС/ЗТ не только прекрасно уживаются с их романтическими коннотациями, но и необходимы для успеха последних, придавая им ту крупницу соли, без которой взрослому читателю XX в. трудно воспринимать прелесть утопии и сказки, разделять с героями радость авантюрных странствий (о чем говорит хотя бы полное падение интереса к Буссенарам и Майн Ридам, кумирам подростков начала века). Ироническая ипостась приходит на помощь романтической, дает ей право на участие в художественном эффекте<sup>26</sup>.

4.2. Персонажи. В соответствии с выдвинутой выше "мифологической" формулой, в романах Ильфа и Петрова имеется, как правило, по одному экземпляру героев, репрезентирующих в сгущенном виде каждую из известных крупных сфер и течений советской жизни. В качестве собирательного героя может выступать также город (Васюки, "представляющие" шахматную лихорадку 20-х гг.), учреждение ("Геркулес") или иного рода единица (Воронья слободка, воплощающая коммунальный быт; театр Колумба, отражающие авангардных течений в искусстве и т. п.).

Уникальность героя проявляется в его выразительности и емкости, а также в отсутствии на романном горизонте каких-либо других членов того же семейства. В Лоханкине, напр., выведен известный тип русского либерального интеллигента, и тщетно было бы искать в романе других персонажей, принадлежащих к этой категории. Кажется, что Лоханкин ее единственный представитель.

То же можно сказать о "Геркулесе". В нем одном собраны все хрестоматийные черты учреждений 20-х гг.: и бывшее гостиничное здание, и растрата, и чистка, и бюрократ со штемпелями, и кумовство, и антисоветски настроенные, мимикрирующие сотрудники, и зал с перегородкой, и липовая общественная работа, и неумелое использование иностранных специалистов, и сожительство начальника с секретаршей. Мир романа располагает всего одной клеткой для всей бюрократической стихии, и "Геркулес" эту клетку с лихвой заполняет, являясь Советским Учреждением (как бы с определенным артиклем).

Для сравнения вспомним "Растратчиков" Катаева, посвященных сходной теме, но не устроенных по сказочно-мифологическому принципу. Там речь идет об эпидемии растрат, и, хотя в центре находится одно учреждение, на заднем плане все время виднеются другие, охваченные тем же поветрием. При этом ни одно из них не обладает универсальностью "Геркулеса", все показаны с точки зрения растраты.

Есть в ЗТ и Коммунальная Квартира (тоже "с определенным артиклем") — Воронья слободка, собирающая в себе все типичные черты этой классической формы советского общежития: пестрый состав жильцов, склоки, тяжба из-за комнаты и т. п. Симптоматично, что в Слободке проживают и Лоханкин, и Севрюгов, что создает особенно высокую густоту репрезентативных элементов советского мира: Коммунальная Квартира, Интеллигент, Полярный Летчик...

Принципиальная единственность Слободки видна, между прочим, из следующего. Рассказывая о пожаре дома, авторы ни словом не упоминают о судьбе других его квартир и жильцов. Среди погорельцев фигурируют только знакомые лица из Слободки. Между тем, в доме должны были бы быть и другие квартиры — ведь он минимум двухэтажный (Пряхин взлетает в окно второго этажа), и сгоревшая квартира носила номер три. Неувязка показательна: по ряду причин: надо, чтобы горел целый дом (коммунальная квартира обычно часть дома, и к тому же "дом" — важный символ, обозначающий мир); однако малейший признак присутствия других жильцов, нарушая монопольное положение Слободки в романном мире, звучал бы в контексте поэтики ДС/ЗТ как диссонанс.

#### 4.3. Пространство.

4.3.1. Дискретность пространства. В известных пределах к роману Ильфа и Петрова применима сказочно-мифологическая модель вселенной, состоящей из дискретных кусков ("островов", "городов", "царств"), разделенных пространствами с резко пониженной социальной и географической определенностью. В своих странствиях герои движутся от одного такого участка к другому. Васюки, напр., представляют собой типичный остров на пути мореплавателей (ср. параллели с циклоповским эпизодом "Одиссеи" в ДС 34). Сходную природу имеет и городок в ЗТ 8, характеризующийся единственно тем, что в нем на горе обитает монархист Хворобьев, а внизу, в долине — художники-конъюктурщики. Можно показать, что вне подобных анклавов топография страны или города нарочито неясна: напр., не имеет смысла даже спрашивать о том, в каком районе Одессы расположен "Геркулес" (ср., напротив, точную городскую топографию "Улисса" или "Доктора Живаго"). Между дискретными, замкнутыми в себе "номерами" ярко стереотипизированной советской действительности почти не видно обычной, неструктурированной жизни. (Необходимо оговориться, что указанные тенденции гораздо сильнее выражены во втором романе, чем в первом; см., напр., зарисовки московских улиц в ДС 30, явно противоречащие последнему утверждению. О большей "сказочности" второго романа говорит и тот факт, что если в ДС города фигурируют под настоящим именем — Москва, Пятигорск, Сталинград, Ялта, Тифлис, то во втором Одесса названа Черноморском).

4.3.2. "Колонизация" мира романными персонажами. Существенно, что герои, как уникального, так и более обычного типа, не живут скученно в одном месте, но широко рассредоточены в географическом пространстве. Набор человеческих и социальных типов, выведенных Ильфом и Петровым, соотнесен с картой России, наложен на сетку ее местностей, городов, рек. Эта черта имеет, конечно, жанровое объяснение — ведь перед нами роман приключений и путешествий, — но, очевидно, она играет свою роль и в усилении сказочно-мифологического колорита ДС/ЗТ.

Симптоматична частота "случайных" встреч героев в различных точках романного пространства. Маршруты их постоянно пересекаются. Особенно показательны те нередкие случаи, когда конвергенция различных персонажей сюжетно никак не мотивирована и не использована, когда они не замечают, а то и вообще не знают друг друга, когда их сходка не играет сколько-нибудь важной роли в интриге и т.п., то есть когда существенным, по-видимому, является лишь самый факт их одновременного пребывания в данном пространственном пункте. Таковы, напр., сцены, где Воробьянинов видит проезжающий по улице ассенизационный обоз, не зная, что лошадьми правит граф Алексей Буланов из бендеровской вставной новеллы [ДС 30]; где концессионеры встречаются в разных местах страны целый ряд персонажей предыдущих глав (Безенчука, Альхена, Кислярского, журналистов московского "Станка", супругов Шукиных, Изнуренкова, отца Федора [ДС 35-39]); где при выезде из Старгорода они видят из окна поезда панораму города, и в ней, среди прочих, фигурки слесаря Полесова, преследуемого, по обыкновению, дворником, и Альхена, везущего на толкучку казенное имущество [ДС 14]; где они встречаются плывущий по Волге выпрошенный стул [ДС 35]; где в разных пунктах странствий героев появляется инженер Талмудовский, лицо эпизодическое и ни с кем из персонажей романа не знакомое [ЗТ 1, 14, 21, 23, 29]; где Бендер, въезжая в Черноморск, кричит первому встреченному пешеходу: "Привет первому черноморцу!", причем этим случайным, среднестатистическим жителем города оказывается Корейко [ЗТ 9]; где во время поездки по Средней Азии разбогатевший Бендер видит толпу журналистов, своих бывших спутников по литературному поезду [ЗТ 31].

Можно видеть в этом тенденцию к своего рода колонизации пространства романскими персонажами. Авторы перемещают их маленький контингент вдоль силовых линий большого мира, засылают уже встречавшихся читателю героев в новые узлы и артерии российской жизни и охотно используют их в качестве статистов, "людей с улицы" соответствую-

ющих мест (Корейков в роли "первого черноморца", Альхен и инженер Шукин в пятигорской курортной толпе и т. п.). Подобная стратегия призвана исподволь указывать читателю на взаимную соразмерность большого мира и круга романных персонажей (ср.: "как тесен мир!" — типичное восклицание при неоднократных случайных встречах в разных местах) и даже, как это ни парадоксально звучит, на сравнительную малонаселенность мира (раз приходится то и дело возлагать функции статистов на исполнителей основных ролей).

Поэтика этого типа восходит к сказке и мифу, а также к ориентирующим нас на миф притчам и аллегориям, где небольшая компания центральных героев служит моделью всего человечества. Мы имеем в виду такие вещи, как "Кандид" или "Хулио Хуренито" И. Эренбурга, герои которых, персонифицируя разные расы, цивилизации и школы мысли, периодически распадаются, а затем вновь собираются вместе в измененном облике, в другой среде, в новой историко-философской ситуации. Заметим, что у Бендера во втором романе есть спутники, в которых прослеживаются метафорические связи с первоэлементами мира (Паниковский — земля, Козлевич — небо, Балаганов — море). Впрочем, для Ильфа и Петрова еще более близкой параллелью является Диккенс, у которого данная черта представлена очень широко, особенно в похождениях Пиквика. На какой бы край света ни отправился диккенсовский герой, он имеет шансы встретить там знакомых людей и наблюдать продолжение ранее начатых фабульных линий. Соразмерность романного мира и географической вселенной в данном случае используется не столько в философских целях, как в романе-притче, сколько ради построения привлекательного авантюрного пространства, достаточно обширного и одновременно замкнуто-целостного, подвластного автору и доступного для героев, предоставленного в их распоряжение, целиком населенного ими и их знакомыми. Этот жизнерадостный аспект структуры мира, как мы говорили, играет в ДС/ЗТ большую роль.

4.3.3. Центральное положение героев, мировая ориентация, панорамная точка зрения. Соразмерность мира героев ДС/ЗТ большому миру имеет различные проявления в зависимости от ранга героя. У второстепенных персонажей она выражается, как было показано выше, в их способности появляться в роли статистов в самых различных местах действия (Альхен, Паша Эмильевич, Полесов, дворник в качестве фигур городской панорамы [ДС 14]). У главных героев, т. е. Бендера, его спутников и антагонистов, соразмерность с миром проявляется в их тяготении к центральным и вообще ключевым, стратегическим позициям посещаемых мест<sup>27</sup>, в тенденции двигаться вдоль магистральных линий и быть у всех на виду. "Молочные братья шли навстречу солнцу, пробираясь к центру города" [ЗТ 8]. В Старгороде Бендер присутствует при первомайской демонстрации и пуске трамвая, а затем объединяет монархическую "общественность" в тайный союз [ДС 13-14]; в Средней Азии едет в литерном поезде и участвует в открытии Турксиба [ЗТ 29]; в Арбатове является не к кому-нибудь, а к главе города [ЗТ 1]; и даже в столице ухитряется — пусть всего лишь в воображении — поместить себя в центр, имея "такой вид, будто вся Москва с ее памятниками, трамваями, моссельпромщицами, церквями, вокзалами и афишными тумбами собралась к нему на раут" [ДС 25]. Притягиваясь, как магнитом, к нервным узлам местной жизни, Остап попадает на тиражный парад, привлекающий внимание всего приволжского населения [ДС 32], и в общегородскую газовую тревогу [ЗТ 23]. Деятельность Бендера и его компании затрагивает столь важные точки местной жизни, что может сказываться на всем ее ритме, как, напр., в сцене скандала вокруг мнимослепого Паниковского, когда остановилось движение черноморского транспорта и "в городском саду перестал бить фонтан" [ЗТ 12].

Та же установка на соразмерность круга героев большому миру заставляет авторов постоянно соотносить похождения Бендера и компании не только с конкретными местами, но и с разного рода мировыми ориентирами, с пространственными точками и оппозициями, характерными для мифологического мироустройства. Наиболее типично соотношение:

а) со странами света, полосоми, материками; напр., Бендер входит в Старгород "с

северо-запада"; американские туристы прогуливаются около своего автомобиля "в самой середине европейской России"; Остап предлагает спутникам "ехать на край земли, а может быть, и еще дальше"; фуражка, слетевшая с его головы, катится "в сторону Индии"; в обоих романах в качестве эмблемы путешествий фигурируют навигационные приборы: астролэбия, компас-брелок [ДС 5; ЗТ7,23,33; ДС 5; ЗТ 25] и мн.др.;

б) со стихийными силами, первоэлементами природы, астральными телами: "В черных небесах сиял транспарант"; "Мечников, великолепно освещенный солнцем, удалился"; "земля разверзлась и поглотила... гамбсовский стул, цветочки которого ульбались взошедшему в облачной пыли солнцу"; "машина подвергалась давлению сил стихии"; "приходится действовать не только на суше, но и на море" [ДС 33,36,39; ЗТ 6,18] и мн. др.;

в) с крупными, обобщенно очерченными компонентами мирового ландшафта — такими, как "дорога", "поле", "лес", "гора", "город", "горизонт" и т.п.: "Для большей безопасности друзья забрались [для вскрытия стула] почти на самую вершину Машука [ДС 36]; "гусь, как ни в чем не бывало, пошел обратно в город"; "машина снова очутилась на белой дороге, рассекавшей большое тихое поле"; "узкая тень Балаганова уходила к горизонту"; "три дороги лежали перед антилоповцами" [ЗТ 3,6,25] и мн.др.

Не исключено, что весь этот пласт природной образности в поэтике Ильфа и Петрова, среди прочего, может рассматриваться как отдаленная реакция на "космические прельщения" и "космоцентрические" течения (такие, как антропософия или теософия), характерные для культурной атмосферы начала века.

Вписывание персонажей в мировую перспективу осуществляется также в панорамных картинах, где поле зрения расширяется и героям предоставляется в качестве театра действия вся земля или большой ее сегмент. В новой литературе, где люди, как правило, не могут ни летать по воздуху и видеть под собой целые страны и города (как это бывает, напр., в овидиевских "Метаморфозах" или в "Хромом бесе" Гевары-Лесажа), ни видеть "далеко во все концы света" (Гоголь), единственно возможной мотивировкой панорамных картин является точка зрения всевидящего автора, объемлющая одновременно и непосредственное место действия, и широкий мировой фон. Помимо с всей тематической роли в рамках сказочно-мифологического мироустройства, подобное расширение перспективы обычно выполняет в ДС/ЗТ композиционные функции вступления, концовки, антракта, перехода и т.п. Напр., странствия отца Федора начинаются и завершаются панорамами: в начале — этюдом о дальних поездах: "Полярный экспресс поднимался к Мурманску... С Курского вокзала выскакивает "Первый-К", прокладывая путь на Тифлис... Дальневосточный курьер обгибает Байкал, полным ходом приближаясь к Тихому океану... Поезд тронулся, увозя с собой отца Федора в неизвестную даль" [ДС 4]; в конце — сценой на морском берегу: "От Батума до Синопа стоял великий шум... Пароход "Ленин" подходил к Новороссийску... За Гибралтарским проливом бился о Европу Атлантический океан. Сердята вода опоясывала земной шар. А на батумском берегу стоял отец Федор и, обливаясь потом, разрубал последний стул" [ДС 27]. Другой обзор подобного типа — картина ночи с описанием того, как и где проводит эту ночь каждый из героев романа, — имеется в ЗТ 14.

4.4. **Время.** Во временном плане можно наблюдать, с соответствующими правками, ту же картину, что и в спациональном: персонажи, их действия, успехи и неудачи подсвечиваются диахронической перспективой и соотносятся на сей раз не с географическими ориентирами, а с крупными историческими вехами. Моменты жизни героев проецируются в универсальное время: "Прошу не забывать, что вы проживаете на одном отрезке времени с Остапом Бендером"; "мне не нужна вечная игла для примуса, я не собираюсь жить вечно" [ЗТ 23,35]. Как в пространстве похождения плутов тяготеют к центрам, так и во времени они синхронизируются — и в шутку, и всерьез — с магистральными процессами и сдвигами в жизни страны: "У меня с советской властью возникли за последний год серьезнейшие разногласия. Она хочет строить социализм, а я не хочу" [ЗТ 2]. Сюжет и история совпадают

ют в узловых моментах: открытие конторы "Рогаи копыта" на месте пяти прогоревших частных контор; Остап не может продать сценарий "Шея", поскольку попал в промежуток между концом немой и началом звуковой эры кино"; окончательная победа Бендера в поединке с Скорейко налагается на открытие Турксиба [ЗТ 15, 24, 29].

Есть временная аналогия и тому, что в пространственном плане мы охарактеризовали как "колонизацию" мира героями книги. Кое-где в ретроспективных обзорах авторы используют персонажей ДС/ЗТ в качестве типичных фигур, "статистов" ушедших эпох, указывая этим на их как бы уже очень давнее присутствие в мире<sup>28</sup>: "Остап танцевал... классическое провинциальное танго, которое исполнял в театрах миниатюр двадцать лет назад, когда бухгалтер Берлага носил свой первый котелок, Скумбриевич служил в канцелярии градоначальника, Польшаев держал экзамен на первый гражданский чин, а зицпредседатель Фунт был еще бодрым семидесятилетним человеком и вместе с другими пикейными жилетами сидел в кафе "Флорида" [ЗТ 20]. Благодаря размещению всех этих знакомых лиц в панораме довоенной Европы мир романа Ильфа и Петрова предстает как соразмерный большому миру и в диахронии.

4.5. Философская перспектива. Наряду со спациональной и временной, постоянно применяется также смысловая, "философская" амплификация романых элементов. Сколь угодно тривиальное явление может приобрести комичную многозначительность и закругленность в соотнесении с центральными понятиями и универсалиями бытия, из которых многие фигурируют в мифологических моделях вселенной — такими, как "жизнь/смерть/возрождение", "душа/тело", "верх/низ", "природа/цивилизация", "человек/судьба", "гений/толпа", "богатство/нищета", "грех/праведность" и т.п. Часто подобное подсвечивание (как и пространственное) играет орнаментальную и композиционную роль, выделяя важные точки сюжета.

4.5.1. Жизнь и смерть. Тематика "жизни и смерти" довольно основательно вплетена в сюжет ДС, который начинается кончиной мадам Петуховой, а кончается смертью Бендера. Эти крайние координаты человеческого бытия заданы уже в первой фразе романа: "В уездном городе N было так много парикмахерских заведений и бюро похоронных процессий, что, казалось, жители рождаются лишь затем, чтобы побриться, остричься, освежить голову вежеталем и сразу умереть". Главный герой ведает по роду службы теми же вопросами рождения, любви и смерти, а стол его походит на надгробную плиту. Здесь же появляются фигуры цирюльника и гробовщика, традиционные источники парадоксов о жизни, возрасте, смерти. Вопрос о смысле жизни возникает в конце второго романа, где Бендер обращается с ним к индийскому мудрецу.

Можно еще долго перечислять места ДС/ЗТ, где эта вечная тема, равно как и другие экзистенциальные понятия, служат для иронического возвышения тривиального. Вмешательство землетрясения в дела героев комментируются в духе оппозиции "природа/цивилизация". "...пощаженный первым толчком землетрясения и развороченный людьми гамбовский стул" [ДС 39]. Мотив "судьбы" в сопровождении поэтических фигур вводится в критические для героев моменты: "Над городом явственно послышался канюльный скрип колеса Фортуны"; "судьба играет человеком, а человек играет на трубе" [ЗТ 20, 23]. Линия Козлевица прочно связана с Богом, греховностью и святостью; линия Лоханкина — с "великой сермяжной правдой", духовной драмой и преображением, и т.п.

4.5.2. Сюжет как эмблема. Связь действия ДС/ЗТ с общими мировыми категориями имплицитно присутствует и в сюжете с его подчас обнаженной схематичностью, подчеркнутыми преувеличениями и заострениями, с невероятными совпадениями и согласованиями, заставляющими воспринимать действие романа как идеограмму с философским подтекстом, как род притчи или эмблемы с пародийными коннотациями. Все слишком хорошо скоординировано, слишком явно приведено в симметрию и подогнано

одно к другому, и уже одно это наводит на мысль о какой-то высшей целесообразности и взаимосвязи, о едином промысле, которому соподчинены маленькие герои и большой мир. Высокая степень событийной согласованности усиливает по ощущению единства и тесноты мира, его соразмерности кругу героев, которое создается пространственными средствами. Бросается в глаза, напр., синхронизация событий, происходящих в разных линиях: "В тот день, когда Адам Казимирович собирался впервые вывезти свое детище в свет..., в Москву прибыли сто двадцать маленьких, похожих на браунинги, таксомоторов «рено» [ЗТ 3]. В одной из кульминационных точек неудача постигает героев на всех фронтах: Корейко бежит, квартира сгорает, контора арестована, деньги в банке кончились, затея Паниковского с гириями, параллельная основному поиску, кончается конфузом — и все одновременно. В разработке сюжета авторы тяготеют к парадоксу — по этому принципу построены, напр., такие эпизоды, как Козлевич и растратчики, Козлевич и ксендзы, история зицпредседателя Фунта, Балаганов и пятьдесят тысяч и т.п. Но парадокс есть известная форма популярного философствования, присутствие которой также сообщает повествованию квази-глубокомысленную мину.

4.5.3. Символика. Большую роль в амплификации смысла играет всевозможная символика, переполняющая оба романа. Густая встречаемость традиционно символических объектов придает действию сходство с театром, то с притчей или мифом.

В центре фабулы стоит мотив "странствия" и "дороги", уже упоминавшийся выше с простором и мировым ландшафтом, радостью жизни, авантюристкой и т.п. Но одновременно является одним из центральных мифологических мотивов<sup>29</sup>, а также хрестоматийным символом судьбы и жизненного пути, и эти мифо-метафорические значения иногда выступают в незамаскированном виде, как, напр., в сцене на перекрестке трех дорог, ведущих в индустриальную, колхозную и энповскую Россию, где Бендери его спутники останавливаются наподобие былинных богатырей [ЗТ 25]. Образ дороги занимает особенно видное место во втором романе: все действие ЗТ протекает под знаком пути, постепенным повышением ранга средств передвижения. Роман открывается апхвалой пешему ходу, затем герои сами путешествуют на автомобиле и наблюдают автопробег, а последняя часть представляет собой апофеоз железной дороги: Бендер едет на великолепном литерном поезде, направляясь на открытие Турксиба, символизирующего путь в новую жизнь. Мотив странствия и дороги подчеркивается обслуживающими его символами второго порядка (астрология в ДС, компас в ЗТ, корабельные метафоры в описаниях "Антилопы" и т.п.).

В описаниях передвижений героев выделяются как особо знаменательные мотивы "входа" и "выхода", а также "границы", "вокзала", "двери", "порога", "крыльца", "ворот" и т.п., весьма типичные для мифологических сюжетов со странствиями<sup>30</sup>. Примеры можно найти едва ли не на каждой странице ДС/ЗТ, напр., момент въезда антилоповцев в Черноморск, церемония приветствий и прощаний при переходах границы, встречи Бендера с Безенчуком и Балагановым на вокзалах, двери в доме собеса, эссе о склонности московских бюрократов запирают двери, сцена перед дверьми костела и мн.др. [ДС 8,28,30; ЗТ 9,17,33,36].

Среди других символов широко используется архетипическая оппозиция "верха/низа", оформляющая разного рода моменты в судьбе и отношениях героев. В сцене диспута между Бендером и ксендзами из-за Козлевича шофер "Антилопы" стоит на высокой паперти костела, а затем спускается вниз и падает в объятия друзей [ЗТ 17]. Разоблачение и провал сопровождаются спуском с возвышения на землю: Бендер прыгает с трибуны в сцене автопробега, Корейко на Турксибе сходит с трибуны вниз к Бендеру [ЗТ 7,29]. Полное поражение может символизироваться позой "простертости", в которой Остап оказывается дважды: после бегства Корейко (на носилках, во время газовой тревоги; там же спуск под землю в газоубежище) и после схватки с румынскими пограничниками [ЗТ 23,36]. Наоборот, улучшение знаменуется подъемом: в Тифлисе, вырвав деньги у Кислярского, герои поднимаются по канатной дороге на гору Давида, "к

звездам" [ДС 39]. Движение вверх и вниз часто оформляется с участием не менее древнего образа "лестницы", выходящего сочетаясь символические функции (традиционной метафора для эволюций духовного и социального планов) с композиционными (мотивировка градаций, напр., при чем-то постепенном появлении). На лестнице разворачиваются сцена с толым инженером и конфликт Остапа с Изнуренковым из-за уносимого стула; по лестнице сбегает к Волге Остап, спасаясь от шахматистов [ДС 25,26,34]. По лестнице пролегал трудный путь ответственного работника к своему кабинету; деятельность кинофабрики представлена как сплошной бег по лестницам [ЗТ 18,24].

Поэтический мир, в столь большой степени полагающийся на символы, не может обойтись без мотива "огня", и последний действительно фигурирует на самом видном месте ЗТ, в сцене пожара коммунальной квартиры, входящего в комплексную катастрофу — крах всего первого тура погони Бендера за миллионером<sup>31</sup>. Образ огня возникает также во время автопробега ("огненный стол" разведенного Паниковским костра), в рассуждениях геркулесовского швейцара о кремации [ЗТ 4] и в других местах. (Подробный анализ огня и смежных мотивов см. в работе М. Каганской и З. Бар-Селлы, интерпретирующей целый ряд эпизодов образов ДС/ЗТ в типологическом и демонологическом ключе).

Мизансцена у Ильфа и Петрова тяготеет к обнаженному геометризму, что также способно нести символично-философские коннотации. Заметно, напр., пристрастие авторов к фигуре "круга", особо отмеченной в мифологических текстах<sup>32</sup>. "Остап описал вокруг потерпевших крушение круг"; "пассажиры уселись в кружок у самой дороги"; старик... побегал по тропинке вокруг дома..., завершил свой круг и снова появился у крыльца" [ДС 34, ЗТ 6,8].

Наконец, в обоих романах довольно велика роль "числа", числовой символики, в особенности всякого рода круглых, ровных, магических и знаменательных цифр, иногда даваемых в открытой связи с тем или иным фольклорно-мифологическим мотивом: первый черноморец, семь братьев-богатырей в "Геркулесе", первый верблюд, первая юрта, первый казах [ЗТ 9,11,27], три дня плавания, трое детей лейтенанта Шмидта, три дорожки, три богатыря [ДС 33, ЗТ 1,25]. Герои ищут двенадцать стульев; Воронья слободка загорается в двенадцать часов ночи, подожженная с шести концов; Бендер входит в квартиру Корейков полностью [ЗТ 21-22]. Знаменательны самые годы действия обоих романов (1927 — десятилетие революции, 1930 — "год великого перелома", коллективизация, XVI партсъезд).

В центре числовой эмблематики ДС/ЗТ находится бендеровский "один миллион рублей", сила которого именно в его единственности (сведение к единичному объекту типично для символических изображений). Один миллион — хрестоматийное воплощение богатства, цифра, удобная для демонстраций, экспериментов, максим. Неудивительно, что эта классическая сумма всячески оберегается от раздробления, от "размена". Характерно уже то, что Бендер оценивает досье Корейко ровно в один миллион: ведь он мог бы спросить с подпольного коммерсанта и больше. Отдавая деньги, Корейко хочет вычесть десять тысяч в счет ограбления на морском берегу, но перфекционист и эстет Бендер не принимает идеи некруглого миллиона [ЗТ 30]. И позже, несмотря на траты, миллион практически остается неразменным: Бендер сохраняет его в целости до конца романа. "Остап каждый день считал свой миллион, и все был миллион без какой-то мелочи... Если не считать пятидесяти тысяч Балаганова, которые не принесли ему счастья, миллион был на месте". Вскоре после этого он демонстрирует свое богатство студентам в вагоне — по-прежнему в качестве "одного миллиона", и на шутку "мало" отвечает, что один миллион его устраивает [ЗТ 32-34]. Терминология эта остается в силе и после превращения денег в драгоценности: "Остап боролся за свой миллион, как гладиатор" [ЗТ 36]. Проводя в последней части романа идею бесполезности денег, соавторы придают им наглядную и провербальную форму (аналогичную функцию выполняет банкнота в миллион фунтов в известном рассказе М. Твена. Визуальная вещественность и цельность миллиона подчеркивается наличием контейнера — мешка, чемодана, — в котором Бен-



дер его носит (в старых комедиях о скупых сходную роль играет горшок или шкатулка). Размен миллиона в последней главе романа на множество разнокалиберных вещей есть уже скрытый шаг к его утрате.

\*\*\*

Сказочно-мифологическая — в описанном здесь смысле — структура мира помогла романам Ильфа и Петрова стать емкой историко-культурной парадигмой, занимающей одно из видных мест в литературной "иконографии" советской действительности. Это не означает, что классический характер романов, о котором мы сказали в начале статьи, связан исключительно или преимущественно с космизмом, символикой, философской амплификацией смысла и т.п. Сказочно-мифологическое измерение ДС/ЗТ достигает своего эффекта в сочетании с целым рядом других элементов художественного "мирообразования", выявить которые предстоит будущим исследованиям об Ильфе и Петрове, если мы хотим, чтобы их творчество заняло свое законное место в научном обиходе славыстики и сравнительного литературоведения.

### ПРИМЕЧАНИЯ

1. Пастернак, Переписка с Ольгой Фрейденберг, стр.131.

2. Курдюмов, В краю непуганых идиотов, стр.152.

3. В литературе 20-х гг. подобное предоставление голоса критикам революции и коммунизма не было редкостью: ср. Бабеля ("Гедали"), Олешу (Кавалеров в "Зависти"), Шолохова (ряд героев "Тихого Дона") и др. Особенностью Ильфа и Петрова является, однако, то, что в перспективе комического персонажа, обижаемого системой, эта последняя тоже предстает в смешном виде. Персонаж, безусловно, дискредитируется, но смех, в отличие от рациональных аргументов, "неопровержим" и всегда достигает своей мишени.

4. Ситуация, когда человек получает достоинства и права в силу одной лишь принадлежности к "клану", достаточно распространена. Достоевский, называя Толстого историографом и психологом русского дворянства, замечает: "В основах этого высшего слоя русских людей уже лежит что-то незыблемое и неоспоримое. Тут всякий индивидуум может иметь свои слабости и быть очень смешным, но он крепок целым, нажитым в два столетия, а корнями раньше того, и несмотря на реализм, на действительность, на смешное и комическое, тут возможно и трогательное и патетическое..." (из рукописных редакций романа "Подросток", Полн. собр. соч. в 30-ти томах, т.17, М./Наука, 1976, стр.142-143).

5. О том, как стиль Ильфа и Петрова применялся и перерождался в позднейшей юмористике, см.: М. Чудакова, А. Чудаков, Современная повесть и юмор, "Новый мир", 1967, №7, стр.226-228.

6. Тыркова-Вильямс, На путях к свободе, стр.288-289.

7. Из рецензии на роман П.Ярвого "Жизнь цветет", "Молодая гвардия", 1930, №15-16.

8. Ср. четкую формулировку Каганской и Бар-Селлы: "Творческая программа Ильфа с Петровым: сотворение нового мира из материалов старого" (Мастер Гамбс и Маргарита, стр.124).

9. Books and films in Russia. In: D.S. Mirsky, Uncollected Writing on Russian Literature, ed. by G.S. Smith, Berkeley, 1989, p.318.

10. См. Ю. Щеглов, О художественном языке Чехова, "Новый журнал", 1988, №172-173, стр.318-322.

11. Zehrer, "Dvenadcat' stul'ev" und "Zolotoj telenok" ..., S.240-241. Немецкая исследовательница отмечает в Бендере черты романтического героя, указывает на его параллели с Онегиным (в фабуле — неудачный роман с Зосей, во внутренней жизни — пресыщение, неудовлетворенность) и с Печориным (радость борьбы, скитальчество). Она, однако, не упоминает о демоническом титанизме и превосходстве над окружающими. О том, что Бендеру в ЗТ присуще некое "мрачное величие", говорит Курдюмов, цитируя то же место об атлете с медальным лицом, что и мы (В краю непуганых идиотов, стр.139).

12. Сравнения Бендера с Хулио Хуренито и с Воландом см. уже у Курдюмова (В краю непуганых идиотов, стр.112 и 139).

13. О том, что "главное в образе Остапа — не его противоправные действия, а его включенность из окружающего мира, способность взглянуть на этот мир со стороны", пишет Курдюмов (В краю непуганых идиотов, стр.112). Что жулики и прежде всего Бендер фигурируют в романе не как носители пресловутых "собственнических инстинктов", а как персонажи, наделенные признаками "низа" и "невовлеченности", мы констатировали в статье 1976 г. (см. Щеглов, Семиотический анализ одного типа юмора, стр.169,171-172); эта работа упоминается Курдюмовым (стр.27).

14. Обманщик появляется в момент, когда жертва испытывает нехватку — чего-то, находится в затруднительном положении и т.п. — так всегда бываету Мольера (см. Shcheglov, The Poems of Molière's Comedies, p.14).

15. Интервью 1966 г.; см. Vladimir Nabokov, Strong Opinions. N.Y./Mc-Graw-Hill, 1981, p.87.

16. См. об этом в нашей статье "О «горячих точках» литературного сюжета" в кн. Жолковский, Щеглов, Мир автора и структура текста, стр. 127-128.

17. О центральной роли операции по приукрашиванию тривиального и переводу его в высокий план в бендеровских островах см. Щеглов, Семиотический анализ одного типа юмора.

18. О роли языка в поддержании репрессивных систем, хорошо освещенной в современной семиотике и социологии (напр., в работах Ханны Арендт, М. Фуко и др.), выразительно говорит А. Снявский в недавнем очерке о советской перестройке. Он, однако, связывает ее со специфически русскими чертами мышления: "Кажется, что самые основы советской системы готовы пошатнуться из-за одного лишь изменения в тоне и языке сегодняшней литературы. Это, конечно, иллюзия. Но любопытно отметить мимоходом, до какой степени вся железная структура советского государства опирается на язык, на затертые бюрократические фразы. Дунь на них, и все развалится! В который раз мы наблюдаем магическое отношение к слову, свойственное русским, русской литературе и советскому обществу" (Andrei Sinyavsky, Would I move back? "Time", April 10, 1989; обратный перевод с английского).

19. В. Шкловский, "Золотой теленок" и старый плутовской роман, "Литературная газета" 30 апреля 1934.

20. Сопоставление Остапа Бендера с Григорием Мелеховым, со множеством оговорок и извинений за "странность и парадоксальность", делает А. Старков ("Двенадцать стульев" и "Золотой теленок"..., стр. 48-49).

21. Для мифологии, как известно, характерны такие обобщения и персонализации, при которых "напр., ремесло, взятое в целом, со всеми характерными его признаками..., мыслилось в виде некоего живого и разумного существа, управляющего всеми... видами ремесла" (А. Ф. Лосев, Мифология, БСЭ, 3-е изд., т. 16, 1974, стр. 340).

22. Пространство в мифах "существует только как его конкретные куски. Другими словами, оно прерывно. Именно поэтому невозможно составить карту мира эддических мифов" (М. И. Стеблин-Каменский, Миф, Л./Наука, 1976, стр. 35). Мифическое пространство "качественно разнородно..., всегда заполнено и всегда вещно; вне вещей оно не существует" (В. Н. Топоров, Пространство, в кн. Мифы народов мира, т. 2, стр. 340).

23. В сказочном мире, говорит Д. С. Лихачев, "сопротивление среды почти отсутствует... Любые расстояния не мешают развиваться сказке. Они только вносят в нее масштабность, значительность, своеобразную пафосность... Действие сказки — это путешествие героя по огромному миру" (Художественное пространство сказки, в кн.: Д. С. Лихачев, Поэтика древнерусской литературы, Л./ИХЛ, 1971, стр. 386-387).

24. По словам М. И. Стеблина-Каменского, "мир эддических мифов легко можно облететь, объехать и даже обойти пешком" (Миф, стр. 38). Движение героев мифа к центру мира и обратно "подтверждает... доступность каждому узнать пространство, освоить его, достигнуть его сокровенных ценностей" (Топоров, Пространство, стр. 341).

25. Пространство в мифах "представлялось конечным; мир эддических мифов был мал и тесен. Он весь легко обозреваем" (Стеблин-Каменский, Миф, стр. 38). В повествовательном фольклоре "пространственно-временная статика проявляется прежде всего в замкнутости, закрытости изображаемого мира" (С. Ю. Неклюдов, Статич. и динамич. начала в пространственно-временной организации повествоват. фольклора, в кн. Типологические исследования по фольклору, М./Наука, 1975, стр. 183).

26. Ср. аналогичное замечание Е. М. Мелетинского об "Улиссе" Джойса, в котором

"пародийный план не исчерпывает отношения к гомеровской «Одиссее» и "более того, ирония — необходимая «цена» за обращение к эпосу и мифу" (Е.М.Мелетинский, *Поэтика мифа*, М./Наука, 1976, стр.309).

27. Тяготение действия к центру типично для мифа. М.И.Стеблин-Каменский объясняет это свойственной мифу внутренней точкой зрения на пространство, которая "проявляется... в том, что когда (в эддических мифах) говорится о местонахождении чего-либо, то это местонахождение всегда оказывается либо серединой мира, либо его окраиной..." Помимо этого, центр наделен этической оценкой: "Середина мира — обиталище всего благого. Поэтому... в мифическом пространстве обиталище людей, обиталище богов и священное древо не могут находиться нигде, кроме середины мира" (Миф, стр.39-40). Путешествия героев в мифе и сказке — это в первую очередь передвижения от периферии к центру и обратно (Топоров, *Пространство*, стр.341).

28. Давность присутствия героев (в особенности властителей) в мире характерна для сюжетов с элементами сказочно-мифологического строя. Черты последнего есть, напр., в "Анне на шее" Чехова; среди прочего, там есть указание на то, что таинственный "его сиятельство" властвует над городом уже очень давно (см. Ю.Шеглов, *Из этюдов об искусстве рассказывания: Чехов, "Анна на шее", Россия Russia n.5, Venezia/Marsilio Editori, 1987, стр.125*). То же мы наблюдаем в "Драконе" Е.Шварца.

29. Важность символики пути в ДС/ЗТ отмечают У.-М.Церер (Zehrer, "Dvenadcat' stul'ev" und "Zolotoj telenok" s.222) и Б.Брикер (Природа комического в романе хИ.Ильфа и Е.Петрова). Дорога, странствие — один из центральных мотивов мифа; см. Топоров, *Пространство*, стр.341.

30. Ворота, дверь, мост, лестница, окно, граница — обычные атрибуты символических мотивов "пути" и "дома" в сказочно-мифологическом мире; см. Топоров, *Пространство*, стр.341; Т.В.Цивьян, *К семантике пространственных элементов в волшебн. сказке*, в кн.: *Типологические исследования по фольклору*, М./Наука, 1975, стр.203-207.

31. См. статью, упомянутую в примечании 16, стр.126, 132.

32. Фигура круга и обход территории по периметру (что делает Хворобьев) — нередкие мотивы мифа; см. Топоров, *Пространство*, стр.340, 341. Архетипическим образом круга и колеса уделяется много внимания в работах С.М.Эйзенштейна (см. Вяч. Вс. Иванов, *Очерки по истории семиотики в СССР*, М./Наука, 1976, стр.95).

## ЛИТЕРАТУРА, ЦИТИРУЕМАЯ В ПРИМЕЧАНИЯХ

Брикер Б. Природа комического в романах И.Ильфа и Е.Петрова / Докторская диссертация. Edmonton, University of Alberta, 1986.

Жолковский А.К., Шеглов Ю.К. Мир автора и структура текста. Статьи русской литературы. / Tenafly N.J., Эрмитаж, 1986.

Каганская М., Бар-Селла З. Мастер Гамбси Маргарита. / Тель-Авив, 1984.

Курдюмов А.А. В краю непуганых идиотов. Книга об Илфе и Петрове. / Париж, La presselibre, 1983.

Пастернак Б.Л. Переписка с Ольгой Фрейденберг. / New York, НВJ, 1981.

Старков А. "Двенадцать стульев" и "Золотой теленок" Ильфа и Петрова. / М., ИХЛ, 1969.

Тыркова-Вильямс А.В. На путях к свободе. / Нью-Йорк, изд. им. Чехова, 1952.

Шеглов Ю.К. Семиотический анализ одного типа юмора. / "Семиотика и информатика", вып. 6. М., ВИНТИ, 1976.

Shcheglov, Yuri K. The Poetics of Moliere's Comedies. / "Russian Poetics in Translation", vol. 6, University of Essex and Holan Books, 1979.

Zehrer U.-V. "Dvenadcat' stul'ev" und "Zolotoj telenok" von I.Ilf und E.Petrov. Entstehung, Struktur, Thematik. / Giessen, W.Schmitz Vlg., 1975.

# ...И ТЕНИ ТЕХ, КОГО УЖ НЕТ

## ЗАМЕТКИ О ПРОЖИТОЙ ЖИЗНИ

В Петербурге я получил назначение в Вильну в распоряжение Главноуполномоченного Северо-Западного района. Наскоро обмундировавшись и провожаемый Лили и ее родителями на Варшавский вокзал, я уехал на войну.

Из Вильны я был направлен в Вержболово помощником Маркозову<sup>1</sup>, главному Петербургской гор. думы.

Первое впечатление в Вержболове было удручающе. От самой станции до Эйдкунена вдоль всей дороги тянулась бесконечная вереница крестьянских подвод, груженных двумя и тремя ранеными, а принимал их один военный врач с фельдшерами, причем их работа состояла в откладывании безнадежных в одну сторону, а остальных относили в прибывшие с эшелонам кавалерии простые товарные вагоны, едва выметенные после только что стоявших в них лошадей.

Лишь два дня спустя прибыл из Ковны лазарет Кр.Креста и стали приходить санитарные поезда с военными врачами.

В это время наша первая армия под начальством ген. Ренненкампа, пройдя станции Сталупёнен, переименованную в "Столыпино", и Гумбиннен, продвигалась по направлению к Инстербургу.

Маркозов оказался весьма энергичным уполномоченным. Он ездил по всей занятой территории Восточной Пруссии, распределяя лазареты и питательные пункты, но так увлекся работой, что, встретив германский разъезд, угодил в плен, где и просидел до конца войны<sup>2</sup>. Мне в помощь был тогда прислан Буртурлин<sup>3</sup>, но т.к. никто не объяснил нам наших функций и отношений, никто не знал, кто был чей начальник или помощник, а делать обоим было очень мало, мне это надоело, и я отправился в Варшаву, просить перевода на Западный фронт, но только здесь я понял, что значит тыл действующей армии. Хотя в свое время я и побывал в Харбине и навидался там зрелищ в гостинице "Ориент", но в большой гостинице, где я остановился в Варшаве, был совершенно другой номер. Иностранные корреспонденты, военные всяких видов и национальностей, дамы всяких сословий и занятий, не исключая и сестер, которым здесь делать было нечего, меня привели в состояние полного уныния, и я, ничего не добившись, вернулся обратно в Вержболово.

Ида раз по шпалам в Эйдкунен, я вдруг услышал глухой гул тяжелой артиллерийской стрельбы, но не на запад от нас, где пробивалась наша I армия, а на юге. Трудно было понять, что бы это значило, но вечером я получил предписание проводить Курляндский пол[ковой] лазарет в гор. Алленштейн вблизи Мазурских озер. Для этой цели на ст. Эйдкунен был собран короткий поезд из германских вагонов с таким же паровозом, но с русской прислугой, и в светлую лунную ночь мы пустились в путь по пустой обезлюдевшей равнине Восточной Пруссии. Помню, как мы приехали на какую-то станцию, которой заведовал один-единственный прапорщик, который спросил, куда назначен идти наш поезд. Он, очевидно, понятия не имел об окружающей его железнодорожной сети, потому что переставил стрелку, направляя наш поезд на запад. Только после продолжительных объяснений он переставил стрелку на другой путь

---

Окончание Начало см. "Даугава", №5-6. -

ближе к русской границе на юге. Стало светать, и мы остановились на какой-то станции перед большим мостом. Нас встретил комендант станции и спросил, куда мы едем. Узнав наше назначение, он сказал, что дальше нас пустить не может, т.к. с минуты на минуту ожидает приказа взорвать мост. Так мы до Алленштейна никогда и не доехали, и я, только вернувшись в Вержболово, узнал о страшной участи, постигшей всю армию Самсонова под Танненбергом. Почему Ренненкампф, находившийся не так далеко от левого фланга Гинденбурга, не двинул своей армии на юг на помощь Самсонову, а предпочел отступить самому за Ковно, останется неразрешенной задачей той войны. Вернувшись в Вержболово, я увидел, что все обозы двигались на восток, шли ускоренным маршем толпы пехоты, прогремела артиллерия, проскакали казаки и [проехало] много автомобилей со штабами, и настала жуткая тишина. В эту ночь происходила тяжелая работа на станции Эйдкунен, куда срочно были свезены все раненые и больные из занятой Восточной Пруссии, и из-за недостатка перевязочных средств было решено безнадежных оставить, а остальных во что бы то ни стало вывезти. Нервы у всех были напряжены до крайности. Помню, как кто-то, проходя, сунул мне папироску, и она была единственной, которую я с жадностью выкурил за свою жизнь. Под утро уже шрапнели стали рваться высоко в небе, но и работа была окончена, и мы, собрав свое имущество, отступили на ст. Волковышки сперва, а потом и дальше в Ковно.

В октябре я отправился в Вильно, куда приехала на свое рождение Лили, и мы провели несколько очень приятных дней вместе. Там же встретили мы, обедавая в Георгиевской гостинице, много общих знакомых.

За это время I армия была переведена на Западный фронт и заменена XIII армией Епанчина<sup>4</sup>, которая снова стала продвигаться в Восточную Пруссию. Это положение продолжалось до середины февраля, когда внезапным наступлением Гинденбург прорвал наш фронт, который был тогда под самым Инстербургом. Событие это совершилось до того внезапно, что, несмотря на все наши просьбы выслать нам подвижной состав для эвакуации наших лазаретов из Вержболова, Ковно не смогло прислать ни единого поезда, а жандармский полковник с некоторыми другими лицами, сев на паровоз, спаслись в Ковно. Только французский лазарет, благодаря своему конному обозу, сумел вовремя уехать, между тем наш старший врач д-р Крессон<sup>5</sup> и пять сестер-монахинь остались добровольно в Вержболове для ухода за большим количеством собравшихся здесь раненых. После тщетного ожидания целый день присылки поездов для эвакуации станции мы вечером получили телефонное сообщение со ст. Волковышки, что неприятель подходит к станции и она снимается. Мы оказались отрезанными. Проработав всю предыдущую ночь не смыкая глаз и весь следующий день в ожидании нашей эвакуации, я вечером завалился на свою койку как убитый и не слышал, как ночью немцы, поставив свою батарею недалеко от нас, обстреливали деревню Кибарты. Выглянув утром из окна нашего вагона, я увидел, что по станции ходят германские солдаты, и мы оказались в плену.

Выйдя на платформу и разыскав коменданта станции, я узнал, что пока нам надо оставаться на месте, не выходя за пределы станции. К нам стали заходить немецкие офицеры, прося дать им выпить русского чаю, а вечером меня позвали в штаб прибывшего генерала. Он меня спросил о лазаретах и их личном составе и потребовал выдать им постельное белье. Нам же он сказал сидеть спокойно на месте, дожидаясь отправления на родину, как членов Кр.Креста,<sup>6</sup> и по всем вопросам обращаться к коменданту станции. В то же время санитары все были отправлены в солдатский лагерь, а имущество лазаретов увезено в Германию. Так мы прожили в Вержболове 6 недель. Оказалось, что к этому времени набралось на станции несколько сот раненых и много врачей и сестер, и потому в доме таможенного ведомства наскоро был развернут лазарет, куда перевели всех раненых. В то время как многие врачи отказывались работать в плену, д-р Крессон всеми силами взялся за организацию лазарета, и за неимением санитаров я вместе с одной сестрой взялся смотреть за одной палатой в 14 коек.

В смысле работы эти 6 недель в плену дали мне лично наибольшее удовлет-

ворение за все время войны. Меряя и записывая температуру, помогая сестре при перевязке и операциях, при раздаче пищи и уборке палаты, я лично познакомился с каждым пациентом, и у нас установились личные сношения, которых как уполномоченный я никогда не имел возможности иметь.

Когда шесть недель спустя нас отправили в офицерский лагерь на остров Денгольм у Штральзунда, мы, прощаясь, пролили горькие слезы, поручая друг друга господу Богу на неизвестную нас ожидающую судьбу.

Одна тяжелая сторона моей обязанности в Вержболове была та, что я оказался посредником между немецким комендантом и русским персоналом. Комендант жаловался, что я неточно перевожу его приказания, защищая интересы пленных, а русские меня обвиняли в недостаточной защите их интересов, и наконец сестры, отпущенные раньше меня из плена, вернувшись домой, рассказали Лили, что я весел и провел с ними очень приятно время в плену, между тем как дома распространился слух о немецких зверствах, будто нас всех до последнего перерезали в Вержболове, и она только полтора месяца спустя, по сведениям контрразведки, узнала, что мы живы в офицерском лагере.

Раз вечером, вскоре после взятия нас в плен, комендант велел Бутурлину, мне и сестрам Чичериной и Корф<sup>6</sup> (добровольно, вопреки желанию старшей сестры питательного пункта, оставшейся в Вержболове) быть готовыми ехать в Инстербург. Нас посадили в вагоны и под конвоем отвезли туда и поместили в гостинице, из окон которой видна была главная квартира Гинденбурга с часовым перед дверью. Пришел офицер контрразведки, допросивший нас для установления наших личностей, и, к моему большому удивлению, я узнал в нем инженера Арбо, проводившего в свое время дренаж полей у моего брата в Мезотене, Курляндской губернии, где, вероятно, под видом инженера-техника, [он] одновременно занимался шпионажем.

Я подал прошение о возвращении нас на родину на основании конвенции Кр.Креста, но, продержав нас сутки в Инстербурге, нас вернули обратно в Вержболово, что относительно прочих пленных было, конечно, и справедливо. Офицерский лагерь, куда нас потом отправили, под конвоем, в вагоне с завешанными окнами, находился на острове Денгольм, между Штральзундом и о.Рюген. Нас поместили в каменных казармах какого-то полка, ушедшего на фронт. Всякий пленный, поступавший в лагерь, подвергался всестороннему допросу, записывались все его наличные деньги, документы, затем надо было принять ванну и подвергнуться трем различным прививкам, которых я каким-то образом избежал.

При лагере был довольно обширный парк, хорошая кантина с приличной кухней и каждому выдавалось 2,15 марки в день и по черному хлебу два раза в неделю. Комендант майор фон Буссе был очень любезный господин, и Лили, оставив детей с бабушкой в Тульской губ. у моей тети Веры Гагариной, поселилась в Стокгольме, где в то время нашим послом был Неклюдов<sup>7</sup>. Сестра его заведовала комитетом [попечения] о русских военнопленных, и Лили стала ей усердно помогать. Она же вступила в переписку с моим комендантом, что для меня было большим утешением.

В то время как солдатские лагеря пленных содержались, говорят, очень плохо, нам в офицерском лагере жилось хорошо. У каждого из нас была железная койка с бельем и одеялом, табурет и шкапчик, комнаты были просторны и светлы, утром около 8 часов [часов] была переключка перед домом, а вечером около 9 часов запирались двери дома, которых было около 7. Половина пленных были русские, а остальные — французы и англичане. В нашей палате было десять человек, и, к счастью, почти все милые люди. Помню лицеиста Арнольди<sup>8</sup>, писателя Соколова<sup>9</sup>, Тухачевского (потом казненного большевиками), одного монаха. Мы играли в городки, много пели, учились языкам, а когда просили коменданта отпустить в город за покупками, то это разрешалось в сопровождении солдата без оружия с запрещением заходить в аптеку, покупать резиновые изделия и шоколад, а в Страстную Пятницу всех желавших причащаться лютеран отпускали в сопровождении сержанта в Штральзунд, где в старин-

ной церкви пленные, на равных с местными жителями, объединялись в молитве общему Богу.

Кажется в августе, комендант меня велел позвать в канцелярию и объявил мне, что он со мною идет в Штральзунд. Придя в гостиницу, он меня ввел в одну комнату и ушел. Вернувшись через некоторое время, он мне объявил, что со мною сейчас будет разговаривать принц Макс Баденский и что мне надо его именовать королевским Высочеством.

Войдя в комнату, я увидел очень представительного военного, скорее русского типа и ласкового обращения. Он мне сказал, что если я согласен принять от него письмо и передать его императрице Марии Федоровне, я буду безусловно отпущен домой. На это я ему ответил, что это зависит от содержания письма, на что он сказал, что он хотел бы добиться согласия императрицы как председательницы Рус. Кр.Кр. на посылку в Стокгольм представителя Кр.Кр. на конференцию с германским представителем на предмет обмена тяжелораненых обеих враждующих наций, и дал мне прочесть его письмо, в котором я не усмотрел ничего противоречащего моим понятиям о чести. Обменявшись еще несколькими фразами, он передал мне письмо в конверте и отпустил меня обратно в лагерь.

На следующий день меня из Берлина вызвали к телефону, и чей-то голос мне объявил, что я свободен ехать домой, но просят похлопотать о лучшей регистрации военнопленных и о переводе названного мне немецкого офицера из одиночного заключения в Киев в один из офицерских лагерей.

На следующий день комендант проводил меня на пароход в Засниц на острове Рюген и, прощаясь, передал мне фотографический аппарат, отнятый у меня в Вержболове, и несколько десятков писем от пленных для передачи родным.

Расстояние до Мальмё пароходом и поездом до Стокгольма я проехал не евши, как во сне, и только при встрече с Лили я убедился, что действительно свободен.

В Стокгольме мы задержались еще несколько дней, т.к. королева хотела узнать от меня, как мне жилось в плену. В назначенный день мы с Лили отправились во дворец, где сразу были приняты королевой, которая сама была Баденской принцессой. Она, дав мне свою руку для поцелуя, долго не выпускала моей, расспрашивая с интересом в подробностях об условиях жизни в плену. Она, кажется, была обрадована слышать, что со мной обошлись там хорошо, и тетрадка с видами острова Денгольм, которую я ей оставил, кажется, ей понравилась. Т.к. она принимала участие, благодаря стараниям Лили, в моем освобождении, я был рад случаю выразить ей мою благодарность. После аудиенции мы сразу отправились в путь домой, но пришлось объехать кругом всего Ботнического залива, через Гапаранду, т.к. все морские пути были минированы.

Когда после таможенного осмотра мы в Гапаранде с Лили сидели в буфете, ожидая отхода поезда, к нам подошел жандарм и попросил нас зайти к коменданту. Войдя в его канцелярию, не зная, что нас ожидает, мы сразу успокоились. Он подошел к Лили, поздравил ее как первую русскую женщину, вытщившую мужа из германского плена, а мне сказал, чтобы я по прибытии в Петербург немедленно явился в Главный штаб и представился полковнику, заведующему отделом военнопленных. По приезду в Петербург я первым делом и отправился туда, где ожидал меня в высшей степени неприятный прием. На все поставленные мне вопросы об обращении со мной в германском плену я ни о каких зверствах сообщить не мог, что уже, я почувствовал, вызвало недовольную атмосферу. Когда же я упомянул о просьбе немцев улучшить регистрацию пленных, до которых слишком часто письма и посылки не доходят, но особенно когда я посмел упомянуть имя того офицера, о переводе которого из одиночного заключения в Киев в офицерский лагерь просили, мой полковник пришел в ярость, говоря, что об этом шпионе, которого следовало давно повесить на трех берегах, хлопотали уже особы немного повыше меня и как я смею о нем

просить, если я сам утверждал, что был отпущен без всяких условий из германского плена.

Я ожидал, что вот еще немного и полковник велит меня арестовать как сообщника этого шпиона, и я был рад, когда ноги мои вынесли меня целым на улицу. По просьбе Неклюдова, нашего посла в Стокгольме, мы с Лили отправились к Сазонову, бывшему тогда министром иностранным дел. Ему, кажется, было интересно видеть человека, бывшего в германском плену, но когда Лили повторила просьбу о переводе названного германского офицера из одиночного заключения в Киев в офицерский лагерь, он с улыбкой ответил: какое вам дело хлопотать о немецком офицере, ведь вы получили вашего мужа целым. На что ему Лили ответила: я привыкла платить за полученное. Он обещал похлопотать об этом.

После этого мне оставалось исполнить мою главную обязанность — передать государыне письмо принца Макса. Государыня Мария Федоровна жила в это время в своем дворце на Елагином острове, куда я и явился в назначенный день и час и был принят князем Долгоруковым<sup>10</sup>, бывшим товарищем моего брата. Скоро настала моя очередь, и я был введен в небольшую уютно убранную комнату, где и находилась государыня. Подав руку, она предложила мне сесть. Зная, что я возвратился из плена, она стала подробно и очень мило спрашивать меня, много ли претерпел я обид от дурного обращения, и по всем вопросам я чувствовал, до какой степени она ненавидела немцев: Я почувствовал, что мой доклад ее значительно разочаровал, и боясь, что настроение совсем испортится, поспешил перейти на тему обмена тяжело раненных пленных, извлек письмо принца Макса и передал его в ее руки.

Вопрос этот, видимо, ей сразу не понравился, и, не дав никакого определенного мне ответа, [она] скоро меня отпустила.

Несколько дней спустя Лили была принята там же в аудиенции у императрицы Марии Федоровны и, как проработавшая несколько месяцев в русском комитете с военнопленными в Стокгольме, могла сообщить много подробностей. Между прочим, она подчеркнула [мысль] об основной жалобе немцев на дурную регистрацию пленных в России и о желательности обмена тяжелораненых по просьбе принца Макса. Этими двумя замечаниями государыня была неприятно затронута, говоря, что регистрация ведется правильно, а созывать конференцию с участием немцев ей не нравилось.

Так как Лили отпустили с явным охлаждением, мы с ней боялись за успех осуществления просьбы принца Макса. Но два дня спустя в гостиницу "Англетер", где мы остановились с Лили, заехала дежурная фрейлина императрицы с известием, что проверка [показала, что] регистрация пленных действительно ведется неисправно и будут предприняты шаги для созыва конференции по обмену тяжелоранеными. Известие это нас чрезвычайно обрадовало и со стороны императрицы тронуло, что она послала фрейлину к Лили с этим известием.

И в правлении Кр.Кр. я не был принят с восторгом, т.к. при взятии нас в плен в Вержболове наш Кр.Крест потерпел большие убытки, которые приписывались моей нераспорядительности. Пожалуй, и правда, но как было нам эвакуировать станцию, когда из Ковно не прислали паровозов и вагонов!

Окончив дела в Петербурге, мы поехали к нашим детям в Тульскую губ., где в то время у моей тети Веры жила моя мать с моей младшей сестрой, ввиду того, что фронт северо-западного сектора уже был на Двине, угрожая Риге.

Тем не менее мы решили вернуться с детьми в Смильтен. Близость фронта за это время стала весьма ощутительна. Глухой гул тяжелой артиллерии доносился в тихую погоду до нас, поток беженцев все больше прибывал, строились стратегические дороги, рубился лес, копались окопы, а в Вендене стоял штаб армии. Как побывавшего в плену, меня на фронт больше не посылали, но когда для посещения лагерей военнопленных, десять австрийских и германских сестер взамен десяти русских прибыли в Петербург, я был назначен сопровождать одну германскую сестру, Эмму фон Бунзен, как представитель русского Кр.Креста вместе с офицером



Генерального штаба. Каждой сестре назначался маршрут и лагеря, подлежащие посещению, а мне было дано соответствующее удостоверение и подъемные с поручением быть переводчиком и охранителем сестры. Из всех приехавших сестер сестра Бунзен была самой положительной, и я сильно подозреваю, что не без влияния Лили я был прикомандирован именно к ней, и выбор оказался очень верным.

Через Москву мы направились в Казань, где мы с сестрой Бунзен явились к губернатору и зашли в правление военного округа. Между прочим, губернатор нам рассказал, в какое неловкое положение он попал по поводу того, что в глухом лесу на Каме зыряне принесли в жертву козла, прося богов даровать победу Белому царю. С одной стороны, проявление языческих обрядов запрещается, а поступок этот был высоко патриотического характера, и он не знал, как было ему поступить в данном случае.

Получив необходимые разрешения и удостоверения, мы спустились по Волге до Сызрани, а оттуда по железной дороге в Уфу. Отсюда мы совершили разные поездки. Одну в лагерь Стерлитамак, верстах в 150 от Уфы на юг, уже в киргизских степях. По дороге нам пришлось заночевать в татарской деревне, где изба оказалась очень чистой, и для сестры, состоявшей старшей сестрой общины диаконис в Берлине, [это было] очень необыкновенным и новым опытом. Лагерь Стерлитамак оказался очень хорошим, с очень милым комендантом. В лагере издавалась своя газета, стены были разукрашены сложными инженерными чертежами всевозможных машин — здесь занимались всякими ремеслами. В лагере сооружен был театр, на котором пленные нам сыграли пьесу, где даже женские роли ими были великолепно разыграны. На следующий день, покидая лагерь, мы до слез были тронуты собравшимися у ворот пленными, пропевшими на прощание в несколько голосов хором "Soil ich, soll ich denn zum Stadtel hinaus".

Из Уфы мы поехали в Челябинск, где пленные содержались в полутемном сарае, плохо сколоченном из горбылей, который ветер свободно продувал со всех сторон, на что сестра решила пожаловаться. Через Златоуст мы на лошадях поехали на горный завод Бакал, где пленными разрабатывалась горная скала железной руды. Пленные казались довольными, и директор не мог нахвалиться их работой, жалея о дне, когда придется с ними проститься.

Посетив еще два лагеря вверх по р.Вятке, мы вернулись в Казань, закончив наше задание. В Москву мы прибыли на Казанскую в день рождения Лили, куда она приехала нас встретить, с нею мы вернулись домой, трогательно простившись с моей спутницей. В последующие годы, проезжая через Берлин, я охотно заходил к сестре Бунзен.

Начался роковой 1917 год, а у нас в Смильтене расположился запасной Латышский стрелковый батальон. Туда приехали какие-то комиссары, и солдаты стали бунтовать. Раз утром большая толпа подошла к нашему дому, требуя его обыска на предмет спрятанного оружия. Мы с Лили согласились на их требование с условием, чтобы не вся толпа, а выборные из них люди обошли дом. Когда в соседнем доме, где помещалась контора, нашли двустольное ружье, они потребовали, чтобы я пошел с ними в штаб батальона. В это время толпа разрослась в несколько сот людей, и на площади стали спорить о том, что со мною делать, и потребовали, чтобы я вышел к ним, опасаясь, что я уйду задним ходом. Настроение было очень напряженное, когда на площади появился один из офицеров во главе своей роты и увидав, в какой я опасности, арестовал меня и под конвоем двух солдат велел меня отвести домой, поставив караул перед дверью. Опасаясь худшего, Лили хотела отослать детей в город с гувернанткой, но фельдфебель, узнав об этом, пришел ее просить этого не делать, т.к. он, зная настроение, не может отвечать за их безопасность. Так прошла очень неприятная ночь. Хладнокровие, овладевшее мною в критический момент и утром на площади, покинуло меня ночью, и отвратительное чувство тошноты и страха заменили его, и, не смыкая глаз, я наконец дождался рассвета.

Утром состоялась сходка батальона, где было решено меня освободить от

ареста, взяв с меня расписку о невыезде из Смилтена. Появился также батальонный командир полковник Бернит<sup>11</sup> и, встретив меня, сказал, что он слышал, что со мною случилась маленькая неприятность, но надеется, что теперь все в порядке. После этого меня освободили от моего обещания о невыезде, и мы с детьми уехали в Венден, где и находился штаб армии.

Все ухудшающееся положение в стране и на фронте убедило нас пока переехать в Выборг, где мы и наняли себе квартиру. Благодаря нашей гувернантке фр. Zürcher, бывшей до того гувернанткой в Швеции в семье Цедеркранца<sup>12</sup>, мы ближе познакомилась с этой семьей, т.к. сам Цедеркранц был назначен представителем Кр.Креста, который на время войны официально заступал интересы германских военнопленных в России. Через него мы узнали, что дочь шведского посланника Elsa Brenstrom<sup>13</sup> собирается объехать лагеря пленных в Сибири, но для этого ее должен сопровождать представитель русского Кр.Креста как посредник и переводчик с властями.

Чтобы переговорить об этом предприятии с Лили и со мною, г.Цедеркранц пригласил нас позавтракать с ним на крыше "Европейской" гостиницы в Петербурге. Это было в июле, в день, когда большевики сделали первую попытку свергнуть Временное правительство Керенского. Во время завтрака послышались выстрелы на улице, треск битого стекла по направлению Гостиного двора и свист пуль. Лакеи гостиницы, вероятно для защиты гостей, затянули зеленые шелковые занавеси на окнах, и тем дело и закончилось, а я охотно согласился сосуществовать Эльзе Бренстрём в ее предстоящем посещении сибирских лагерей и в назначенный час явился в шведское посольство, где был очень радушно принят. День отъезда был назначен очень скоро, и я, прощившись в Выборге с детьми и Лили, отправился в путь на три месяца.

[Вернувшись] в Петербург, я поселился в пустой квартире моего тестя в Галерной улице, выходящей на Сенатскую площадь под аркой между синодом и сенатом.

На следующий день я, сведя свои счета и написав отчет, отправился в шведское посольство к г.Бренстрему и простился с ним и его дочерью. Посольство находилось на Английской набережной, против Васильевского острова, и из окон посольства, выходящих на Неву, я видел, как подходил туда из Кронштадта крейсер "Аврора". Сдав мой отчет и остаток денег и поблагодарив и прощившись с г.Бренстремом и его дочерью, я вдоль набережной направился к Николаевскому мосту, где был задержан цепью матросов, потребовавших у меня удостоверение личности. К счастью, отправляясь в Сибирь, я был снабжен удостоверением от Совета рабочих и солдатских депутатов на посещение лагерей военнопленных, увидав которое матросы меня отпустили со словами: "Ступай, товарищ". За мое отсутствие и во время объезда лагерей в Сибири я почти никаких известий о своих не получал и предполагал, что Лили с детьми еще в Выборге. Письма, адресованные мне, я не получал ввиду постоянной перемены адреса, почему, лишь приехав в Петербург, узнал, что они уехали в Швецию, т.к. настроение в Финляндии с каждым днем ухудшалось и раз дети, возвращаясь домой, попали в толпу солдат, бросавших офицеров Выборгского гарнизона с моста в воду.

Я тогда решил тоже поехать в Швецию. Но куда бы я ни обращался, повсюду мне отказывали в выдаче заграничного паспорта. Мне посоветовали обратиться к директору фирмы Сименс и Гальске на Невском проспекте, имевшему связи с тогдашним правительством, помещавшимся в доме Смольного института.

Когда я вошел в кабинет названного директора, я увидел перед собою Бориса Владимировича Красина. Он радостно со мною поздоровался и, узнав, в чем состоит мое дело, тут же написал записку, что он меня лично знает и что я благонадежен в политическом отношении. С этой запиской я снова отправился в Смольный институт и сразу получил разрешение на выезд.

Но на что было похоже то, что раньше было Смольным институтом благо-

родных девиц, куда два года тому назад я заходил к моей родственнице, княжне Ливен<sup>14</sup>, бывшей начальницей этого института! Как блестяли тогда полы и паркет, наощенные как зеркало, как вежливо встречала вас прислуга и какая тишина и какой порядок царили тогда во всем огромном здании!

Теперь в тех же коридорах, залах и комнатах творилось что-то невообразимое и противное. Толпа самых разнообразных типов, неряшливых, грязных и взъерошенных, двигалась и стояла повсюду, а пол был засыпан бумажками, окурками и семечками. Добиться чего-нибудь толком было почти невозможно, и только крайняя нужда могла вас заставить там ждать, дожидаясь очереди. Но какое блаженство, добившись искомого, было выбраться из этой сутолоки.

Приехав в Петербург в конце октября, мне удалось наконец уехать за границу лишь в конце декабря, и я должен сказать, что эти два месяца под большевиками я прожил сравнительно благополучно. Я слышал обстрел Зимнего дворца с "Авроры", слышал постоянную стрельбу по ночам, дежурил иногда по ночам у ворот как квартирант, но лично меня не трогали, и я с паспортом в кармане на извозчике уехал наконец на Финляндский вокзал.

В поезде я встретил гр. Буне, с которым познакомился в Сибири. Он, как швед, ехал с дипломатическим паспортом, и я попросил его взять меха, которые я купил, не зная, что вывоз их был запрещен, а он дал мне доху, которую я и надел. В Гапаранде, до шведской границы, я был очень подробно допрошен комиссаром о причинах моего отъезда и багаж мой был дважды осмотрен до дна, но слава Богу, все же меня отпустили, и я, усевшись в сани, переехал в темную ночь при 40° морозе по льду р. Торнео в Швецию.

Вспоминая об этом моем исходе из советского рая, я должен сознаться, что имел причины быть благодарным Господу за столь безболезненный и легкий выход из моего положения, чем обязан встрече с Красиным, без которого я едва бы сумел выбраться.

Приехал я в Стокгольм накануне Рождества и наконец встретился с Лили и детьми.

Вечером, в гостинице, когда мы все сидели вместе, послышался стук в дверь и прислуга внесла к нам маленькую зажженную елку от Цедеркранца. Мы с Лили прислезились, до того трогательна была эта елка для нас, беженцев, вспоминавших о покинутой родине.

Вообще шведы приняли нас чрезвычайно любезно, приглашали, помогали чем могли, и я должен сказать, что я часто потом жалел, что мы не решились там поселиться. Страна эта тесно связана с историей балтийских стран, гражданские законы, дворянские учреждения и названия имений и происхождение многих семейств указывают на бывшую связь между этими странами, и, между прочим, герб нашей семьи висит на стене Дворянского собрания (Ritterhuset) с девизом в переводе "Помощь моя от Господа". Хотя и благодаря помощи шведов нам удалось перевести достаточную сумму денег за границу, жизнь в гостинице оказалась слишком дорогой, и мы переселились на зиму в окрестность Стокгольма в Сальмоден. Но весной нас понесло дальше, и почему-то мы поселились в Дании, где, проведя некоторое время в Копенгагене, переехали в Ведбек.

В это время моя мать и моя младшая сестра продолжали жить в имении моей тети Веры в Тульской губ. и, несмотря на все ухудшающиеся условия жизни, не могли решиться уехать. Они принуждены были покинуть усадьбу и поселились там же в крестьянской избе в очень тяжелых условиях.

В это время моя старшая сестра, служившая некоторое время на санитарном поезде для обмена тяжелораненых на перегоне от Петербурга до Гапаранды и обратно, перешла потом в летучий отряд на Кавказе при армии Баратова<sup>15</sup>, с которым она дошла до Багдада. Отсюда англичане ее эвакуировали в Индию, где она некоторое время проработала с русским доктором Шмотиной<sup>16</sup>, пока не заболела. Для лечения она была отправлена в Англию, где и вышла замуж за Кинастона Студда<sup>17</sup>.

Пользуясь приездом Красина в Копенгаген в 1918 году в качестве уполномо-

моченного от Советского правительства, Лили добилась свидания с ним, чтобы просить его помощи на вывоз моей матери за границу. Он обещал сделать что можно и спросил, почему я уехал за границу. Когда Лили упомянула о массовых расстрелах, он заметил, что когда лес рубят, щепки летят. Недолго после этого он сам полетел щепкой<sup>18</sup>.

Т.к. Рига уже осенью была занята немцами и они решили там водворить порядок, они побудили Ландратскую коллегия созвать в Риге Дворянское собрание, или Landtag. Как член одного я получил приглашение явиться туда с пропуском на проезд в г.Ригу. Странно и печально было при таких условиях возвращаться домой. Рига от войны, кроме взорванного моста, почти не пострадала, но кремонский дом я нашел в отчаянном состоянии. Почти все окна были разбиты, комнаты напоминали собой скотный двор. В кабинете моей матери зияла пробоина в стене от снаряда, а оставленная мебель была изгажена и разбита.

Убедившись в невозможности привести дом скоро в состояние, годное для житья, и все же намереваясь по возможности скорее выписать Лили с детьми из-за границы в Кремон, я решилс устроить им несколько комнат в швейцарском домике, построенном моим отцом в 1862 году для свиты государя, когда он проездом в Ригу провел с государыней одну ночь в Кремоне, и служившим потом гостиницей для туристов.

Мэри было тогда 10 лет, а Леониду 8, и я рад, что они могли провести в Кремоне хотя пару месяцев, получив и сохранив на всю жизнь воспоминания о нашей родине. Мы с ними много гуляли по всей окрестности и, между прочим, раскопали в долине реки небольшой курган норманских могил, найдя в нем заржавленный топор и черепки глиняного горшка. К концу лета мы переехали в Смильтен, где оставались до сентября, а потом переехали в Ригу, где наняли очень хорошую квартиру в доме Керковиуса<sup>19</sup> на Эспланаде, намереваясь провести там зиму.

В это время латыши учредили свое правительство, объявив Латвию независимой республикой, которая вскоре была признана европейскими державами<sup>20</sup>.

Правительство немедленно приступило к аграрной реформе<sup>21</sup>, заключавшейся главным образом в отчуждении частных имений, с оставлением жилого дома и 50 гектаров земли и промышленных заведений. На основании этого закона в Кремоне нам оставлен был швейцарский дом с огородом и 50 гектаров полей, и в Смильтене мы сохранили электрическую станцию и лесопильный завод. Все остальное было безвозмездно взято, причем наш жилой дом в Кремоне был впоследствии превращен в санаторию для туберкулезных, а в Смильтене устроена школа и примерная ферма молочного хозяйства.

Но к осени 1918 г. немецкая армия стала браться с советской и, заражаясь ее духом, начала отступать, и фронт все ближе стал приближаться к Риге. Мы еще беззаботно отпраздновали Рождество в нашей чудной квартире в Риге, когда вдруг появился у нас наш управляющий из Кремона с известием, что большевики там уже ищут нас. В порту в то время стояли два английских крейсера, которые решили защищать Ригу, но в городе была паника и кто мог спался. На наше счастье, на немецком пароходе, стоявшем в порту и отходившем в Штетин, оказались две свободные каюты, которые Лили моментально заняла, перевезя детей туда же. Родители Лили отказались ехать с нами и остались жить на нашей квартире. Захватив все, что было полезно взять с собой, мы 30 декабря 1918 г., сев на отходивший пароход, вторично покинули родину.

Новый год мы встретили на море, стоя на якоре среди минного поля. С нами же было несколько сот сильно взволнованных германских солдат, и мы были рады, когда пришли в Штетин и могли сойти на берег. Но сошли мы без всякого плана и решения, куда дальше направить шаги. Узнав по дороге, что архив лифляндского дворянства и секретарь едет в г.Росток, откуда прямое сообщение с Данией, в случае беспорядков в Германии мы решили сами ехать туда же.

В гостинице, где мы остановились в Штетине, подошел к Лили незнакомый офицер, очевидно помещик [из] Восточной Пруссии, признавший в нас беженцев из балтийских провинций, и предложил нам пока остановиться в его име-

нии, считая, что поразившим нас несчастьем мы обязаны Германии. Предложение совершенно чужого нам человека очень тронуло нас, но мы решили остаться при нашем плане и, поблагодарив его от всей души, уехали в Росток. Когда мы стали грузиться на поезд, у нас оказалось столько багажа, что пассажиры стали роптать, говоря, что это не товарный вагон, но узнав по выговору, что мы беженцы, сами стали нам помогать грузиться. Только в горе учишься на опыте ценить любовь и внимание ближнего.

Росток — старинный ганзейский город, в котором мы прожили около трех лет. Там мы встретили много местных и приехавших с нами балтийцев, с которыми мы хорошо ужились и подружились и, найдя хорошую квартиру, устроились насколько было возможно по-домашнему. Это было для нас тем более важно, что после десятилетнего перерыва оказалось, что к сентябрю предстоит прибавление нашей семьи. За несколько домов от нас оказалась хорошая клиника, в которой к ожидаемому сроку все было приготовлено, и ночью на 14 сентября 1919 г. мы с Лили отправились туда. К восходу солнца все было благополучно окончено, и на свете оказался наш второй сын Александр<sup>22</sup>. В то время в Германии питаться было очень трудно, но, несмотря на форменный голод и недостаток почти всех пищевых продуктов, родильницы и младенцы пользовались особым пайком, благодаря которому и наш новорожденный и Лили могли скоро покинуть клинику и благополучно вернуться на нашу квартиру.

Переживая в те годы изо дня в день события исторического значения, я по крайней мере, занятый семейными вопросами и пропитанием себя и своей семьи, не сознавал полноты переживаемой трагедии и тяжелых последствий случившегося. Нам казалось, что мы переживаем временно тяжелую катастрофу и что все это скоро уладится, и что жизнь снова вернется в свое нормальное русло. Даже день 11 ноября<sup>23</sup> прошел для нас совершенно незаметно, ибо кругом продолжалась война с большевиками, а известие о трагической и мученической кончине императорской семьи дошло до нас вроде неподтвержденного слуха. Брест-литовский мир, Белая армия, Колчак и Деникин были легендарные имена, и вопреки всяким слухам о мире в Прибалтике шла упорная борьба германских отрядов, балтийского ландвера<sup>24</sup> и Ливенского отряда добровольцев моего брата с большевиками<sup>25</sup>. Совместный напор этой своеобразной армии, с согласия и под руководством союзников в лице английского полковника Александра<sup>26</sup>, оттеснил большевиков за пределы молодой Латвии. Затем дошли до нас слухи о театральной фигуре какого-то князя Бермонт-Авалова<sup>27</sup>, готовившего поход на Москву, но не дошедшего до Риги и исчезнувшего так же скоро, как появился. Из всех этих слухов подтвердилась для меня только та печальная истина, что при преследовании отступавших большевиков за Ригу мой брат попал в засаду и был очень тяжело ранен, отчего много лет спустя он умер<sup>28</sup>.

Узнав о ранении моего брата, я решил съездить в Ригу и, взяв билет на пароход из Штетина, доехал до Либавы. Из-за дурной погоды наш пароход опоздал к отходившему в Ригу поезду, и мне пришлось переночевать в Либаве. Пользуясь свободным временем, я написал пространное письмо Лили, упомянув, между прочим, что за время моего отсутствия, мне показались, белая полоса, разделяющая красное поле латвийского флага на две равные части, стала гораздо уже.

Приехав в Ригу, я нашел брата вне опасности, но все же очень тяжело раненным и лишенным возможности командовать своим отрядом, который должен был уже без него участвовать в походе на Петербург. В Риге я застал моего тестя и тещу, которые под владычеством большевиков провели очень тяжелые дни, защищая наше имущество от расхищения, рискуя своей безопасностью.

Я себя до сих пор упрекаю в недостаточной благодарности, выраженной мной им за их самопожертвование, и за неказание им материальной помощи. Но упущенного момента не вернешь, а я этот момент упустил.

По прошествии недели после моего приезда в Ригу я вечером, ложась спать, услышал стук в дверь и, открыв ее, увидел дворника в сопровождении

двух агентов сысской полиции. Обыскав мою комнату и забрав мои книги и корреспонденцию, они меня пригласили идти с ними и, придя в какой-то дом на Школьной улице, поднялись во второй этаж и показали мне комнату с кушеткой, где я мог лечь и выспаться, не объяснив мне причину всего происшествия. Ночью меня перевели в другую комнату, куда мне утром принесли чай с булкой, а к обеду накормили как следует. Только к 6 часам] вечера меня позвали вниз к опросу. Предметом моего ареста оказалось письмо, написанное в Либаве и показавшее оскорбительным отношением национального флага. Я объяснил следователю, что в комических журналах, продаваемых повсюду, печатаются несравненно худшие замечания, чем мое, на что мне ответил следователь, что все зависит, от кого, и что Латвия имеет двух врагов — большевиков и баронов. После нескольких общих вопросов мне было объявлено, что я могу идти домой, но взяли расписку о невыезде из Риги. На следующий день я пошел к министру внутренних дел, который, узнав о моем деле, объяснил мне, что по закону латвийский флаг состоит из красного поля с белой полосой посередине в 1/5 всей ширины. Поблагодарив министра за это разъяснение, я обещал не заниматься больше этим вопросом. Меня после этого еще раз вызвали к следователю по поводу загадочных букв с цифрами, вроде ключа, найденных в моей записной книжке. Я следователю объяснил, что мои дети, желая приготовить стихи их матери на Рождество, просили меня им помочь, я им сосчитал, сколько раз в этих стихах повторяется такая-то буква. Немного сконфуженный, следователь отпустил меня на все четыре стороны.

В Риге оказалось для меня много вопросов и дел, требовавших решения, и я задержался там гораздо дольше, чем предполагал. Оставленный нам после отчуждения земли в Кремоне участок надо кому-нибудь отдать в аренду, перевезти из Смильтена тогда полагавшееся мне число голов скота в Кремон, установить границы земли, отводившейся под электрическую станцию и лесопильный завод в Смильтене, и рассчитаться с домовладельцами, построившими свои дома на отчужденной теперь земле, и много тому подобных вопросов. Сюда же относился вопрос об акциях нашей подъездной ж.д.

Решения этих вопросов были связаны с бесконечными хождениями по всяким департаментам, и нередко приходилось являться просителем там, где несколько месяцев назад ты был хозяином, или иметь дело с чиновником, которого недавно знал где-нибудь лесничим, кучером или мелким писарем. Мне даже пришлось в моем бывшем кабинете, где теперь помещалась канцелярия министерства земледелия, просить о выдаче мне моих же бывших коров. Такие хождения были для меня очень унижительны, и охотнее всего я бы все бросил, отказавшись от милостивых подаяний новых господ, но вопрос о материальном просуществовании собственной семьи заставлял меня переживать много огорчений и унижений, не показывая вида.

Следующей весной небывалая оттепель с дождем размывла нашу водонапорную дамбу, и чтобы восстановить станцию, пришлось все предприятие превратить в акционерное общество, которое в течение следующих лет оказалось источником постоянных огорчений и убытков, окончившихся только с приходом большевиков по милости Гитлера. Я потерял счет бесконечным и дорогостоящим поездкам моим и Лили в Латвию, откуда все труднее становилось вывозить деньги, а само дело все больше запутывалось, что служило причиной разногласий между нами и трагически отразилось на состоянии здоровья Лили.

В последний год нашего пребывания в Ростке туда приехал мой зять Гога Таубе с женой и сыном. Он во время войны был начальником порта Владивосток и в начале революции был посажен в тюрьму и, не знаю как выбравшись, прибыл в Ригу. Здесь скончался мой тесть, и Гога с матерью и тетей Терезой Стрезовой приехали в Росток.

После рождения Александра мы, вблизи от Ростка, переехали в Доберсен на берегу моря. Здесь оказался пастор Вальтер, внук пастора Вальтера, крестившего меня в Петербурге, и я попросил внука крестить нашего сына, назвав его Александром в память нашего троюродного брата моряка Саши Ливена<sup>28</sup>,

которого мы все очень любили, а также как родившегося 13 сентября — днем после дня Александра Невского, 12 по новому стилю.

В одну из многих моих поездок в Ригу я встретил нашего старого кучера Зарина, приехавшего из Тульской губ., сумевшего каким-то образом вывезти отсюда наших трех лошадей. Он привез первые достоверные сведения о кончине моей матери 14 янв. 1920, как участник ее похорон. Подробности были очень печальны и условия ее жизни последнего времени в крестьянской избе очень тяжелы. Ему удалось привезти с собой несколько ценных воспоминаний о моей матери, за что я ему был очень благодарен.

Младшая моя сестра оставалась там ещё до 1930 года, просидев некоторое время в тюрьме, откуда ее удалось извлечь благодаря хлопотам английского посольства<sup>30</sup>.

Еще во время пребывания моей младшей сестры в России, а именно в 1923 году, там же, в Тульской губ., умерла наша тетья Вера Гагарина, назначив меня своим душеприказчиком. До сих пор не могу понять, каким образом доверенность, несмотря на гражданскую войну и отчужденность России от всяких сношений с Западом, дошла до меня и каким образом Германский Государственный банк признал ее доверенность законной и без всякого замедления и дальнейшей формальностей согласился выдать мне на руки весь значительный пакет ценных бумаг.

Согласно завещанию мне надлежало поделить все бумаги на пять равных частей между моими двумя сестрами, братом, двоюродным братом Сережей Пален и мной, заплатив бывшей ее прислуге суммы по данному списку. В назначенный день приехали в Берлин мой брат, Сережа Пален, а за отсутствовавших моих обеих сестер я просил Костю Пален<sup>31</sup> заступит их интересы.

Предложив собравшимся отчет и список бумаг, мы дружелюбно поделили бумаги согласно завещанию и, помянув добрым словом нашу покойную тетю, разошлись по домам. Суммы, выпавшие на каждого из нас, были настолько значительны, что только благодаря им нам удалось дать детям хорошее образование и жить удобно, без крайней нужды, в то время как перевод денег из Латвии был весьма затруднителен и шел на убыль.

За годы, проведенные нами в Ростоке, общее положение в Германии настолько улучшилось и стало приходить в норму, что мы решили исполнить наше давнее желание переселиться в Баден-Баден, где, к сожалению, за это время скончалась жившая там наша милая тетя Таня Гагарина. Но было у нас там много других родственников и друзей.

Поселились мы в пансионе у диаконис, недалеко от замка в Баден-Бадене. Леонид поступил в классическую гимназию, а Мэри в школу для девиц. Чудный воздух и климат Баден-Бадена хорошо повлиял и на Александра, и он, проводя весь день на воздухе, катаясь на бесчисленных дорожках по лесу на своей колясочке, очень хорошо стал развиваться.

Я с удовольствием вспоминаю о многих прогулках, совершенных в то время с Мэри и Леонидом в горах и лесах Шварцвальда, а особенно о восхождении нашем на гору Фельдберг, откуда нам удалось ранним утром в октябре наблюдать восход солнца, когда оно, пробившись сквозь туман, осветило своими красными лучами всю цепь снежных вершин Альп, от баварской горы Zugspitze вплоть до самого Mont Blanc. Зрелище это по красоте и величию масштаба было неопишимо великолепно и осталось в нашей памяти как проявление божественного откровения.

На этом я заканчиваю свою долголетнюю летопись, уступая место молодому поколению, сознательно вступающему на предназначенный ему судьбою жизненный путь, призывая на него милость и благословение Господа, сопровождавшего меня во все дни моего странствования с незаслуженной и исключительной милостью и любовью.

## Примечания

1. Маркозов Владимир Васильевич (род.1876), Главноуполномоченный Российского общества Красного Креста при I армии.
2. В.В.Маркозов вернулся из плена в апреле 1915 г.
3. Бутурлин Валерян Александрович (род.1877), камер-юнкер.
4. Епанчин Николай Алексеевич (1857 — не ранее 1932), военный историк, командир III корпуса в составе X армии.
5. Крессон Фортунат Евстигнеевич (род.1874), директор Французской больницы в Петербурге, хирург, старший врач подвижного лазарета им.Французского благотворительного общества.
6. См.: В германском плену. Записки сестер [Елены Павловны] Ч[ичериной] и Н[атальи Александровны] К[орф]. — Вестник Красного Креста, 1915, №6.
7. Неклюдов Анатолий Васильевич (1856-1926).
8. Арнольди — сотрудник П.П.Ливена; в списках окончивших Царскосельский лицей не значится.
9. Соколов (Кречетов) Сергей Алексеевич (1878-1936).
10. Долгоуков Сергей Александрович (род.1868), вместе с А.П.Ливеном учился в Петербургском университете, состоял при имп. Марии Федоровне.
11. Имеется в виду Беркис Кришьянис (1884-1941), подполковник (6-й Тукумский полк), впоследствии военный министр Латвии.
12. Цедеркранц Отто Конрад (1854-1932), юрист, дипломат.
13. Бренстрем Эльза (1888-1948), автор воспоминаний о пребывании в России.
14. Ливен Елена Александровна (1842-1915).
15. Баратов Николай Николаевич (1865-1932), командир отдельного экспедиционного корпуса в Персии, в эмиграции — возглавлял Союз русских военных инвалидов, деятельность которого распространялась и на инвалидов-эмигрантов Латвии.
16. Шмотина Елена Павловна (род.1878).
17. Кинастон Студд (1858-1944), лорд-мэр Лондона. О нем и А.П.Ливен см.: Ген. Н.Н.Баратов. Сестра княжна А.П.Ливен — "леди мэрес" Лондона (Из воспоминаний). — "Сегодня", 1928, 16 декабря.
18. Б.В.Красин репрессиям не подвергался.
19. Керковиус Вильгельм (1859-1923), предприниматель.
20. De jure Латвия была признана ведущими европейскими странами в январе 1921 г.
21. Аграрная реформа была произведена в соответствии с законом от 16 сентября 1920 г., крупным землевладельцам сохранялся надел от 50 до 100 гектаров.
22. Ливен Александр Павлович (1919-1988), офицер Британской армии, эксперт министерства иностранных дел Великобритании, глава Русской и восточноевропейской службы ВВС.
23. 11 ноября 1918 г. в Компьене между Германией и Антантой было заключено перемирие, положившее конец войне.
24. Правильно: ландесвер — добровольческие войсковые подразделения, созданные в Латвии в конце 1918 — начале 1919 г. на основе соглашения между временным правительством Латвии и уполномоченным Германии в Прибалтике.
25. В январе 1919 г. по инициативе и отчасти на средства А.П.Ливена стал формироваться для борьбы с армией Советской Латвии добровольческий стрелковый отряд, впоследствии выросший в крупное войсковое соединение и вошедший в состав армии ген. Н.Н.Юденича. Отряд в основном формировался из русских солдат и офицеров, возвратившихся из плена. Командование отряда заявляло о невмешательстве во внутренние дела Балтийских государств.
26. Александр Гарольд (1891-1969), будущий британский фельдмаршал; в 1919 г. — представитель союзнической военной миссии в Прибалтике, во второй половине года — командир ландесвера.
27. Бермонт-Авалов Павел Рафаилович (1877 — не ранее 1944?), командующий так наз. Западной армией, отказался подчиниться приказам Юденича, вошел в вооруженный конфликт с Латвийской Республикой, осенью 1919 г. был остановлен латвийскими войсками при поддержке англо-французской морской артиллерии.
28. А.П.Ливен был ранен у Ропажы в конце мая 1919 г., лечился во Франции, в середине 1920-х вернулся в Латвию, где занимал ведущее положение в среде русских эмигрантов правой ориентации, поддерживал отношения с представителями дома Романовых в изгнании. Некоторое время возглавлял в Латвии общество бывших русских военнослужащих; сотрудничал в русской зарубежной печати, в т.ч. в рижских газетах "Слово" и "Сегодня".
29. Ливен Александр Александрович (1860-1914), вице-адмирал.
30. См.: Приезд кн. Софии Ливен из СССР в Ригу. — "Сегодня", 1930, 31 мая; см. также ее книгу "Духовное пробуждение в России". Корнталь, 1967.
31. Пален Константин Константинович (1861-1923), сенатор; осенью 1919 возглавил в Митаве (Елгаве) при Бермонте "Русский западный правительственный совет".

Примечания Б.РАВДИНА



# СОДЕРЖАНИЕ

## ЖУРНАЛА "ДАУГАВА" ЗА 1991 ГОД

### Романы, повести, рассказы

- АЛДАНОВ Марк. Бред. Роман о шпионах. I — 2, II — 2, III-IV — 3, V-VI — 9.  
ГАЛЕЕВ Игорь. Два этюда. Повесть. VII-VIII — 60.  
ЗАРИНЬ Гунтис. Конец путешествия. Рассказ. Перевела Вика Дорошенко. III-IV — 95.  
ЗИВЕРТ Мартиньш. Копенгагенский диалог. Пьеса. Перевел Леон Гвин. V-VI — 51.  
ЗУРОВ Леонид. Обитель. Рассказ. III-IV — 102.  
ИМЕРМАНИС Анатол. Я — Александр Македонский. Рассказ. Перевел Леонид Григорьян.  
VII-VIII — 3.  
ЛЕОНТЬЕВ Дмитрий. Год Федора Степановича. Роман-размышление. V-VI — 81, VII-VIII — 18.  
СКУИНЬ Рута. Мои сады. Рассказ. Перевела Вика Дорошенко. III-IV — 93.

### Из новых переводов

- КАМЮ Альбер. Любовь к жизни. Рассказ. Перевел с французского Леонид Григорьян.  
VII-VIII — 93.

### Поэмы и стихи

- АЙВАРС Эдуард. Ситуация. Перевел Дмитрий Кудря. V-VI — 49.  
АЙЗЕНШТАДТ Вениамин. "В калошах на босу ногу..." VII-VIII — 58.  
БАЛТВИЛКС Янис. После всего, что будет. Перевел Александр Зорин. II — 36.  
БЕЛШЕВИЦА Визма. Клубок. Перевел Александр Матуль. VII-VIII — 57.  
БЕРЗИНЬШ Улдис. Памятник дону Альфредо. Перевел Сергей Морейно. VII-VIII — 14.  
ВАЦИЕТИС Ояр. Стихотворения. Перевел Сергей Морейно. V-VI — 3.  
ГУДАНЕЦ Николай. Небесный жернов. V-VI — 76.  
ЕЛИЗАРОВА Валентина. "Земля моя, в твоих кустах..." VII-VIII — 57.  
ЕРЕМЕНКО Владимир. "Есть тайна дней..." VII-VIII — 59.  
ЛЕЙНЕРТС Улдис. "Проходит время. Говорят: тот дом..." Перевела Валентина Елизарова.  
VII-VIII — 58.  
НИЖЕВЯСОВА Марина. Ивановы травы. III-IV — 98.  
ПОРУК Янис. Неосуществленное и двое одиноких. Перевел Леонид Черевичник. III-IV — 83.  
СКАЛБЕ Арвид. На мотив Тютчева. Перевел Александр Кушнер. VII-VIII — 59.  
ЧЕРЕВИЧНИК Леонид. Из украинской антологии VII-VIII — 85.

### Публицистика

- АГУРСКИЙ Михаил. Советы: дезинформация, подделки. V-VI — 131.  
БАТКИН Леонид. Цена распада. I — 48.  
ДУДАКОВ Савелий. О "Протоколах сионских мудрецов". III-IV — 126  
ДЮРКГЕЙМ Эмиль. Самоубийство. Главы из книги VII-VIII — 120.  
ЛАПАЙНИС Петерис. Оглянись без гнева. III-IV — 148.  
ЛЕВИЦКИЙ Дмитрий. О положении русских в независимой Латвии. III-IV — 112.  
РАВДИН Борис, ЯХИМОВИЧ Иван. Дело Яхимовича... VII-VIII — 96.  
РАВДИН Борис. Репутация пола Гапона. III-IV — 138

ФЕДОТОВ Георгий. Судьба империй. V-VI — 116.  
ШАПТАЛОВ Борис. Рифы. I — 42.

#### Из почты "Даугавы"

АБЫЗОВ Юрий. Чьи же слова? III-IV — 158.  
АРКАДСКИЙ Л. На почте. III-IV — 161.  
ЧЕБУРКИН П. Еще о философии блатного языка. III-IV — 152.  
ШЛЯХОВА Светлана. Словесный камуфляж? И не только! III-IV — 154.

#### Обзоры, размышления, рецензии

АДАМОВИЧ Георгий. Мои встречи с Алдановым. V-VI — 44.  
АНДРЕЕВА Татьяна. Самиздат и коммерция. III-IV — 167.  
АНЕРАУД Янис. Возвращение. III-IV — 92.  
БАР-СЕЛЛА Зеев. "Тихий Дон" против Шолохова. I — 53, II — 40.  
ЛЕВКИН Андрей. Очень своевременная книга. III-IV — 162.  
ЛИНЕЦКИЙ Вадим. Нужен ли мат русской прозе? V-VI — 142.  
РУДНЕВ Вадим. Язык и религия. VII-VIII — 140.  
САЖИН Валерий. Русское слово в Латвии. VII-VIII — 138.

#### Культурология

НИКОЛАЕВА М.М. "Анна Каренина" глазами врача-фармаколога. III-IV — 172.  
РУДНЕВ Вадим. Культура и смерть. III-IV — 169.  
ЩЕГЛОВ Юрий. О романах Ильфа и Петрова. VII-VIII — 142.

#### Memoria

ВОРОНЦОВА-ДАШКОВА Л.Н. Человек, отрекшийся от трона. V-VI — 178.  
ГОРПИУС Зинаида. История моего дневника. I — 67, II — 58, III-IV — 176.  
ЛИВЕН П.Л. ...И тени тех, кого уж нет. Заметки о прожитых днях. V-VI — 149, VII-VIII — 175.  
ПАВЛОВА Маргарита. "Петербургский дневник" Э.Н.Гиппиус. I — 63.

Почта "Даугавы". I — 41 и 80, II — 57, III-IV — 82 и 97, V-VI — 148.

---

Сдано в набор 23.10.91  
Подписано к печати 20.11.91.  
Регистрационное удостоверение № 0502.  
Формат 60x84/16. Печать офсетная.  
12,0 + 0,25 усл.печ.л., 12,50 усл.кр.отт.,  
16,75 уч.-изд.л. Тираж 10 000.  
Заказ №603. Подписная цена 90 коп.

Адрес редакции: 228081, Рига, ГСП,  
Баласта дамбис, 3.  
Телефоны: 465992, 465993, 465996, 465998.

Компьютерный набор и верстка РКФ "ВЕК".  
Программист В.КУТИН, операторы  
К.ПОРТНОВА, В.МАЧ.  
Текст проверен ОРФО 2.0.

Технический редактор  
Мудите АРАЯ

Корректор  
Любовь СОКОЛОВСКАЯ

Отпечатано в тип. А/О "Пресес намс",  
228081, Рига, Баласта дамбис, 3.

### **К читателям и авторам**

В каждом номере "Даугавы" указано: "Рукописи не возвращаются и не рецензируются". Тем не менее, многие авторы настойчиво просят отослать им не принятую рукопись. И редакция, бывало, шла навстречу.

Теперь настали иные времена. Журнал "Даугава", как и многие другие издания, переживает финансовые трудности, а почтовые расходы возросли во много раз. Переслать в Москву средней величины рукопись обходится примерно в 10 рублей... Поэтому мы вынуждены будем строго придерживаться указанного выше принципа.

Несколько слов о письмах. Наиболее интересные, как и раньше, мы будем печатать под рубрикой "Почта "Даугавы"; на другие постараемся так или иначе ответить на страницах журнала.

**Редакция**



ISSN 0207-4001, «Даугава», 1991, №7-8, 1-192